НЕВА



8·2024

НЕВА

8
2024

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Евгений СТЕПАНОВ
Надо идти. *Стихи* • 3

Евгений КАМИНСКИЙ
Вглубь. *Повесть* • 8

Вера АГАРКОВА
Стихи • 55

Роман СЕНЧИН
Поминки. *Фрагмент книги-очерка* • 58

Михаил ГУНДАРИН
Стихи • 73

Елена ЧЕРНИКОВА
Партита соло. *Рассказ* • 79

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ
Русские ягоды. *Стихи* • 85

Александр ЛИВЕРГАНТ
Даниель Дефо: Факт или вымысел. *Фрагмент книги* • 89

Виктор ПЕРЕГУДОВ
Метель. *Рассказ* • 101

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Татьяна ОКОМЕНЮК
Клумба с петушками. *Рассказ* • 108

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Алексей САВЧЕНКО
Птицам тесно в небе. *Повесть* • 114

Алексей БОЛОТНИКОВ
Стихи • 144

АРХИПЕЛАГ БЛАГОРОДСТВА

Ирина МУХИНА
Рождение Сталиночки. *Рассказ* • 150

МУДРЕЦЫ И ПОЭТЫ

Вячеслав РЫБАКОВ
Вредно быть богом • 153

12+

ПУБЛИЦИСТИКА

Евгений БЕРКОВИЧ
Охотничьи рассказы академика Арнольда об Эйнштейне и Пуанкаре • 157

Лев БЕРДНИКОВ
Дерзость подпоручика Ржевского. *К 220-летию со дня смерти* • 173

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Вера КАЛМЫКОВА
Слабые места силы • 190

Александр МЕЛИХОВ
Невидимая миру трагедия • 200

Георгий ПАНКРАТОВ
Шамора-Вава-завертон: о поездке во Владивосток на фестиваль «Печатный двор» от АСПИР • 204

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Территория памяти. *Геннадий Евграфов.* Исход.
Книжный остров. *Публикация Е. Зиновьевой* • 210

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)
Харбин — «русский Китеж». *Часть 15* • 241

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Министерства культуры и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9). Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор

Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих *(шеф-редактор гуманитарных проектов)*. **Ольга Малышкина** *(шеф-редактор молодежных проектов)*. **Елена Зиновьева** *(редактор-библиограф)*. **Наталия Ламонт** *(редактор-координатор)*.

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2024

Евгений СТЕПАНОВ

НАДО ИДТИ

ПОСЛЕБОЛЬНИЧНОЕ ПОЛЕ

Я вышел оттуда, откуда не все
Выходят, я вышел на волю.
И вот я шагаю по звонкой росе,
По долгому рузскому[1] полю.
И молча дивлюсь этой русской красе,
И лишнего не балаболю.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Что было бетоном, то стало трухой.
Что было барьерами — стало мостами.
И самый хороший и самый плохой
Довольно легко поменялись местами.

Что делать? Лишь то, что не делать нельзя.
Любить, но давая по шее задирам.
Идти, не виляя и не лебезя
Пред суетным миром.

ЛЕПЕСТКОВАЯ СУТЬ ЧЕЛОВЕКА

Я не то чтобы гиблый калека,
Но болезные дни нелегки.
Лепестковая суть человека:
Опадающие ле-
пест-
ки.

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, кинорежиссер, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатался в журналах «Нева», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Москва», «Урал», «Арион», «Интерпоэзия», «Юность», «День и ночь», «Подъем», «Дон», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура».

[1] Рузский район Подмосковья — родные места автора. — *Прим. автора.*

ПО НЕБУ

Ветра, хандра, и град, и снег,
И много всякой ахинеи.
...Идет по небу человек.
А по земле идти — труднее.

ПО НИВАМ-ДОЛАМ

Иду — грустя — по нивам-долам.
Торчит во мне, как гвоздь, изъян;
Талант быть радостным, веселым
Господь изъял.

Я стал напоминать зануду.
Но и сейчас, на склоне дней,
Я все же говорю: «Не буду»,
Когда мне говорят: «Убей!»

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ

Так получилось, что грехи, как ни молись, неотменимы.
Так получилось, что стихи уходят вдаль, как пилигримы.

Так получилось, что слаба моя нездешняя рулада.
Так получилось, что судьба — одна. Другой судьбы не надо.

Так получилось, что сильна царица Смерть в разгар террора.
Так получилось, что война закончится не очень скоро.

ОТТЕПЕЛЬ

Воскресла роза. Смерть-зима
Ушла, как партизан, в подполье.
А снег, устав от страшной боли,
Стал черным и сошел с ума.
Весна открыла закрома
И солнце принесла в подоле.

НЕСПРОСТА

Светлой памяти Наталии Лихтенфельд

Архангел Михаил ведет с Денницей бой.
Я, не жалея сил, веду борьбу с собой.

Я много говорил. Теперь сомкнул уста.
Архангел Гавриил явился неспроста.

Раздумья утекли в пустой бездонный чат.
Я шел вокруг земли. Приковылял назад.

Я шел, не зная сам, что счастье на кону.
Любил прекрасных дам. А впрочем, нет — одну.

РЕШЕТО

Н.

Пришел — ушел — и до свидания. Дни просочились в решето.
Для большинства, для мироздания я ноль без палочки, никто.

Недужен этот мир воинственный, судьбу сжигающий дотла.
Я нужен был одной-единственной, Наташе, но она ушла.

Не следует балакать лишнего. Она ушла, моя жена.
Она теперь в садах Всевышнего. Она Всевышнему нужна.

А мне одни воспоминания остались и сквозная боль.
И не уйти от осознания, что я один и вправду ноль.

ИТОГИ

Н.

А ночи нынче зябки. Дни вызывают страх.
Я подбиваю бабки, оставшись на бобах.

А все ж я был счастливым: любил, творил, дарил.
И, стоя над обрывом, я говорил: «Big deal!..»

С женой своей законной мы жили средь людей.
Она была иконой, религией моей.

В руках моих жар-птица была еще вчера.
Увы, недолго длится прекрасная пора.

Жар-птица в небо взмыла. А я торчу на дне.
Но то, что было, — было, останется во мне.

ДУРАК ДУРАКОМ

Дожил дурак дураком до седин. Нынче один — вроде анахорета.
А вместо водочки — валокордин. А вместо девочек — муть Интернета.

Вот ведь какая настала пора, что методично доводит до плача:
Если сумел дотянуть до утра — значит, тебе улыбнулась удача.

Четко работает почта небес, сердце колотится в душном аврале.
Видно, архангелы шлют SMS. Лучше бы все-таки не присылали.

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

Безжалостны бои без правил.
И вот я выбился из сил.
Двадцатый век меня подранил,
А двадцать первый — подкосил.

БОЛГАРСКИЕ КУРОРТНЫЕ ГОРОДА

Солнечный берег, Поморие, Равда...
Голое тело как голая правда.

Черное море и красная роза.
Доза любви. Очень сильная доза.

Ритмы Эрато. Владения Феба.
Плоть отражается в зеркале неба.

ОТПУСК

Цвет моря — нежно-голубой.
На пляже — золотой песок.
В отеле кормят на убой.
Дают вино, коктейли, сок.

Туманы не указ лучу.
Дух алычовый тут и там.
А я домой скорей хочу —
К своим собакам и котам.

ДИАЛОГ

— Бей своих, чтобы чужие боялись,
Бей чужих, чтобы свои боялись,
Бей своих, чтобы свои боялись,
Бей чужих, чтобы чужие боялись.

— Нет, я не буду, мне нравится жить иначе,
Нравится жить в лесу, на подмосковной даче.
Но если ты нападешь — то получишь сдачи,
У меня в роду — индейцы апачи.

ЗАДАЧА

Не хватает вешнего тепла.
Многовато сумасшедшей спешки.
Шастают по городу тела,
В головах — компьютеры и флешки.

Не хватает солнечных чудес.
Многовато типажей, которым
Дарований дадено в обрез,
А напора, спеси — с перебором.

Все нужны, конечно. Все важны.
А моя немаловажная задача —
Дотянуть до радужной весны,
В жизни ничего не напортача.

В МИРЕ КОЛГОТНОМ И НЕПОНЯТНОМ

В мире непонятном и жестоком
Я живу и знаю: смерть под боком.
Хорошо я это уяснил
У родных проплаканных могил.

В мире непонятном и мгновенном
Сильно мне дают под зад коленом,
Хоть и фигурально, а до слез.
И я плачу, как молокосос.

В мире колготном и непонятном
Постоянно предлагают ад нам
Вместо райских розовых суфле.
Я не видел рая на земле.

ТРОПИНКА

Поле, иду старикашкой согбенным,
Слово из книжек всплывает — жнивье.
Эти травиночки, ставшие сеном,
Могут понять настроенье мое.

Жизнь — это смесь сильной боли и воли.
Знаю, что боль нелегко превозмочь.
Осень, тропинка сквозь вечное поле.
Надо идти. Даже если невмочь.

Евгений КАМИНСКИЙ

ВГЛУБЬ

Повесть

В марте и вплоть до лета и непременно осенью до первых морозов в городе рождаются, размножаются и живут слухи. Слухи, конечно, можно списать на фантомы в головах горожан, страдающих шизофренией, биполярным расстройством или больных депрессией в период *весеннего и осеннего обострения*. То есть едва ли не всех имеющихся в наличии горожан.

Однако нет дыма без огня. Если слухи рождаются, на это, помимо шизофрении и прочих привычных психических расстройств, есть и другие (не медицинские) причины.

Увы, даже психически здоровый человек ждет от жизни чуда.

Хотя чего его ждать, если у тебя уже имеется все, что необходимо для жизни: и прописка в паспорте, и проездной билет, и даже медицинский полис?!

Но нет, человек не готов жить только тем, что у него есть.

Ему непременно необходимо что-то сверх. И однажды получив от жизни что-то *сверх* (скажем, тринадцатую зарплату), человек принимает это как должное. И ждет еще чего-то сверх *уже полученного сверх* и, не получая этого, ощущает себя обделенным жизнью и потому — глубоко несчастным.

И этим ноябрем, в канун дня Народного единения, в городе родился и пополз, как эпидемия, слух о том, что в городских подземных коммуникациях завелась нечисть. Гигантские, размером со свинью, крысы, поедающие все, что шевелится: от блохастых кошек до вшивых бомжей. По словам людей, которые *знали это наверняка* и даже *своими глазами это наблюдали*, нечисть, подчистив подземные закрома от кошек и бомжей, взялась за отбившихся от своих бригад путевых обходчиков. Не брезговала нечисть и метростроевцами. Путевые обходчики держались молодцами: отбивались от крыс стальными молотками, а безоружным метростроевцам приходилось схватываться с нечистью в рукопашной. Хотя смешно называть схватку полноценного метростроевца с хвостатой тварью рукопашной.

В медиапространстве все чаще появлялись свидетели подобных схваток. И число этих отчаянных лгунов и ловких провокаторов росло. И это вполне объяснимо: всякая ничего из себя не представляющая личность остро нуждается в общественном внимании, чтобы перестать ощущать себя пустым местом. Потому-то и готова она

Евгений Юрьевич Каминский родился в 1957 году. Поэт, прозаик, переводчик. Автор одиннадцати книг стихотворений и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», «Юность», «Литературная учеба», «Волга», «Урал», «Крещатик», «Дети Ра», «День и ночь», «Плавучий мост», «Зинзивер», «Дружба народов» и других, в альманахах «День поэзии», «Поэзия», в «Литературной газете». Участник поэтических антологий «Поздние петербуржцы», «Строфы века» и многих других. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. Лауреат Пятого всероссийского конкурса гражданской лирики им. Некрасова (2021), победитель Четвертого международного Тургеневского фестиваля «Бежин луг» в номинации «Поэзия» (2021). Живет в Санкт-Петербурге.

выступить на громком процессе свидетелем чего-нибудь леденящего кровь. Если же стать свидетелем и выступить на процессе не получается, можно схватить за хлястик прохожего на проспекте и, выкатив для убедительности глаза из орбит, рассказать ему какую-нибудь чудовищную небылицу, при этом свято в нее веря.

Слухи ползли по городу, а то и катились, как снежные шары, обрастая нелепыми, фантастическими подробностями. Именно нелепое и фантастическое вызывает у граждан, не обремененных ежедневным каторжным трудом, сначала пристальный интерес, а потом и горячую веру. Что тут поделаешь?! Человеческой природе свойственны неистребимое желание врать и неиссякаемая потребность верить этому вранью.

Итак, то там, то здесь объявлялись ловкачи с хорошо подвешенным языком, заявлявшие перед камерами о том, что собственными глазами наблюдали настоящий ужас.

Некоторые из ловкачей транслировали ужас прямо со своих телефонов, приглашая зрителя в конце трансляции подписываться на их канал. Все это были лишь инсценировки. Никто из инсценировщиков, конечно же, не верил в туфту с крысами. Однако ж все они отдавали себе отчет в том, насколько падки до сенсаций простодушные люди: будь то продавщицы из «Пятерочки», мотальщицы с фабрики «Большевичка» или же потребители невыносимых, как зубная боль, телесериалов. В общем, все те граждане, что ждут горячих новостей и живут этим ожиданием. И кстати, от которых зависят доходы ловкачей.

В общем, предприимчивые люди — те самые, отказавшиеся работать слесарями на заводе или служить по контракту прапорщиками — если чем-то и занимались в ноябре, то исключительно извлечением прибыли из вранья. Им не требовалось вставать с постели в шесть утра, чтобы уже в семь тридцать быть у токарного станка или у мартеновской печи. Им можно было не знать, что такое корень квадратный из числа, точка росы, критическая масса или месторождение Витватерсранд. И только потому лишь, что они умели убедительно врать.

Многие из них в свое время обучались журналистике, политологии или социологии, формировали свои жизненные принципы на кафедрах философии и права, и потому врать для них было не стыдно. Напротив, врать было в какой-то степени престижно. Во все времена у всех племен и народов образованные граждане беззастенчиво врали своим необразованным согражданам. И особенно когда отправляли последних на священную войну за престол или бросали в битву за урожай. Те же из образованных, что не желали врать необразованным, во все времена неминуемо становились школьными учителями, земскими врачами и городскими сумасшедшими. Потому что либо ты пользуешься людьми, либо люди тебя используют по полной программе.

Независимый (очень даже зависимый от размера гонорара), скандальный (скандальных теперь принято обзывать креативными) журналист Цветков, сделавший себе имя в девяностые, когда жаждущие справедливости граждане угодили в волчью яму капитализма, но не подозревали об этом и по старой памяти доверялись всякому газетному слову, пробудился в своей постели.

Сколько Цветков себя помнил, он не пользовался чужими услугами и никогда не допускал того, чтобы кто-то его использовал. Даже для достижения каких-то благородных целей. Но в последнее время Цветков потерял внутри себя ребро жесткости и без особой борьбы уступил этому своему железному принципу. Теперь он без зазрения совести пользовался всевозможными простаками и идеалистами, которым совесть запрещает видеть в тебе подлеца, хотя этот самый подлец лезет из тебя как опара из кадки. Причем пользовался исключительно в личных интересах и не стыдился этого. Почему? Жизнь Цветкова менялась к худшему, Цветкову становилось все

труднее существовать в мире. И в этих изменившихся обстоятельствах подлость, сделанная им ради поддержания собственных штанов, не казалась ему такой уж невыносимой для души пыткой. Особенно если снаружи подлость выглядела не как подлость, а как описка, досадная оговорка или техническое недоразумение.

И несмотря на все эти тактические изменения в его стратегии выживания, последнее время ему, потерявшему всякий стыд, отчаянно не везло, и его жизнь неуклонно менялась к худшему. Все выгодные с точки зрения барышей дела и делишки валились у него из рук.

Еще вчера жизнь, которую он наметил себе на будущее, немного не клеилась, слегка не складывалась и чуть-чуть сопротивлялась Цветкову, считая его, вероятно, еще не вполне подходящим для себя. То есть не вполне законченным подлецом. Сегодня же нечто необходимое для намеченного Цветковым будущего вдруг иссякло в Цветкове. И жизнь, презрительно фыркнув, повернулась к Цветкову задом. И едва только повернулась, в Цветкове зародилась убийственная мысль о том, что он, еще такой зубастый, такой язвительный и моложавый, по сути, уже отработанный материал.

Потому-то все чаще теперь Цветков впадал в отчаяние и безвольно шел в глубь собственной черноты. Шел на самое дно. А чтобы не задохнуться там, *тянул* коктейли по доступным ценам в душных барах или же стаканами *глушил* горькую в воняющих шалманах. Так ему было легче сознавать себя *живым трупом*. Правда, недолго. Едва опьянение проходило, Цветков вновь умирал. Без воздуха, света и надежды.

За окном висела сырая мгла, и Цветкову не захотелось жить.

Можно было закрыть глаза и не жить, но Цветков вспомнил, что в час дня в промышленном районе его ждет съемочная группа местного телеканала, которой Цветков обязался рассказать несколько баек из жизни рабочего класса в советское время. Разумеется, перед камерой рассказать.

Цветков никогда не был ни советским рабочим, ни советским мастером или инженером. Он вообще не имел отношения к ручному труду. Ручной труд Цветков презирал, считая его уделом рабов и прочего *биологического мусора*. Но когда-то Цветков весьма прибыльно для кармана обслуживал существующий строй (режим, как теперь выражаются персонажи, что в те времена кормились с его, режима, ладони): был активным агитатором и пропагандистом, писал о советских рабочих, мастерах и инженерах в молодежные издания и, как говорится, знал материал изнутри.

Когда-то, с комсомольским значком на лацкане пиджака, сшитого в ателье за немалые деньги, в белой нейлоновой рубашке и с черным галстуком на резинке под горлом, он по поручению комсомольских секретарей районного масштаба появлялся у мартеновских печей заводов или на стапелях судостроительных верфей. И там толкал зажигательные речи о непобедимости рабочего класса, о его несокрушимой воле и решающей роли в победе социализма над капитализмом. Толкал с задорным огоньком в глазах и белозубой улыбкой своего в доску паренька. Кстати, теперь Цветков впадал в черную меланхолию всякий раз, когда узнавал о финансовых успехах бывших комсомольских секретарей и инструкторов райкомов, с которыми когда-то имел, казалось, далеко идущие (в плане жизненных благ) отношения. Все эти непримиримые борцы с частной собственностью вообще и с индивидуализмом в частности были теперь сплошь капиталистическими акулами: банкирами, владельцами финансовых корпораций, промышленных гигантов, футбольных или баскетбольных клубов и даже целых телеканалов. И знать ничего не желали о Цветкове, некогда цинично продвигавшем их завиральные идеи в сплоченные рабочие массы.

Конечно, советские рабочие (та самая черная косточка и *несокрушимая воля в борьбе за*), чудом уцелевшие в девяностые, еще дышали в этом городе, и кое-кто из них даже продолжал трудиться у токарных станков, плавильных печей, прокатных станов и стапелей.

Но кто бы из них мог теперь так же ярко, как Цветков, рассказать о тусклой жизни советского рабочего?!

Вот именно — никто.

Ну, помычали бы перед камерой — и все.

Телевизионщикам же в кадре требовался яркий рассказчик с коротким, как выстрел, триллером о ручном труде. И по возможности — известный публике. Или хотя бы узнаваемый. Потому что уже тридцать лет как картинка *правды жизни*, поставленная на телеэкране режиссером, стала важней самой правды жизни. Ведь картинка, если режиссер, конечно, мастер своего дела, ярка и убедительна. А правда жизни, как правило, тускла и уныла. А за унылую правду начальство по головке не погладит, а то и попросит с вещами на выход. Поскольку зрителю, развалившемуся возле телика в халате и с попкорном за щекой, нужна картинка правды, а не правда, которая давно всех достала и зная которую жить не хочется.

Поэтому-то и пригласили Цветкова.

Побалагурить перед камерой, поострить: поменьше цифр, побольше мимики и позерства. Пригласить-то пригласили, да только денег не посулили, посчитав, что забытый телезрителями Цветков и без денег согласится напомнить о себе. Если не знали это точно, то наверняка чувствовали: Цветков остро нуждается в обретении былой популярности.

И Цветков не заикнулся о гонораре. Понял: заикнешься, и телевизионщики вежливо пошлют тебя подальше и тут же найдут тебе замену. В его теперешнем положении капризничать не приходилось и следовало соглашаться на любую возможность *засветиться*...

Цветков выполз из-под одеяла, встал на ноги, прислушиваясь к пощелкиванию в суставах, откатил пяткой пустую водочную бутылку к стене и направился в ванную оживать.

По утрам смотреть на себя в зеркало Цветкову не хотелось уже несколько лет, поскольку каждое утро оттуда на Цветкова взирало чудовище, морду которого он всякий раз отчаянно пытался облагородить, выскоблив бритвенным станком. Но и к собственной облагороженной морде Цветкову надо было еще целый день привыкать. Хотя, возможно, он и преувеличивал ужас увиденного в зеркале. Ведь никто из граждан на улице от него не шарахался, да и проходящие мимо полицейские не хватались за табельное оружие.

Ни пить, ни есть сейчас Цветкову не хотелось. Хотелось водки. Но водки дома не было. Ни капли. И хорошо, что не было. В противном случае Цветков быстро вошел бы во вкус и уже не появился в назначенном месте врать о том, как тускло жилось советским рабочим во времена застоя.

Цветков стоял в ванной возле зеркала и скоблил щеки затупившимся одноразовым станком. Скоблил и пытался унять дрожь в руках. Увы, он все еще был немного пьян...

Что было вчера?

Сначала позвонила дочь. Цветков совсем забыл о том, что у него есть дочь, та выскочила у него из головы, и последние годы Цветков считал себя бездетным. По-

этому-то когда дочь позвонила ему и сообщила, что собирается послезавтра прибыть на Московский вокзал, чтобы кое-что важное сообщить «папе», Цветков разозлился. Его дочери теперь было чуть за двадцать или что-то около этого. Однажды — несколько лет назад — она, еще подросток, без предупреждения приехала к нему попросить денег, поскольку собиралась уходить от матери на вольные хлеба. Цветков тогда театрально вывернул перед дочерью пустые карманы (из одного, правда, на пол выпал презерватив, но оба они, и Цветков, и дочь, сделали вид, что не заметили этого) и сообщил, что сам едва сводит концы с концами. Конечно, Цветков солгал. Были у него деньги. Но отдавать их первому встречному, даже если это твоя дочь, он не собирался. Дочь просила немного и лишь на первое время. Говорила, что скоро устроится на работу и будет сама себя обеспечивать, но сейчас ей нужны деньги, чтобы снять комнату, потому что жить с матерью — выше ее сил. Цветков понимающе кивал головой, но так и держал карманы вывернутыми. Так что дочери пришлось убраться от него несолоно хлебавши.

Она ушла, и Цветков тут же забыл, что у него есть дочь.

И вот теперь она прямо с Московского вокзала собиралась приехать к нему с какими-то новостями.

Любил ли Цветков свою дочь?

Об этом Цветков никогда прежде не задумывался. Но мать своей дочери он никогда не любил. Так случилось, что они встретились в одной из его командировок в какой-то не слишком интеллектуальной компании, немного поговорили, посмеялись, выпили вина и потом зачали ребенка. Вполне естественно и логично. Цветков уехал домой с материалами для статьи, а зачатый ребенок остался в провинции. Спустя год или два мать дочери Цветкова звонила Цветкову, пытаясь убедить его в том, что теперь у него есть дочь. Но Цветков всякий раз начинал грубить матери своей дочери, называл ее провокатором, манипулятором и даже шлюхой и в раздражении бросал трубку.

«Если она опять будет просить деньги, я ее...» — подумал было Цветков о своей дочери, но до конца не додумал.

Ему вдруг стало интересно посмотреть на девушку, которая назвалась его дочерью, даже если она вовсе не его дочь. Еще тогда, когда та приезжала просить у него деньги, что-то ему в ней приглянулось. По крайней мере, задело за живое. И теперь, как ни странно, он ждал встречи с нею и все пытался представить себе свою уже взрослую дочь. Пусть даже та не была его дочерью.

После того звонка дочери Цветков отправился по Невскому проспекту в сторону Литейного. На открытие выставки в тесной художественной галерее.

Выставленные в тот день в галерее полотна показались ему обыкновенной дрянью, даже гадостью, поскольку оставляли в душе впечатление, схожее с впечатлением от увиденной как-то Цветковым «инсталляции» в деревянном домике бесплатного туалета на трассе Санкт-Петербург—Луга.

Итак, полотна показались ему дрянью и гадостью. И потому авторы этих полотен несомненно имели право на шумный успех.

«Чем хуже — тем лучше!» — злопыхал себе под нос Цветков, разглядывая картины.

По его убеждению, на подобных вернисажах уже лет тридцать как речь не шла ни о новых формах, ни тем более о каком-то новом содержании живописного произведения. Важен был лишь эффект, производимый изображением, у которого не было ни формы, ни содержания. В этом эффекте, собственно, и был смысл выставленной в галерее «живописи». И благодарная публика, обычно являвшаяся на подобные вер-

нисажи, величала производителей всех этих бессодержательных эффектов не иначе как гениями.

Цветков никогда в жизни не плыл против течения и не шел один против всех. Понимал: утопят или шею свернут. Поэтому он вместе со всеми присутствующими на вернисаже, скрестив на груди руки и профессионально прищурив глаз, то и дело застывал на расстоянии двух диагоналей от холста и вполголоса, но так, чтобы все вокруг его слышали, одобрял выставленные работы. Порой даже качал для убедительности головой. Если же чувствовал, что одних слов и жестов недостаточно, шумно вздыхал. Удивительное дело: в каждой из выставленных работ ему удавалось найти что-нибудь чудовищное, а значит, гениальное и заострить на нем (чудовищно гениальном) внимание каким-нибудь парадоксальным высказыванием. Цветков высказывался и при этом скрепя сердце, скрипел зубами. Как тамбовский волк.

Натянуто улыбаясь каждому, кто подходил к нему пожать руку, Цветков ждал фуршет, избегая контактов с гениями. Он боялся, что не сможет сдержаться и скажет кому-нибудь из них что-то обидное или оскорбительное, что уже было готово сорваться у него с языка. А то и врежет *гению* по его вдохновенной морде.

Гении же, не чувствуя опасности, как нарочно, лезли к Цветкову в друзья, скользко улыбались ему, словно намекая на что-то постыдное. Каждому из них, конечно, хотелось, чтобы Цветков (а они знали, что перед ними некогда известный журналист) написал о нем в своей газете что-то сногсшибательное. Но каждый из них при этом понимал, что бесплатно Цветков писать не станет.

Напряженно улыбающийся Цветков продержался в глухой обороне до фуршета, сдерживая порывающихся сблизиться с ним гениев на ближних подступах.

Собственно, ради фуршета, полагающегося открытию всякой теперешней выставки, он сюда и явился. Во-первых, информированные и приближенные к верхам люди, которым до тебя, конечно, нет дела, крепко выпив, не могут долго держать язык за зубами. И тогда у тебя появляется возможность узнать ценную информацию и воспользоваться ею с выгодой для себя. Во-вторых, приближенные к верхам люди, как правило, остро нуждаются в чем-то необязательном и, возможно, даже предосудительном для нормального (читай: нравственного) человека. И потому могут попросить Цветкова в своей очередной статье сообщить об их никому из граждан не известных добродетелях. О том, как они помогают детям-инвалидам деньгами на лекарство, а детям-сиротам — деньгами на леденцы. Или, скажем, о том, что никогда не отбирали с помощью написанных в девяностые законов имущество у несчастных вдов. Хотя сделать это всегда было так же просто, как улыбнуться читателю с первой полосы многотиражки. Эти люди могли также заказать Цветкову написать о них книгу. Такую же по формату и наполнению, как книга из серии «Жизнь замечательных людей».

Было такое у Цветкова в карьере: смуглый человек с азиатской внешностью, широкой улыбкой и платиновым «Ролексом» на запястье в ходе какой-то презентации предложил Цветкову написать за двадцать тысяч долларов достоверную (то есть абсолютно лживую) книгу о своем хозяине — владельце нефтяных платформ в Каспийском море. Эту книгу должен был написать сам смуглый человек с «Ролексом» на запястье и широкой улыбкой, но писать художественно и достоверно смуглый человек не умел. К тому же до смерти боялся гнева хозяина. И Цветков, понимая, что если книга хозяину не понравится, то полученные за книгу доллары придется возвращать, а потом еще и прятаться от слуг разгневанного хозяина где-нибудь в Сибири, написал ее. С душевным трепетом и сердечной теплотой, словно о христианском подвижнике. Это, собственно, и требовалось от него. Так что те двадцать тысяч у Цветкова никто не потребовал назад.

В-третьих, он явился сюда погрузиться в некогда привычную для себя атмосферу бесконечного праздника (ну, или пира во время чумы), вновь почувствовать себя кому-то до зарезу необходимым и важным для чего-то грандиозного.

В-четвертых, его всегда интересовали молодые девицы, слетавшиеся на подобные мероприятия, как мухи на *липкое*. Среди них могла оказаться какая-нибудь провинциалка, ничего не смыслящая ни в живописи, ни в художниках и потому готовая удивляться и плакать от восторга. Простушка, еще не понявшая, что современная живопись для молоденьких девочек — западня. И если такая провинциалка объявилась бы, Цветков готов был сделать все для того, чтобы заинтересовать ее собственной персоной, поймать ее в свою липкую паутину и охмурить. В делах с молоденькими мухами Цветков был матерым пауком. И та, прежде чем разобраться в живописи и разочароваться в Цветкове, скрасила бы последнему хотя бы неделю его беспросветной жизни.

Конечно же, Цветков пообещал устроителям выставки написать статью об этом культурном событии, иначе его просто не пригласили бы на открытие. Написать сочно, парадоксально, как только он один и умеет. А уж там главный редактор пусть сам решит, ставить этот материал в номер или нет. Поскольку время сейчас такое — людям не до вернисажей, не до живописи. И уж точно не до гениальных художников.

«Эх, так бы и дал кому-нибудь из них в морду!»

Однако все это были лишь отговорки. Цветков не любил писать ни о современной живописи, ни о современных художниках, считая их проходимцами. Он и теперь не собирался этого делать. Хотя бы потому, что уже давно не работал ни в одной из газет штатным сотрудником, но везде, где еще не гнали с порога, был на подхвате. Поэтому-то любую его статью или «сенсационное разоблачение» всякий главред мог, не опасаясь повестки в суд, без всяких объяснений, не заплатив ни копейки, отправить в корзину. Более того: Цветков ненавидел современных художников. И особенно в последнее время, когда все они «научились объяснять и продвигать» свое творчество в массы посредством «глубокомысленных рассуждений» и с помощью «философских категорий». Конечно, их философия была фикцией. Но толковалась эта фикция ими с такой уверенностью, с таким апломбом, что всякому сопротивляющемуся этой фикции разумными доводами лучше было помалкивать в тряпочку, чтобы не выглядеть в глазах публики неучем, ретроградом и даже реакционером. Эти мошенники так поднаторели в «объяснении» своего искусства, что всякий раз, начиная в какой-нибудь богемной компании выводить их на чистую воду, Цветков чувствовал себя в глазах окружающих форменным дураком. Хотя дураками были как раз окружающие, с искренним интересом внимавшие мошенникам и охотно верившие их липовой философии.

Да, Цветков ненавидел художников.

Но при этом отчаянно завидовал им.

«Надо было идти в художники, а я в журналисты полез, — частенько иронизировал он, изливая себя у барной стойки первой попавшейся душе. — Но кто ж в восьмидесятые мог знать, как все обернется в девяностые?!»

Он почему-то всерьез полагал, что в нынешние времена добиться успеха в этой сфере (называть работы этих художников графикой или живописью у него язык не поворачивался) ничего не стоит, если, конечно, знаешь все расклады. И еще: если у тебя нет совести.

Цветков считал, что отлично знает современные расклады. К тому же у него не было совести. Вернее, в нем она, как он полагал, уже исчезла за ненадобностью.

Но вот что странно: едва она исчезла, Цветкову сразу стало не хватать денег. Хотя все должно было получиться наоборот.

На открытии этой выставки все было, как всегда.

Приглашенные без устали обсуждали выставленные работы. Порой, выловив из толпы автора какого-нибудь полотна и наложив на него руки, они фотографировались с бессмысленными улыбками от уха до уха. В голос хохотали богемные дамы с лошадиными, непременно раскрашенными, как у клоунов, физиономиями, все, словно новогодние елки, увешанные бижутерией. Чуть в стороне от них шептались раскрасневшиеся студентки: длинные, плоские, с фосфорическими глазами или же приземистые и прочные, как дубовые табуреты, рядом с которыми меринами топтались бодрые старички в усыпанных перхотью вельветовых пиджаках и оранжевых брючках, заляпанных следами прошлых презентаций. Здесь же расхаживал чиновник районной администрации и торчал посреди зала, как шиш на блюде, депутат Законодательного собрания, оппозиционный к власти и потому отчаянно симпатизирующий неофициальному искусству. Особенно если оно в День Конституции раздевается в общественном месте догола, протестуя таким образом против официального искусства.

Да, была еще группа немытых, небритых, пожилых, обрюзгших мальчиков, среди которых выделялся в голос хохочущий колясочник с атрофированными конечностями, обутыми в невыносимо грязные босоножки детского размера, как показалось Цветкову, уже приросшие к коляске. Почему этот колясочник все время хохотал? Цветков понимал, что таким образом тот защищается от навязчивых сочувственных и даже сострадательных взглядов, отовсюду бросаемых на него. Колясочник не желал быть в глазах этих вполне равнодушных к нему людей несчастным калекой. Он не нуждался в их сострадании, поскольку оно было мимолетным и не стоило всем этим «сочувствующим» никаких душевных переживаний.

Обрюзгшие мальчики отчаянно пытались выглядеть здесь молодцами. К тому же — неформальными лидерами, за которыми будущее и эпохи в целом, и искусства в частности, полагая, что являются чем-то новым, передовым и свежим. На самом же деле откровенно попахивая залежалым и давно просроченным товаром. Все они были в вызывающе кричащих одеждах (длинные желтые шарфы, куртки-косухи с металлическими шипами, рваные джинсы и пудовые башмаки с высокими берцами у тех, у кого ноги еще ходили) и наверняка явились сюда с намерением подраться с кем-нибудь в кровь.

Среди этих немытых и небритых то и дело мелькала чешуей какая-то «селедка» — типичная представительница того типа девиц, которые, начав однажды бурно созревать, зреют непозволительно долго. И наконец созрев, оказываются уже перезрелыми, а значит, ни на что романтическое не годными и никому для счастья не нужными. Уже в девятом классе селедки вдруг перестают быть паиньками: красятся как индейцы, одеваются как привокзальные проститутки, бьют на шее и лице тату и плюют на оценки в четверти. Но это еще не все. Отличникам по физике они предпочитают двоечников с отличными физическими данными. И это несмотря на то, что последние — опасны для жизни. Селедки грубят отцам, посылают матерей и уходят из дома на вольные хлеба в компании со вчерашними второгодниками, промышляющими в темных переулках разбоем, а в универсамах — воровством. Или же сразу после окончания школы прибиваются к уличным музыкантам, как чайки к мусорным свалкам, видя в каждом нелепом барабанщике будущую поп-звезду. Это они, с напускным весельем протягивая шарахающимся от них гражданам грязную фетровую шляпу, просят

деньги за исполнение прыщавыми рэперами бессмыслицы собственного сочинения. Это они довольно быстро научаются курить травку, сквернословить и спариваться с прыщавыми рэперами в первом же попавшемся на пути чердаке или подвале, чтобы сначала захиреть, а потом и неизлечимо заболеть...

Всюду текли разговоры о современном искусстве, которое, как злобствовал внутри себя Цветков, никакое не искусство, а лишь средство засветиться, прогреметь, заработать шумную славу.

Присутствовала на открытии и бригада телевизионщиков.

Цветков поначалу крепился, задрав подбородок и посмеиваясь над суетой телеоператора, никак не могущего найти нужный ракурс для освещения этого культурного события. Но почувствовав, что время уходит, Цветков начал дефилировать под носом у оператора, время от времени попадая в объектив камеры и надеясь, что оператор вдруг воскликнет: «А, Цветков! Тебя-то, старина, нам и не хватает для освещения этого грандиозного события!» Оператор, однако, упорно не замечал Цветкова, занимаясь исключительно молодыми гениями.

И Цветкову пришлось потянуть одеяло на себя.

Когда начались приветственные речи к участникам мероприятия, он незапланированно вызвался сказать *свое слово* представителям новой волны в живописи. И не слушая возражений организаторов вернисажа, прорвался к микрофону. Организаторы с плохо скрываемой злобой на лицах не стали крутить Цветкову руки и позволили ему сказать свое слово, но только чтоб недолго и без эксцессов.

И Цветков уложился в «недолго». При этом сказал сочно, парадоксально, с огоньком, как он всегда умел. Так сказал, что телевизионщики, оценив остроумие Цветкова, решили наконец обратить на него внимание и взяли у него короткое интервью. Словно Цветков был маститым искусствоведом или критиком, а не пройдошливым репортером. Цветков старался понравиться телевизионщикам и понравился им чрезвычайно. И те, возможно, неожиданно для самих себя пригласили Цветкова завтра днем поучаствовать в съемках очередной серии, посвященной ленинградской промышленности.

«О чем надо будет тиснуть роман?» — с обворожительной улыбкой поинтересовался у телевизионщиков Цветков, позаимствовав для этой своей фразы пару словечек из лагерного лексикона. Он уже выполнил тут программу-минимум — попал на экран — и потому был отчаянно весел.

«О рабочем классе», — был ответ.

«Вам повезло! — хохотнул Цветков. — Лучше меня рабочий класс знал только Максим Горький!»

Где-то на пике веселья, когда телевизионщики, собрав свою аппаратуру, собирались покинуть вернисаж, к ним подскочил один из гениев, которыми сегодня восхищались.

Телевизионщики попробовали пройти мимо напористого гения, но тот, без остановки улыбающийся, уверенный в себе, что-то нашептал им, вытаращив глаза для убедительности, и телевизионщики сделали стойку, обратившись в слух.

Краем глаза наблюдавший за этой сценкой Цветков злобно посмеивался в свой пластиковый стаканчик с дешевым вином.

Напористого гения звали Дима Ципкин.

По мнению Цветкова, это был самый ничтожный по форме, самый пустой по содержанию, в общем, самый дрянной из всех выставленных сегодня в этой галерее дрянных художников. А значит, самый гениальный.

Дима Ципкин всегда был чрезвычайно предприимчивым индивидуумом. Если бы он родился лет на тридцать раньше, то наверняка мухлевал бы всю свою жизнь в мясном отделе гастронома или приворовывал на овощной базе. Если б, конечно, не додумался сделать из собственной квартиры притон для карточных игр или стать членом КПСС: лезть вон из кожи на партийных собраниях, топить оступившихся, клеймить несправившихся, чтобы когда-нибудь выбиться наверх и засесть в каком-нибудь «хлебном» отделе райкома или даже горкома партии. Ну, и непременно (это уж как водится) Ципкин отсидел бы свои пять-шесть лет в колонии общего режима за махинации с левым мясом, гнилыми овощами или же за какое-нибудь вопиющее отклонение от генеральной линии партии с материальной выгодой для себя. Тут уж деваться некуда.

Но Ципкину повезло выйти во взрослую жизнь при уже наступившей в стране демократии и падении «железного занавеса», когда всякий простодушно верящий в справедливость человек мог запросто задохнуться наступившей свободой. Но только не такой свободолюбивый юноша, как Ципкин.

Пока в стране крепла демократия, орудуя финансовыми пирамидами, целителями-экстрасенсами, а то и пыльным мешком из-за угла, Ципкин не дремал. Чутко следуя изменениям политической конъюнктуры, он появлялся всегда в тех местах, где намечался грандиозный скандал и где можно было без всякого ущерба для себя... *попасть под лошадь*. А уже оттуда — на экран телевизора или на первую полосу газеты. Одним словом, Ципкин неустанно набирал очки в соревновании с другими подобными себе энергичными молодыми людьми за право в скором времени стать народным избранником. Однако в депутаты Ципкину пролезть не удалось. Что-то нужное он, по-видимому, упустил и чего-то важного не предусмотрел. Хотя депутат из него вышел бы отменный. Вышел бы, даже несмотря на то, что ничего всерьез в этой жизни Ципкин не умел и ничему подлинному не желал учиться. Поскольку все, что Ципкину требовалось от жизни, он мог раздобыть, пользуясь нехитрым обманом и своей располагающей внешностью воровки на доверии.

В нулевые Дима еще не имел теперешнего аккуратного брюшка буржуа и потому по вечерам за деньги раздевался в стриптиз-баре. Ночью в том же баре он продавал клиентам «кислоту», а днем, после короткого, как выстрел, сна — в тесном офисе бизнес-центра Всеволожского района таунхаусы без подведенных к ним коммуникаций, о чем он (с выгодой для себя) забывал сообщить клиентам при продаже. Также он предлагал гражданам туры на *берега Килиманджаро*, а поездам дальнего следования — бутилированную воду из-под водопроводного крана. И всякий раз успевал сорваться со своего хлебного, но *стремного* места до прибытия группы захвата, залечь на дно и спрятать концы в воду.

Однако нулевые миновали, и Дима Ципкин, утративший молниеносную реакцию и спринтерскую скорость, стал раздумывать о том, что пришло время сдаваться времени на милость: становиться если не помощником депутата, то хотя бы председателем домкома со всеми вытекающими в виде соблазнительных возможностей последствиями. Он бы с удовольствием стал опекуном какой-нибудь сумасшедшей старухи с отдельной квартирой в центре города. Но подобные старухи обычно не могут вспомнить и перечислить всех своих родственников, и потому у любого опекуна такой старухи, даже со всеми необходимыми бумагами на руках, обязательно найдутся конкуренты на старухину площадь после того, как та станет прахом и отправится в колумбарий. Ципкин бы даже стал адвокатом — эта специальность казалась ему наиболее перспективной на вступившим в силу историческом этапе очередного переде-

ла собственности. Но у Ципкина не было юридического образования, а стать адвокатом без специального образования представлялось ему весьма затруднительным, хотя и вполне возможным. Особенно в те захватывающие времена.

Но тут неожиданно настали самые что ни на есть ципкинские времена, когда наиболее востребованным качеством производительных сил в производственных отношениях сделалось отсутствие морали и нравственных принципов.

И Дима передумал сдаваться на милость времени, примкнув к группе художников акционистов.

Боже, что творила эта группа!

Какие впечатляющие инсталляции, какие запоминающиеся перформансы она устраивала! И во всех этих акциях Ципкин проявил себя *художником от Бога* (так, не стесняясь еще живых членов Союза художников СССР, писали о нем тогда прогрессивные журналисты).

Не хочется перечислять весь список его достижений. Напомню лишь некоторые. Прогулка по Большому проспекту Васильевского острова голышом, правда, вымазанным в тавоте и вываленным в куриных перьях; распятие самого себя на дверях городского Законодательного собрания; соитие с чугунным вождем мирового пролетариата, стоящим на постаменте во дворе одной из городских больниц прямо перед действующей часовней...

А вот отрезать себе кусок пениса перед телекамерой одновременно с остальными членами группы акционистов Ципкин так и не решился. И ему пришлось с позором покинуть группу.

Из группы художников Ципкин ушел, но не ушел из художников.

Если у тебя есть громкое имя и шумная слава, то, ей-богу, не бросать же все это коту под хвост?!

И Ципкин остался в изобразительном искусстве. Правда, посчитал, что безопасней всего для него теперь будет объявить себя абстракционистом. Он и не сомневался в том, что обладателю громкого имени и шумной славы в искусстве особо не нужен талант. И ничего по большому счету не надо уметь. Делай, что бог на душу положит, а уж почтенная публика сама объявит это гениальным и объяснит тебе, что именно ты хотел сказать миру своей абстракцией.

Ципкин был пустым человеком и таким же пустым во всех отношениях художником. В том смысле, что его творения не содержали ни единой мысли и никакой идеи, совсем как какашки, размазанные младенцем по полу, или пятна крови на фартуке хозяйки, отрубившей голову петуху.

Но как раз в этой пустоте и было преимущество Ципкина перед его коллегами по цеху. Те обычно намеревались своими работами хоть что-то сообщить, выразить нечто личное, пусть и болезненно искривленное, и потому наполняли (или полагали, что наполняют) свои полотна содержанием. Пусть и не всегда доступным человеческому пониманию. Внутри подобных картин зрителям было тесновато. Потому-то и мало кто из ценителей прекрасного мог втиснуть в них личную трактовку увиденного. Да и просунуть лезвие критики меж глыбами циклопической кладки авторского замысла было порой просто невозможно.

А у ципкинских картин внутри звенела оглушительная пустота.

И всякий ценитель (а ценитель — человек самолюбивый) мог в соответствии со своими эстетическими предпочтениями и политическими воззрениями наполнить ципкинскую пустоту своим собственным ви́дением — снабдить творение Ципкина тем смыслом, которого в нем нет и в помине. И всем было хорошо: и Ципкину, бессодер-

жательную мазню которого снабдили остроумным содержанием, и ценителю, который даже такому бессмысленному ничтожеству, как Ципкин, мог от своего широкого сердца подарить смысл.

На этом вернисаже Ципкин выставил свою новую работу «Яма».

На куске картона была намалевана огромная клякса, чернота которой сгущалась от верхнего края к нижнему.

И более ничего.

Яма, черная и, вероятно, бездонная.

Публика стояла возле «Ямы», шумно вздыхая, мол, вот молодчина, предъявил нам нашу беспросветную жизнь. Или же: «Ах, как убедительно Ципкин ткнул нас носом в нашу действительность». И наконец: «Нет, так убийственно точно может высказываться только подлинный гений!»

Назвать кусок картона с грязной кляксой «Ямой», намекая на действительность, в которой обитают все тонкие и гордые ценители прекрасного *в этой стране* (так говорил Ципкин с тех самых пор, как уразумел, что только так и до́лжно говорить о своей родине гению, если тот, конечно, хочет, чтобы о нем писали в Европе), Ципкина надоумил владелец заведения — стреляный воробей, знающий толк в *успехе*.

«Яма» была очередной ципкинской провокацией, побуждающей *знатока* философствовать на пустом месте.

Улыбающийся Ципкин стоял возле своей «Ямы» и раздавал комментарии. Несколько раз к нему подходили одутловатые и расхристанные неформалы и довольно агрессивно наскакивали на него, в чем-то его обвиняя. А разнузданно хохочущий колясочник даже наехал колесом на его правую ступню, так что Ципкин взвыл. Однако это был лишь эпизод. В основном же в этом противостоянии с неформалами Ципкин держался молодцом: отшучивался, категорически не принимая всерьез все их наскакивания и обвинения в свой адрес.

И Цветкову вдруг пришло в голову, что эти расхристанные — те самые акционисты, к которым когда-то примыкал Ципкин. Те самые, что отрезали себе по куску пениса. И колясочник, видимо, тоже отрезал. «Ему-то зачем это понадобилось?! Хотя что не сделаешь за компанию!» — злопыхал Цветков. Возможно, они сегодня требовали от Ципкина немедленного исполнения обещания, данного им когда-то, отрезать себе то же самое.

Цветкову даже показалось, что он разобрал на губах одного из них обращенное к Ципкину: «Когда отрежешь?»

Разумеется, ничего подобного Цветков не мог слышать, поскольку находился на значительном от Ципкина расстоянии.

Ципкин же мужественно смеялся в лицо акционистам и наверняка ссылался на то обстоятельство, что перерос радикальный акционизм и перешел в чистое искусство, где то, от чего надо отрезать кусок, ему еще очень даже понадобится целиком.

Очень может быть, что изнемогавший от ненависти к Ципкину Цветков все это придумал. Ему казалось, что никто из присутствующих не видит и не понимает, какой отъявленный мошенник этот Ципкин, что все присутствующие на открытии вернисажа или безнадежные простаки, или восторженные идиоты.

Наконец, театрально всплеснув руками и нарочито громко рассмеявшись (тут все невольно смолкли, помутневшими взорами ища в зале источник этого смеха), Ципкин отлепился от телевизионщиков. Удовлетворенный результатом общения, он растворился в толпе, бархатно после выпитого вина гудящей в окружающее пространство.

— Вот гаденыш! — воскликнул Цветков, восхищенный такой безупречной игрой на публику.

И вдруг увидел то, что весь вечер подсознательно искал.

Улыбающуюся ему почти юную девицу (в этот час в этом месте все присутствующие женщины казались Цветкову юными, разумеется, за исключением крашеных кобыл, обвешанных бижутерией), смотревшую на все вокруг благодарными, широко открытыми глазами. Словно шла в жилконтору, а пришла в эдемский сад.

Это была та самая селедка с фосфорическими глазами, заявившаяся на открытие выставки в компании пожилых мальчиков-неформалов. Похоже, селедка была всамделишной провинциалкой, только недавно примкнувшей к немытым и небритым неформалам, поскольку лицо ее было еще весьма свежо, одежда довольно неприметна, а движения не настолько изломаны, чтобы посчитать ее представительницей богемы или просто шлюхой.

Кажется, никто из присутствующих к этой селедке до сих пор толком не приклеился. Да и неформалов, огненные взоры которых были все время обращены на Ципкина, она, похоже, не очень интересовала.

И Цветков бросился к селедке. И слово за слово, улыбочка за улыбочкой, присосался к ней, как клоп, впился в нее, как клещ, опутал соблазнительными речами, как паук.

Дело было на мази, но селедку нежданно-негаданно увел из-под самого носа Цветкова... негодяй Ципкин.

Как уж ему, находящемуся под прицелами пожилых мальчиков, это удалось, трудно сказать. Но улучив момент, Ципкин вышел у Цветкова из-за спины, решительно отодвинул Цветкова в сторону, и провинциалка с радостью пала на грудь Ципкину. При этом она вполне заговорщически улыбнулась Цветкову, словно тот должен был понимать и одобрять ее намерение отдаться сегодня гению, а не какому-то соблазнительному пауку.

Что ж, эта селедка, пожалуй, понимала, что в жизни к чему: Ципкин на вернисаже был одним из ферзей, а Цветков всего лишь пешкой, хотя и проходной...

Все же Цветков опоздал в промышленный район на съемку. На целых полчаса опоздал.

Телевизионщики — дама-режиссер и оператор — все эти полчаса поносили Цветкова, полагая, что зря связались с *этим алкашом*. Правда, вслед за съемками Цветкова телевизионщики планировали снимать еще один сюжет — с Димой Ципкиным. Тот вчера соблазнил телевизионщиков фотографией гигантской крысы на своем смартфоне: в кадре было зафиксировано нечто размытое, напоминающее свинью с длинным хвостом.

В подземных чудовищ телевизионщики не верили. Однако подобный сюжет со скандальным художником в роли свидетеля такой небывальщины мог повеселить телезрителей. В общем, из Ципкина и крысы-людоеда можно было состряпать вполне удобоваримое блюдо для широких масс.

Поэтому-то приковылявшему к месту встречи Цветкову удалось еще застать телевизионщиков на месте и особо не растрачивать свое душевное тепло, для того чтобы растопить лед недовольства, которым обросли телевизионщики за время простоя.

Цветков перед камерой превзошел себя.

За время своего не более чем десятиминутного выступления на фоне заводских корпусов он изложил жизнь и судьбу усредненного человека труда времен развитого

социализма. Изложил и уничтожил этого самого человека. Мол, что еще заслуживают люди, у которых мораль когда-то ценилась выше квартальной премии, а честь была важнее бесплатной путевки в Гагру?!

Именно это и требовалось от него сегодня.

И все же в этом его искрометном скетче было что-то тошнотворное для самого Цветкова.

Конечно, он никогда не уважал трудовых людей, всех этих токарей, слесарей, сталеваров, проходчиков, стропальщиков, вальцовщиков и прочих. Не уважал и не понимал их. Но в том, что эти люди делали всю свою жизнь, было нечто жизненно важное, подлинное, настоящее, может, и невидимое постороннему глазу, но необходимое всем без исключения, даже Цветкову. И эта правда давила Цветкову на психику.

Потом появился Ципкин. Неожиданно для Цветкова.

Осторожно улыбающийся, что-то явно предвкушающий, но и достаточно напружиненный, чтобы в любое мгновение отразить внезапное нападение. Откуда нападение? Да хотя бы со стороны Цветкова.

Похоже, ничего, кроме финансовой выгоды от предстоящего предприятия, не предвкушал сейчас этот предприимчивый человек, этот «гребаный», по словам Цветкова, *художник современности*.

Цветков исподлобья взирал на Ципкина. И чтобы не сорваться, не сказать в адрес Ципкина нечто такое, что потом невозможно будет исправить, скрыть или как-то заретушировать, вытянул из кармана фляжку с дурным коньяком и сделал глоток.

«Наверняка он здесь с какой-то очередной сенсацией, — мысленно злопыхал Цветков. — Умеют эти Ципкины подлить масла в огонь. Только подпусти их к объективу телевизионной камеры, и они мамы родной не пожалеют. Да и вскормившую их родину продадут за тридцать сребреников...»

На Ципкине были костюм охотника из спортивного магазина, черные шнурованные ботинки, вязаная шапочка.

«А на груди под одеждой наверняка скрытая камера с объективом вместо пуговицы, — продолжал фантазировать Цветков, уже довольно пьяный. — Зачем ему камера? А черт его знает. Но — наверняка она там».

После кратких переговоров с телевизионщиками Ципкин принялся под камеру излагать *свое сенсационное*. Начал он издалека, с того, что крысы во все времена жили в подвалах этого города.

«А где им еще жить, — ухмылялся Цветков, слушая Ципкина, — если на улицах для них нет жизни?! Если всякий пражский крысарик, фокстерьер или такса спят и видят, как бы им сначала затравить грызуна, а потом и задушить его...»

Да, продолжал Ципкин, жили и до последнего времени держали себя в рамках: как им и полагается, питались отбросами. Но в этом году переродились: из жалких падальщиков превратились в грозных людоедов.

Крыса-людоед размером со свинью в изложении Ципкина была художественным преувеличением, которое, однако, позволено художнику во все времена.

Телевизионщики не прерывали Ципкина, поскольку знали главное: на крысу-людоеда в обществе давно созрел заказ. И значит, Ципкин со своим враньем как нельзя кстати.

Цветков пьяно ухмылялся за спинами телевизионщиков и уже готов был гомерически хохотать.

«В чем, собственно, заключается миссия современного художника? — изливал свой фирменный яд мозг Цветкова. — В том, чтобы молниеносно реагировать на за-

просы обывателя в области индустрии развлечений (разве перформанс акциониста не развлечение для публики?!) и всемерно их удовлетворять. Теперь этот гад предложит пойти посмотреть крысу в каком-нибудь ближайшем подвале. Откуда он ее возьмет? Да изваляет в перьях ту самую селедку, что вчера увел у меня. Она на него бросится, а он завопит от ужаса. И все останутся довольны: Ципкину слава, а публике *развлекуха.* Даже если эта его крыса всего лишь обыкновенная селедка под шубой...»

И все же Цветков ошибся.

Послушав несколько минут Ципкина, он с удивлением отметил, что Ципкин, кажется, впервые осмелился обрушиться на режим. Причем *всем своим талантом*. Нет, конечно, не пойти на режим в лобовую атаку, не сразиться с ним в рукопашной схватке, что равносильно выстрелу себе в голову, но все же прокукарекать — намекнуть на свою *гражданскую позицию*, так сказать, просигнализировать общественности о том, что свобода для Ципкина — главная ценность и смысл его уникальной жизни.

Одним словом, Ципкин вдруг понес такое, что в среде творческих работников принято считать *хорошим тоном*. Ципкин заявил, что слом существующего мирового порядка в целом и политическая обстановка в стране, в частности, породили в подземельях культурной столицы крыс-гигантов, для которых не существует ничего святого.

Ципкин произносил совершенно новые, прежде неведомые в его лексиконе слова, высказывал прежде не свойственные ему мысли и при этом смотрел в камеру без своей привычной иезуитской ухмылки, но с самоотверженностью страстотерпца. Конечно, ципкинская крыса была лишь аллегорией, с помощью которой тот иллюстрировал суть существующего в *этой стране* (так словно невзначай говорил Ципкин) порядка. При этом Ципкину удавалось не переходить рамки, за которыми подобного борца за свободу могут пригласить повесткой в тихий кабинет и потребовать от него там подписку о невыезде.

Цветков оценил предприимчивость Ципкина. Последний выбрал подходящий момент для перформанса. Ведь свободолюбцев, которые клеймили существующий режим, становилось все больше, и ничего им за это не было: жили себе, поживали да еще *добра* наживали. Но если им — ничего за свободомыслие и бескомпромиссность, то, может, и Ципкину также ничего за то же самое?

— Вот гаденыш! — довольно громко произнес Цветков и вспомнил, как вчера на открытии вернисажа Ципкин пытался охмурить его: вытянуть из него обещание написать о ципкинской «Яме» что-нибудь возвышенное. Но Цветков лишь скрипел вчера зубами и стоял насмерть, отказываясь писать о «Яме» возвышенное. Потом, уже изрядно выпив, Ципкин спрятался за Цветкова, ведущего диалог с телевизионщиками. Цветков чувствовал за спиной дыхание Ципкина и негодовал. Знал, что этого ловкача всегда тянет поближе к средствам массовой информации, где можно почти даром получить еще двести граммов известности.

Ципкин же, стоя тогда за спиной Цветкова, думал о том, что говорить о чем-то перед телекамерой должен не какой-то никому не нужный теперь Цветков, лишь по недоразумению попавший телевизионщикам под руку, а он, Ципкин, гениальный и востребованный. Ципкин понимал, что Цветков, конечно, знает материал и умеет его подать, но все равно рассуждать о чем бы то ни было перед камерой должен не прошлый человек, а востребованный временем властитель дум. И совсем неважно, о чем именно. Важно лишь то, что рассуждать будет именно он!

Ципкин был из разряда людей, ничего и никогда в своей жизни всерьез не обдумывающих, полагающих, что пока они будут думать, время уйдет. А с ним и выго-

да. И потому действовал он, частенько следуя внезапному порыву, с наскока и даже не успев испугаться. В этом, считал Ципкин, был отчасти залог его успеха. И ведь по сию пору он был жив и здоров.

Закончив говорить на камеру, Ципкин стряхнул с лица маску непримиримого страстотерпца, обнажив свою привычную иезуитскую улыбочку.

— А теперь самое главное, господа. Не желаете ли прогуляться до этих самых крыс? Тут недалеко. И вас я тоже приглашаю! — неожиданно обратился он к Цветкову.

Цветков хмыкнул и собрался уже послать Ципкина, но передумал.

У него возник план: он решил стать разоблачителем этого любимца публики.

— С удовольствием! Но, Ципкин, если вы решили сделать из нас дураков, ответите по законам военного времени, — воскликнул Цветков и захохотал, совсем как Мефистофель из оперы Гуно.

Несколько озадаченный, явно не рассчитывавший получить согласие Цветкова, но вдруг получивший его, а с ним и определенную проблему для себя (так хотелось сейчас думать Цветкову!), Ципкин повел всю компанию к одному из мертвых кварталов промышленного района, находящемуся недалеко от залива. Квартал предназначался для городской застройки и уже давно дожидался инвестора, разваливаясь на кирпичи и бетонные блоки.

Для начала Ципкин откинул створку железных ворот, рядом с которой валялся замок со сломанной дужкой. Миновав ржавые ворота, все они прошли проходной двор расселенного дома, потом вновь проникли за железные ворота, которым городские службы наивно пытались перекрыть проход в следующий двор, больше похожий на лунную поверхность. Наконец подошли к небольшому насыпному посреди двора валу. На одной стороне вала обнаружилась металлическая дверь с зарешеченным окошком, за которым таилась мертвая тишина.

— Там, наверное, темно? — сморщилась дама-режиссер.

— Тускловато, конечно, но все, что нужно, увидим, — бодро произнес Ципкин. — Только вот там кое-где вода по щиколотку.

— Я не пойду, у меня ноги промокнут, — произнесла дама-режиссер. — И тебе, Стас, не советую, — обратилась она к оператору.

— У меня сапоги непромокаемые. Так что можно попробовать, — сказал Стас и кивнул Ципкину.

— Что пробовать-то? — воскликнула дама-режиссер. — Какие крысы? Ципкин наговорил всякой ерунды, а ты и уши развесил.

— А все же стоит попробовать, — не унимался оператор. — Интересно будет услышать, что скажет господин Ципкин, если мы не встретим там его крысу.

— Цветков, вы с нами? Или вам боязно? — улыбающийся Ципкин воззрился на Цветкова, явно подначивая его.

Похоже, Ципкин справился с опасениями, возникшими у него насчет пьяного Цветкова. Или же у него был заготовлен какой-то план действий.

— С вами, с вами. Кто-то же должен вывести Ципкина на чистую воду, — усмехнулся Цветков.

Ципкин извлек из своего рюкзака строительную каску с закрепленной на ней аккумуляторной лампой и отворил железную дверцу, сразу за которой открылись ступени, ведущие вниз.

— Может, сегодня повезет, и мы их встретим. Держимся вместе, — скомандовал Ципкин и извлек из своего рюкзака тесак, похожий на мачете. — Не бойтесь, я с вами! — И Ципкин засмеялся.

«Обещает показать крысу. Значит, кто-то нас действительно ждет там. Действительно та самая селедка? А ведь очень может быть. Скажем, думал Ципкин полночи о том, где взять крысу для перформанса, смотрел на посапывающую рядом размякшую от пьяной любви селедку, потом ткнул ее локтем в бок: „Хочешь стать звездой?“ — „Хочу, — наверняка ответила та. — Только как?“ — „Будешь у меня крысой...“ Она сейчас наверняка там, под землей, голая, вываленная в перьях и *с хвостом назади*...»

Дальше *хвоста назади* фантазия Цветкова не шла.

Спустившись по бетонным ступеням, они некоторое время шли какими-то узкими коридорами, а кое-где буквально протискивались сквозь тесные лазы. И потому их одежда была уже порядком испачкана ржавчиной и мелом.

Шедший впереди Ципкин то и дело оборачивался и светил своей лампой в лица Цветкову и оператору. Крыс не наблюдалось: ни диковинных, в человеческий рост, ни обычных городских, с голыми хвостами. Ни Цветков, ни оператор не верили Ципкину. Однако они шли за ним, вглядываясь в полумрак.

Почему шли?

Может, потому, что надеялись на то, что из-за очередного поворота выскочит крыса и вопьется в идущего впереди Ципкина. Цветкову этого очень бы хотелось, и ради этого он мог идти сколь угодно долго.

И опять Цветков думал о видеокамере, спрятанной на груди Ципкина. Наверняка она там. Но зачем? Как зачем?! Чтобы снять ролик с участием Цветкова, который бы выставил Цветкова в самом комичном виде! Но зачем Ципкину Цветков в комичном виде? А чтобы шантажировать Цветкова и заставить написать о Ципкине что-то нужное Ципкину в газету или журнал. Но нет, этого Ципкину наверняка мало. Наверняка он хочет, чтобы крыса, та самая селедка под шубой, впилась зубами ему в руку. Но зачем? А затем, чтобы Ципкин потом всюду появлялся с перевязанной рукой, тем самым подогревая у публики интерес к себе...

Вот такая чушь лезла в голову пьяному Цветкову.

Возможно, у Ципкина не было никакого плана и скрытой камеры на груди, и Ципкин просто валял дурака, надеясь, что Цветкову и оператору когда-то надоест бродить под землей по сырым коридорам и они пойдут на попятный. И Ципкин не ошибся. Правда, только наполовину: оператор, матерясь себе под нос, дал задний ход, но Цветков остался; шел позади Ципкина, молча наливаясь жаждой мщения и еще чем-то опасным для Ципкина.

— Может, вернемся? — неожиданно обратился Ципкин к Цветкову. — Сегодня нам не фартит.

— Нет, идем дальше, вглубь! — Цветков был настроен решительно. — До тех пор, пока не найдем ваших крыс, Ципкин. Если же не найдем, вам придется за это ответить.

Цветков понимал, что прижал Ципкина и тот сейчас мучительно ищет выход из создавшейся ситуации.

— Ну, пошли, — вздохнул Ципкин и, кисло улыбнувшись Цветкову, зашлепал сапогами по гнилой воде, чувствуя тяжесть собственного тела. — Вглубь так вглубь...

И они отправились вглубь.

Пьяный Цветков смотрел в спину Ципкину и потирал ладони. Чувствовал, что Ципкин отчаянно трусит. Наверняка того ни разу в жизни не били всерьез. И небитый Ципкин вполне допускал, что его сейчас может избить пьяный Цветков, которо-

му за это ничего не будет, поскольку свидетелей нет. Ципкин был готов уже тихонечко заскулить и, опустившись на колени, просить у Цветкова прощения за этот свой неудачный розыгрыш...

Цветков шагал по коридору, удивленно озираясь по сторонам, и ему казалось, что он только что проснулся. Выходит, он спал прямо на ногах, как лошадь?

Цветков пощупал руками свою одежду — одежда была сухой. Но ведь несколько секунд назад он упал на цементный пол, где стояла вода по щиколотку...

Почему упал?

Запнулся за лежавшую на полу змею электрокабеля, потом, пытаясь подняться на ноги, ненароком схватился за эту змею, и тут же перед его глазами вспыхнул ослепительно-белый шар. Потом грянул гром. По крайней мере, в его ушах грянул. Во рту стало кисло. Цветкова передернуло, едва не вывернув наизнанку. И он опять упал. Только на этот раз навзничь, ударившись затылком о пол.

А что было потом?

Ничего не было. Просто он вдруг осознал, что идет по коридору, освещенному тусклым светом. Идет, не понимая, куда и зачем идет.

Цветков на ходу ощупывал себя: шишка на затылке не обнаружилась. И вообще он не испытывал никаких болезненных ощущений. Вот и его одежда оказалась сухой.

Одежда... Куртка, которая была на нем, пропала. И шапка на искусственном меху тоже исчезла! Ладно, оставил их там, где упал. Наверное, были насквозь сырыми. Но бумажник с карточками, который лежал в кармане куртки? Цветков остановился и в волнении принялся хлопать себя по карманам. Бумажник обнаружился во внутреннем кармане пиджака.

Фу-у!

Но пиджак? Откуда пиджак?

Последние двадцать лет он не носил пиджаков.

Его взгляд упал вниз, на ноги.

Разве он вышел сегодня из дому в черных лакированных туфлях?

Это были те самые туфли, которые Цветков приобрел еще в начале девяностых, чтобы в них брать интервью у плодившихся тогда, как опята на гнилушке, успешных персонажей эпохи. Цветков полагал, что в лакированных туфлях он хоть немного будет своим для всех этих персонажей.

Как наивен он был тогда! Хотя вовсе не наивен, а довольно циничен. И всегда прекрасно понимал, что за птица перед ним. И ни одного из тех, у кого брал интервью, о ком писал в исключительных тонах, не уважал, но презирал и тихо ненавидел. Всех без исключения. И в беседе издевался над ними, но достаточно тонко, чтобы они, с их ограниченными мозгами, с их дурным воспитанием, не могли этого понять. Презирал их, ненавидел, но и, к досаде, завидовал им всем без исключения.

О, эти лакированные туфли!

Поначалу Цветков только приглядывался к таким на ногах успешных людей и в витринах обувных магазинов. Ему было бы странно пройтись в них по улице. Это было бы пошло и нелепо. И даже стыдно. Как если бы он прошелся по Невскому проспекту под руку с известной всей округе проституткой. Но другие-то спокойно ходили в лакированных, и никто не считал, что выглядит в них нелепо, и никому не было стыдно.

Цветков некоторое время колебался, нужны ли ему лакированные туфли. Но потом, делая вид, что не совершает ничего противоестественного, приобрел их.

Он полагал, что те туфли из Парижа. Ну, или хотя бы из Европы. Но туфли оказались из подвальной фабрики Хачика с Апраксина двора.

«Армянский самопал», — заявили ему знающие люди и беззлобно посмеялись над Цветковым, который полагал, что приобрел нечто фирменное.

Но именно это обстоятельство успокоило тогда Цветкова. Убедило его в том, что в этих лакированных туфлях он не будет нелепым или пошлым, поскольку лакированные туфли — один из символов исторических перемен, поскольку даже Хачик с Апраксина двора теперь их тачает...

«Что ж, пусть будут лакированные», — подумал сейчас Цветков, не вполне понимая, зачем надел эти туфли сегодня и, главное, где откопал их в своей небольшой квартире.

Он шел по слабо освещенному коридору, менявшему направление или пересекавшему другой коридор, такой же бесконечно длинный. То и дело на пути встречались металлические двери, ведущие в какие-то помещения. Многие из дверей оказались не заперты, а некоторые и вовсе распахнуты настежь. Возле каждой из таких Цветков останавливался, чтобы заглянуть внутрь. Ничего особенного в помещениях он не обнаруживал. Все это были какие-то склады или хранилища: то пыльных матерчатых тюков, то неподъемных стальных отливок. Попадались среди них и комнаты с разбитыми деревянными ящиками, с измятыми бумажными коробками и пакетами, сваленными в кучу.

Неожиданно он вышел из коридора в просторное помещение с высоченным сводчатым потолком, освещенное непонятно откуда сюда льющимся светом. Помещение напоминало подземный грот размером с большой концертный зал или даже крытую спортивную арену. По каменным стенам сочилась ржавая вода, образовывавшая лужи на цементном полу.

И тут Цветков увидел мужчину.

Тот стоял возле стены, одной рукой ухватившись за ступень пожарной лестницы, ведущей к небольшому квадратному проему в потолочном своде. На этой пятнадцатиметровой лестнице, крепившейся на стене с помощью стальной арматуры, вбитой в каменную породу, кое-где не закрепленной на стене, отсутствовала часть ступеней, что должно было не столько затруднять подъем, сколько делать его опасным.

Мужчина не то пытался что-то вспомнить, не то на что-то решался и никак не мог решиться. Он все время ставил ногу на железный прут, служивший первой ступенью лестницы, и вновь опускал ногу на пол.

Прежде чем карабкаться по этой лестнице, Цветков тоже хорошенько подумал бы. Уж очень ненадежной она ему показалась.

Молча он направился к мужчине. И тот, услышав шаги, развернулся к Цветкову, глядя на него вполне равнодушно.

Не дойдя несколько шагов до мужчины, Цветков остановился, смущенный тем обстоятельством, что откуда-то знает этого мужчину, только никак не может вспомнить, кто это и как его зовут.

— Э... — начал Цветков, вежливо улыбаясь мужчине, на правом запястье которого сверкнули часы. Цветков почему-то подумал, что это непременно «Ролекс», золотой или платиновый, в общем, самый дорогой, какой только может быть. — Простите, где я мог вас...

— Не утруждайте себя. Ну да, мы знакомы. Давным-давно.

Из-под свода — как раз через квадратный проем — вдруг посыпались вниз гирлянды искр, словно кто-то там наверху сейчас занялся сварочными работами. Высоко над головой Цветкова прокатился рокот, сопровождаемый отчаянным железным скрежетом. Словно что-то очень тяжелое, вдруг навалившись на свод, двигалось по нему, да так, что цементный пол под ногами Цветкова ходил ходуном.

— Ну вот, опять не успел, — произнес мужчина и выпустил из рук ступень лестницы. Потом посмотрел куда-то за спину Цветкову: — Подождите минутку. Кажется, опять она приехала. Постойте здесь, я скоро! — раздраженно произнес мужчина и направился к распахнутой настежь двери всего в нескольких шагах от них.

В дверном проеме угадывалась довольно уютная комната. Были видны край стола и кресло, в котором кто-то сидел; судя по голым коленям — молодая женщина. Также можно было разглядеть ее тонкую, едва ли не прозрачную руку, безвольно лежавшую на подлокотнике.

Мужчина решительно и, видимо, с растущим внутри раздражением вошел в комнату. И оба сразу — и он, и находившаяся там молодая женщина — начали разговаривать на повышенных тонах. Цветков не вслушивался, считая это неудобным, даже неприличным, и решил дожидаться мужчину возле лестницы, ведущей к проему в потолочном своде, укрепленном стальными швеллерами над пространством размером с футбольное поле.

Разговор в комнате не утихал. Напротив, там перешли к взаимным упрекам и даже оскорблениям. И Цветков, хмурясь, направился туда, надеясь своим появлением погасить уже полыхающее пламя ссоры.

— Если бы твоя мать в свое время не пошла мне наперекор, я бы теперь не выслушивал твои претензии. А я тебе не мать Тереза! У тебя своя жизнь, у меня своя. Поняла? — эти слова мужчина произнес довольно истерично, брызжа слюной и даже оскалившись, видимо, для пущей убедительности.

Выплеснув все это, мужчина выскочил из комнаты, хлопнув дверью и едва не опрокинув Цветкова.

Последний смущенно посторонился.

— Говорил же дуре: делай аборт! Теперь всю жизнь мучайся, содержи какую-то сумасбродку!

Цветков насторожился. Что-то в этих словах и вообще в этом столкновении мужчины и молодой женщины показалось ему знакомым. Нечто подобное случилось в его жизни. Правда, довольно давно. Но таких решительных слов он никогда не произносил и, наверное, не произнес бы.

Мужчина вновь направился к лестнице. Цветков поспешил за ним. Ему казалось, что сейчас он непременно вспомнит, где они встречались и как зовут этого человека.

— Нет! — воскликнул он. — Это какой-то кошмар! Мог ведь уйти сегодня. Но все медлил, вспоминал, что именно забыл взять с собой. И вот когда ушло время и уходить уже поздно, вспомнил, что забыл здесь свой портфель. Я ведь его приготовил, но, выходит, где-то оставил... Крокодиловой кожи, редкой красоты вещица. И потом — дорогущая! Вы не видели? — вопрос был обращен к Цветкову. Цветков пожал плечами и вежливо улыбнулся. — Без него я отсюда не уйду. Вот так каждый раз: только соберешься, влезешь на лестницу, как тут же обнаруживается, что забыл что-то. И вновь бродишь по коридорам, ищешь это что-то. Порой даже не знаешь, что именно ищешь. А пока ищешь одно, другое можешь потерять. А бывает и так: взял, кажется, уже все, что хотел, упаковал, как полагается, да только ноша теперь неподъемная! Или же вскарабкался на самый верх — путь открыт, да вот беда: в люк — не пролезть! Вещи не пускают: часть их надо непременно бросить. Ну и начинаешь решать, что именно бросить. И все тебе жалко, все тебе дорого, и со всякой самой малой вещицей у тебя что-то связано, может, даже что-то недостойное тебя, а то и просто постыдное, но такое сладкое, намертво засевшее в тебе воспоминанием. И ты медлишь, так сказать, на пороге свободы и все не можешь расстаться с прошлым, чтобы обрести эту

самую свободу. И вот уже поздно — искры летят, и свод прогибается. И снова спускаешься вниз... Или взять хотя бы фотографии из семейного альбома. Едва начинаешь отбирать самые важные из них, самые памятные, чтобы только их одних и взять с собой, как все фотографии вдруг делаются важными и памятными, и ни от одной из них нет сил отказаться. Кладешь их в карманы, а те, что не влезли в карманы, суешь за пазуху. Однако начинаешь подъем, и они сыплются из тебя, как осенние листья... Ладно, сегодня уйти не получится. Так что придется тут еще черт знает сколько куковать. М-да... — мужчина вздохнул и насмешливо воззрился на Цветкова.

— Где же я вас все-таки видел? — всплеснул руками Цветков, не понимая, почему до сих пор не вспомнил имя этого хорошо знакомого ему человека.

— В Караганде! — мужчина усмехнулся. — Пойдемте искать портфель. Чтобы завтра все было под рукой.

Цветков пожал плечами и последовал за мужчиной.

Они направились тем же путем, которым Цветков пришел сюда. Правда, теперь — в обратном направлении.

Следуя за мужчиной, Цветков рассматривал его.

Первое, поразительное, что Цветков заметил, были лакированные туфли на ногах мужчины. Правда, туфли основательно поношенные и поблекшие, видимо, вследствие многолетней носки. В том, что это были лакированные туфли, Цветков не сомневался. Второе, также поразившее его в облике мужчины, был его малиновый пиджак из девяностых, из-под которого выглядывал второй, только теперь зеленый и наверняка тоже из девяностых. Но самым поразительным было то, что из-под зеленого пиджака лезла оранжевая замша. Возможно, это была безрукавка или куртка.

Цветков в жизни не носил ни зеленых, ни малиновых пиджаков. Едва они появились в девяностых у «новых русских», Цветков сообразил, что это не его цвета. Люди, носившие подобные пиджаки, были по преимуществу из тех малообразованных, мрачно-агрессивных слоев общества, которыми всегда занимались правоохранительные органы. И вот девяностые, своей свободой по рукам и ногам связав органы правопорядка, дали вдруг надежду этим малообразованным и агрессивным гражданам, и те распоясались. И началась великая война за еще не поделенные богатства родины — со стрельбой, погонями и предсмертными хрипами целого поколения. И те, кто выжили в этой борьбе, отделавшись либо кратковременными тюремными сроками, либо незначительными увечьями, стали носить малиновые и зеленые пиджаки, словно нашивки за ранения и боевые награды. Цветков в то время много размышлял об этих пиджаках. Почему, собственно, малиновые? Или зеленые? Ведь еще десять лет назад подобный пиджак мог надеть на себя разве что клоун в Ленинградском цирке. И вот нате вам: утробистые мужики со сломанными носами и откушенными ушами, раздвигающие на Невском толпу, словно ледоколы, уверенно шли по жизни в подобных клоунских пиджаках, и никто над ними не смеялся. Напротив, остальные напуганные этими мужиками граждане примеряли на себя в мечтах и наяву эти же клоунские пиджаки, чтобы казаться окружающим... деловыми, уважаемыми людьми. Парадокс, но даже образованные, нечуждые культуре граждане надевали их на себя, чтобы стать чуть уверенней в своих силах или просто кого-то напугать, выдав себя за мужика с «макаровым» в кармане.

Да, девяностые были еще завалены тяжелыми кожаными куртками черного цвета. Но подобные куртки носили граждане, обычно сопровождавшие персонажей в малиновых и зеленых пиджаках, изображая из себя их охранников и телохранителей.

Но замшевая куртка? Она-то здесь при чем?

Цветков задумался. В поисках ответа он мысленно вернулся в начало девяностых, где малиновый пиджак отменил пижонскую замшу. Но видимо, не до конца отменил. И рыжая замшевая курточка в девяностые являлась чем-то вроде белой вороны, мелькавшей среди черноты кожаных курток, обеспечивающих покой малиновым пиджакам. И служила романтическим самообманом человеку со вкусом в условиях повсеместно сложившихся тогда в России трагических обстоятельств непреодолимой силы.

У Цветкова была как раз такая курточка, и он ее любил, но не носил; все не предоставлялся удобный случай: компания, которая могла бы оценить этот его *прикид*, никак не собиралась. Можно было, конечно, побродить в ней по улицам, зайти в бар, чтобы выпить коктейль, или даже посетить драматический театр, но у него и это както не складывалось. Цветков чувствовал фальшь в этом действе и усмехался себе под нос. Проще было надеть черную кожаную куртку или малиновый пиджак и слиться с толпой сограждан. Но Цветков не желал сливаться с согражданами так пошло. Но и выделяться особо не рисковал. Такое было время.

И все же однажды он взял замшевую куртку в командировку. Именно взял — положил в сумку, удовлетворившись лишь джинсовой рубашкой на теле. В одной рубашке было прохладно, и, честно говоря, он мерз всю дорогу. Но так было спокойней: к нему не приглядывались, на нем не заостряли внимание. Там, куда он приехал писать репортаж, все ходили в малиновых пиджаках, и Цветков не отважился извлечь свою курточку из чемодана. Чтобы не быть белой вороной. Хотя и надеть цветной пиджак и стать одним целым с победителями, теми самыми — с кривыми носами и откушенными ушами — ему тоже не хотелось. Поэтому всю командировку он проходил в джинсовой рубашке, ежась от холода, но широко улыбаясь согражданам и при первой возможности забегая в туалет, чтобы отлить.

В одной из комнат, куда заглянул мужчина в поисках своего портфеля, оказался человек, сразу заговоривший с театральным надрывом в голосе. Что именно он говорил, Цветков, как ни старался, не разобрал. Но почему-то Цветков знал, что это Ципкин. Да, это был именно Ципкин, хотя Цветков и не видел его. Узнал его по голосу? Да нет же. Голос был совершенно незнакомый. Но кто же еще, кроме Ципкина, мог так фальшиво вести разговор?! Цветков не сомневался в том, что в комнате Ципкин, в своем желтом костюме, в черной шелковой рубашке, с черным платком, повязанном на горле, и, как всегда, с наглым, а теперь еще и немного испуганным лицом.

Едва мужчина вошел в комнату, Ципкин наверняка бросился к нему — Цветков в этом даже не сомневался, — по-женски заламывая руки.

— Я знаю, что вы меня не любите, — вдруг услышал Цветков слова невидимого ему Ципкина. — Да и за что меня любить?! Но прошу вас, помогите мне. По крайней мере, никому не говорите, что я здесь. Я в опасности и боюсь остаться один. На меня идет охота. Я уже на волоске...

— Вы такая ценная дичь? — холодно поинтересовался у Ципкина мужчина, добавив изрядную порцию иронии в свой вопрос.

— Не смейтесь, — уже шепотом продолжил Ципкин. — Я все же художник. А художник обязан творить каждый день, каждую минуту, и если он остановится, его спишут со счетов и вышвырнут из искусства. Конечно, я не могу изображать жизнь и людей так, как это делали Рембрандт, Тициан или Веласкес. Выходит, я должен каким-то образом... обмануть публику, чтобы та поверила в то, что я художник — и такой же, как Рембрандт, Тициан или Веласкес. Каким-то образом я должен убедить ее в том, что, скажем, куча дерьма под дверями Мариинского дворца сегодня то же самое, что «Даная» для ценителей искусства позапрошлого века. Пусть и не то же самое, но не-

что равноценное, равнозначное с точки зрения современного искусства. Но убеждать обманывая — о, как же это нелегко! Это, знаете ли, тоже большое искусство...

Цветков стоял возле двери комнаты, в которой находились мужчина и Ципкин, и не собирался заходить туда. Ему не хотелось видеть Ципкина, не хотелось с ним говорить. И уж тем более помогать ему. Ципкин был ему ненавистен. Если бы Цветков мог уничтожить сейчас Ципкина и остаться при этом безнаказанным, то, несомненно, уничтожил бы, наслаждаясь его предсмертными муками, смеясь в его искаженное болью лицо. Но Цветков боялся уголовного преследования, и ему оставалось только изнывать от ненависти к Ципкину.

Послышался какой-то посторонний шум — кажется, из дальнего конца коридора кто-то следовал сюда.

Огромные крысы — те самые, о которых рассказывал Ципкин — стаей приближались к нему. Однако Цветкова было не обмануть; он был уверен в том, что огромные крысы — неформалы, те самые акционисты, которых он видел на открытии выставки в галерее искусств на Литейном. Вот и сейчас длинные желтые шарфы колебались в волнах воздуха, матово отливали кожаные куртки-косухи с заклепками, ухали по цементу тяжелые сапоги с высокими берцами, скрипела инвалидная коляска.

Цветков прильнул к стене и стал крутить головой в поисках укрытия, однако не нашел ничего подходящего. Вытянувшись в струнку, изо всех сил вжимаясь в стену, Цветков не дышал.

Бегущие по коридору крысы показались Цветкову решительно настроенными на что-то жестокое, кровавое, роковое. Цветков отчаянно боялся попасть им сейчас под горячую руку.

Тем временем крысы остановились возле приоткрытой двери в комнату, где находились сейчас Ципкин и мужчина — как раз напротив вросшего в стену Цветкова. Наверняка крысы заметили Цветкова, но тот, видимо, не интересовал их в данный момент.

Дверь комнаты распахнулась, и в коридор вышел мужчина, напуганный внезапным появлением этой затянутой в кожу банды. Вышел и тут же бесшумно прикрыл за собой дверь.

— Ну? — грозно спросила мужчину одна из крыс.

— Он там, за дверью, — хрипло произнес мужчина, косясь на дверь. — Только к тому, что вы задумали, я не хочу иметь никакого отношения.

— Не хочу иметь никого отношения! — передразнил мужчину крыса в инвалидной коляске, выкатываясь вперед. — Скажи еще, что тебе эту гниду по-человечески жаль и что не тебе судить... или еще какую-нибудь хрень. Ты сам его ненавидишь, желаешь ему смерти, а прикончить его должны мы? Так, что ли?

— Но ведь он не меня, а вас обманывал, когда заявлял, что вместе с вами отрежет себе часть пениса! — воскликнул мужчина, полагая, что это напоминание снимет с него обязанность участвовать в предстоящем действе.

— Это наше дело. А ты за себя отвечай. Вот, держи! — и колясочник протянул мужчине огромные, сверкающие никелем ножницы.

Все они — и мужчина, и банда крыс-неформалов — стояли сейчас спиной к Цветкову, и последний, понимая, что ножницы в конечном счете непременно вложат ему в ладонь, тенью отделился от стены и направился в ту сторону, откуда появились крысы. Сделав несколько десятков шагов, Цветков услышал:

— Эй, ты куда?

Со стороны это выглядело довольно малодушно, но Цветков побежал. Умирая от страха и хватая ртом стоячий воздух. За спиной у него заухали сапоги: банда броси-

лась в погоню. Цветков бежал, спотыкаясь, задыхаясь и повизгивая от страха. И при этом — боясь оглянуться на преследователей.

Погоня не удалялась от него, а ноги Цветкова отказывались бежать, и Цветков думал о том, что, если сейчас упадет, ему конец.

Почему конец? В чем он виноват?

Он все же упал, тут же подтянув ноги к груди и крепко обхватив голову руками — защищая таким образом лицо. Однако бить его никто не стал.

Вокруг него разгоралась рукопашная схватка: кто-то скрипел зубами, кто-то кричал, угрожая, кто-то жалобно просил пощады. Трещала одежда, гулко падали тела, ударяя головами о цементный пол. Цветков понял, что его или не замечают, или принимают за мертвого.

Но кажется, он просто спал.

И ему приснилось, что его заметили на полу, рывком поставили на ноги и вложили ему в ладонь что-то металлическое, холодное. Цветков не открывал глаз, боялся увидеть то, что у него в руках. Наверняка это были ножницы. То, что от него теперь молчаливо требовали, было невыполнимо. Но и противиться опасным крысам Цветков не находил в себе мужества. Он все еще боялся открыть глаза и посмотреть на обступившую его банду, полагая, что этим вызовет ярость крыс, а может, и вдруг увидит нечто такое, после чего не сможет жить. И потому он стоял, опустив голову и слушая, как вибрируют его натянутые нервы.

Наверняка Ципкин был сейчас где-то рядом, всем своим видом говоря Цветкову: только попробуй отрезать, и до конца своих дней будешь гнить в тюрьме. Цветков был в отчаянии. Он был уверен в том, что все они — и люди, и крысы — знают, что должно случиться дальше: Цветков непременно отрежет Ципкину то, что тот когда-то грозился отрезать себе сам. Отрежет — тем и погубит себя.

И тут Цветкову пришло спасительное: он подумал о том, что, возможно, все еще спит, что все это лишь дурной сон. Но если это ему лишь снится, то вот что он должен сделать, чтобы прекратить эту невыносимую пытку: он должен задушить Ципкина. А потом передушить всех крыс, как котят. И колясочника тоже удавить. В Цветкове вдруг появилась такая решимость.

Ципкин даже не сопротивлялся, когда Цветков, не открывая глаз, душил его. У Ципкина оказалась тонкая вялая шея, и Цветков передавил ее, как садовый шланг. Притихшие крысы топтались где-то рядом. Отбросив от себя Ципкина, Цветков перешел к крысам. Те даже не пробовали бежать: пока Цветков нащупывал и давил горло первой из них, остальные покорно ждали своей очереди. Крыса-колясочник, правда, попыталась удрать. Но Цветков, услышав скрип удаляющейся коляски, в два прыжка настиг колясочника, развернул коляску к себе и, все так же не открывая глаз, раздавил коленом грудь беглеца.

Дело было сделано. В крови Цветкова докипал адреналин, и Цветков радовался тому, что все это было лишь во сне.

Когда он открыл глаза, рядом никого не было.

Выходит, он и в самом деле спал, и та лютая расправа, которую он только что учинил, была лишь сном.

Вдоль стен широкого сумрачного коридора лежали горы строительного мусора и вороха черной от влаги прелой листвы.

Куда все же делась погоня?

Ведь она не отставала... А потом он вдруг заснул?

Тут что-то было не так. Не так, как должно быть.

Он подошел к стене и застыл в нерешительности: а что если сон — не сон? И все они — и Ципкин, и крысы-неформалы — там, под мусором, еще теплые?

Повертев головой по сторонам (вдруг кто-то сейчас наблюдает за ним), Цветков ковырнул носком туфли гору мусора. Посыпались куски сухой штукатурки, клоки стекловаты, обрезки стальной арматуры, битый кирпич; обнажились две пластиковые бутылки, одна из которых была до половины заполнена темно-желтой прозрачной жидкостью, вторая — на треть мутной оранжевой. Рядом с бутылками обнаружились смятые бумажные стаканчики от молочного мороженого с деревянными палочками внутри, пустой пузырек от школьных чернил, чей-то дневник за шестой класс средней школы. Ни имя, ни фамилию на титуле Цветков не разобрал. Все так же носком башмака он раскрыл дневник посередине и сразу понял, что дневник — настоящий, тот, что дается на растерзание учителям, но содержится втайне от родителей, потому что родителям предлагается обычно другой дневник — фальшивый. В настоящем шестикласс-ник старательно расписывается вместо родителей на каждой странице под всеми двойками и замечаниями возмущенных учителей, тем самым давая понять классному руководителю, что родители шестиклассника в курсе его школьных дел. В фальшивом же дневнике почти нет оценок. А если и есть, то не ниже четверки. Конечно, такая тактика шестиклассника в какой-то момент терпит крах, оканчиваясь выволочкой, а то и рукоприкладством, но до этого трагического момента у шестиклассника есть шанс пожить по-человечески.

Под дневником оказалась мертвая жаба: из тела жабы торчал кусок алюминиевой проволоки, изогнутый посередине под острым углом. Такие алюминиевые пули Цветков в детстве изготавливал для стрельбы из рогатки, когда весной в его районе начиналась война двор на двор.

А ведь это была та самая жаба, которую он как-то в середине апреля расстрелял в упор. Сердце Цветкова содрогнулось.

Зачем он убил ту жабу?

Жаба грелась на солнце в небольшой, довольно глубокой луже, образовавшейся в результате таяния скопившегося за зиму льда возле подвальной двери «родилки». Так ребята во дворе называли родильный дом, что был через дорогу от их дома. Жаба, большая, едва ли не глянцевая, отвратительная Цветкову, совершенно разнежившаяся на припеке, довольно близко подпустила его, шестиклассника, к себе. И едва Цветков понял, что убил ту жабу, едва он увидел рану на теле жабы, страшную, роковую, его затошнило, и он бросился прочь.

Теперь та несчастная жаба вновь больно резанула Цветкова по сердцу.

— Жаба на моей совести, — произнес он, не услышав собственного голоса.

Болезненно сморщившись, Цветков носком туфли забросал жабу мусором — убрал с глаз долой.

Потом он увидел бутылку. Пол-литровую из-под лимонада «Буратино», в которой они с Валерой Петроченко когда-то пытались приготовить малиновую настойку. Два дня во время тихого часа за лагерным забором Цветков и Петроченко набивали малиной эту бутылку, а не собственные желудки, обирая редкие кусты хилой малины. Потом насыпали туда добытый на лагерной кухне сахарный песок, заткнули и зарыли бутылку под кустом рядом с забором. Надеялись в конце пионерской лагерной смены раскупорить бутылочку и побаловаться *настоечкой*. Когда пришло время воспользоваться настойкой — ягодное вино зрело уже больше двух недель, к тому же завтра их увозили на автобусах из лагеря в город, — Петроченко отрывать бутылку отказался.

— Иди сам, если тебе так надо, нам ведь нельзя за забор! — фальшиво заявил Петроченко, пряча глаза от Цветкова. Цветков пристально посмотрел на Петроченко, потом бросился к дыре в заборе, выбрался наружу и принялся копать под кустом. И ничего, кроме жирного дождевого червя, не откопал.

Петроченко кричал, что это наверняка не тот куст, что тот, кажется, был в другом месте, но он не помнит, в каком именно, когда готовый заплакать от такого вероломства приятеля Цветков напрыгивал на него, не по-детски широкого в кости, чтобы ударить его кулаком в нос. При этом Петроченко не то что не пытался дать Цветкову сдачи, но даже не защищался. И когда у него наконец хлынула кровь из носа, благодарно заплакал.

Так вот, оказывается, где они с Петроченко зарыли ту бутылку с настойкой! Выходит, зря он разбил Петроченке нос. О, как Цветков тогда негодовал! Всю лагерную смену Цветков был уверен в Петроченко, как в самом себе, считал его другом, делился с ним халвой и лимонадом, которые покупал в поселковом магазинчике на деньги, выигранные в «трясучку»...

Цветков взял бутылку в руки, вытянул из нее свернутую из куска газеты пробку и хлебнул настойку из горлышка. В настойке не было ни градуса, ни вкуса. У нее не было даже цвета. Что-то вроде воды из-под крана. Зря, зря он тогда разбил Петроченке нос. Но как Цветков мог забыть, что бутылку с настойкой они закопали именно здесь, у стены, в мусоре?

Он повертел головой по сторонам, пытаясь разглядеть зеленогорские сосны и высокий забор с крашенной в зеленый цвет металлической сеткой, через дыру в котором они с Петроченко убегали в тихий час из лагеря на волю. И кажется, что-то похожее увидел. Но лишь на мгновение и довольно неотчетливо.

Цветков уже собрался идти назад, чтобы взобраться по пожарной лестнице к проему в потолке и наконец-то завершить свое странное путешествие, и тут только вспомнил, зачем подошел к этой куче мусора.

Взяв в руку кусок арматуры, он принялся ворошить прошлогоднюю листву, сваленную у стены, и увидел обнажившуюся сухую ладонь. Словно кого-то забросали палой листвой, и он, бессильный, тянул теперь к Цветкову свою руку, надеясь на его помощь. Цветков отпрянул от стены. Потом, загнанно озираясь, забросал ладонь листьями.

Все в Цветкове противилось этому открытию.

«Нет, нет, нет! Это не Ципкин и не кто-то из этих крыс. Да мало ли кто там может лежать! Возможно, это чья-то могила, а я просто не заметил надгробный камень. Так ведь бывает: бродишь по кладбищу в поисках нужной могилы, а между тем топчешь какие-то давно ушедшие в землю надгробия и даже не замечаешь этого...»

Однако ж успокоить себя не получалось. Вопреки желанию в голове Цветкова звенело: «Нет, голубчик, это твоя работа. И все они — и Ципкин, и акционисты — там! Нельзя было копаться в этом, нельзя было ворошить. Сам виноват...»

Он спешил прочь от этого места и пытался уверить себя в том, что тела под листьями вряд ли кто-то обнаружит. А если и обнаружит, то где доказательства того, что этих людей прикончил именно Цветков?

Цветков смотрел на свои руки.

Руки были как руки, и на них не было ни капельки крови.

«Только бы они не завоняли, и тогда их не найдут, — думал он, но убийственная мысль терзала его мозг: — Как же не найдут?! Найдут! И доказывать ничего не станут. Всем и так известно, как Цветков ненавидел Ципкина и прочих современных художников...»

Цветков вновь стоял возле лестницы, ведущей к проему в потолочном своде, оттуда сыпались снопы искр.

За спиной послышались чьи-то осторожные шаги. Задержав вдох, Цветков медленно повернул голову. К нему направлялся тот самый мужчина, имя которого Цветков никак не мог вспомнить. Лицо мужчины было спокойным, даже каким-то меланхоличным, и Цветков осторожно выдохнул, предположив, что мужчине ничего не известно о последних подвигах Цветкова.

— Я же вам говорил, нам еще ждать и ждать, когда можно будет убраться отсюда, — сказал мужчина Цветкову, указывая пальцем на потолок.

— Если надо — подождем! — сказал Цветков и осторожно улыбнулся, обрадованный тем, что мужчина ничего не знает и, возможно, ничего не узнает о цветковских подвигах.

— Вот черт, куда же она делась? — пожаловался мужчина Цветкову.

— Кто она? — Цветков опять мучительно пытался вспомнить имя этого человека, буквально вертевшееся у него на языке.

— Да запонка. Вот полюбуйтесь, — и мужчина протянул вперед свою правую руку с расстегнутым рукавом белой рубашки. — Все уже приготовил, все собрал, любимый портфель нашел и в самый последний момент обнаружил ее пропажу. Но как отсюда уйти, если оставляешь здесь что-то для тебя дорогое?!

Он принялся ходить взад и вперед, уставившись в пол. Вежливо кашлянув в кулак, Цветков также устремил свой взгляд в пол и принялся искать пропавшую запонку.

Некоторое время они ходили, уткнув глаза в пол.

— Нашел! — воскликнул вдруг мужчина и торжествующе поднял над головой что-то зажатое в кулаке.

Цветков подошел к нему, уверенный, что сейчас непременно в его голове всплывет имя этого человека, и вгляделся в находку.

— Но ведь это... морская ракушка, — вежливо заметил Цветков.

— Еще школьником привез ее из Крыма. Валялась у меня дома в спичечном коробке, потом я о ней забыл. И вот нашлась! Не представляете, как я счастлив, — мужчина торжествующе поглядел на Цветкова.

— Но ведь вы искали запонку? — пожал плечами Цветков.

— Ну да, золотую. Запонка, запонка...

Это был не ответ, однако Цветков промолчал, видя радость на лице собеседника.

— Простите, — наконец решился Цветков, — вы не напомните мне, где мы с вами встречались? И ведь совсем недавно.

— Где встречались? Да везде... Вы спешите отсюда?

— Да уж, — усмехнулся Цветков и воззрился на отверстие в потолке, к которому вела пожарная лестница. — А другого пути отсюда нет? — поинтересовался Цветков. — Я, например, спустился сюда по лестнице, но у той было от силы пятнадцать ступеней. А у этой в десять раз больше. Не находите, что это странно?

— Ничего странного, — немного раздраженно воскликнул мужчина. — Я, например, вообще никуда не спускался. И как здесь оказался, понятия не имею. Хотя что-то припоминаю, конечно. Но вот детали или последовательность событий... Хотите есть? — поинтересовался он.

— Не отказался бы, — улыбнулся Цветков, не чувствуя ни жажды, ни голода.

— И я не отказался б. Искал тут какой-нибудь продовольственный склад. В одной комнате обнаружил галеты и макароны. Набросился на галеты, а это не галеты, а костяшки домино. Глупость какая-то. И макароны — не макароны, а черт-те что: жуешь их, добиваясь вкуса, а вкуса нет, как у пластмассы или пластилина. Да, тут толь-

ко чугунные болванки да мешки с тряпьем настоящие. Вам, случайно, здесь не попадалось съестное?

Цветков следовал за мужчиной и до головной боли пытался вспомнить, с чем сюда пришел. Наверняка и у него был с собой кожаный портфель, но, конечно, не крокодиловой кожи, о котором он мечтал всю жизнь. Да и какие-то вещи тоже были. Все это следовало найти, прежде чем лезть вверх по лестнице. Кстати, была ли на нем любимая замшевая куртка, когда он попал сюда — ну, та самая, которую он никогда не носил?

Он заглядывал в комнаты и помещения в происках своих вещей, забыв, что они ищут еду. То и дело Цветкову попадались и кожаный портфель, и замшевая куртка — то висящие на вбитых в стену гвоздях, то лежащие в углу комнаты на груде мусора, а то — на парковой скамье. Но едва Цветков лез в карманы куртки или открывал портфель, тут же понимал: это не его вещи. И опять мучительно пытался вспомнить, где оставил свои.

Кажется, он заснул, потому что в коридоре вновь появились те самые крысы-неформалы, которых он недавно передушил. И колясочник был с ними и улыбался, как живой, скаля желтые прокуренные зубы. Они подошли к замершему у стены Цветкову, и Цветков принялся работать кулаками. Его удары по лицам акционистов получались довольно слабыми, однако и они валили этих крыс на пол, и Цветков топтал их тела, словно это были не тела, а пуховые подушки. То справа, то слева от Цветкова мелькал Ципкин со своей ядовитой ухмылкой, но в драку вступать не спешил. С одной стороны, Цветков был рад тому обстоятельству, что все эти неприятные персонажи до сих пор живы. Но с другой стороны, ему вновь и вновь приходилось уничтожать их. И он молотил кулаками проклятых крыс и топтал, топтал, топтал их тела...

— Да что ж это такое! — возопил Цветков, придя в себя посереди комнаты и рядом с мужчиной, крутящим перед глазами мятую замшевую куртку, очень похожую на ту, что когда-то была у Цветкова.

— Что с вами опять случилось? — спросил Цветкова мужчина, не отрывая своего придирчивого взгляда от куртки.

— Меня всюду преследуют, и мне приходится...

— Убивать преследователей? Не беспокойтесь, я никому не расскажу об этом. Вы их убиваете, а они появляются снова?

— Да... Разве такое возможно? — удивился Цветков.

— Так всегда и происходит. Учтите, они не отстанут от вас до тех пор, пока вы их, — тут мужчина сделал паузу и выразительно посмотрел на Цветкова, — не полюбите. Или хотя бы не простите.

— Я всех давно простил! — немного обиженно взвился Цветков.

— Вы уверены? Если и простили, то на словах, а не в сердце. Прощение только в сердце, дорогой мой. Это вам известно не хуже меня. Вы их продолжаете ненавидеть, потому-то они и не отстают от вас.

— Тогда подскажите мне, каким образом можно взять и простить беспринципных, безжалостных, трусливых, лживых и ничтожных гордецов?! Я ведь их даже людьми не могу назвать. Были бы они крысами, тогда другое дело, — прорвало и понесло Цветкова.

— Так уж и не люди! Не меньше нас с вами. Ну, и не больше, конечно. Где-то я читал, что прощение — это подвиг смирения и самоотвержения. Может, это и черес-

чур, — мужчина взглянул на Цветкова насмешливо, совсем как инспектор детской комнаты милиции на юного хулигана. — Но попробуйте вглядеться в каждого из них, и, уверяю вас, в каждом вы найдете нечто человеческое, потому что оно там есть. Человеческое есть в каждом даже тогда, когда вы не хотите этого замечать, когда видите в человеке только омерзительную крысу. Постарайтесь увидеть в этих крысах человеческое, и вашему сердцу станет легче смириться с их существованием. Кстати, и вы ведь не ангел. Вам бы тоже следовало чаще виниться перед людьми. Помимо вины перед этими несчастными художниками, — тут Цветков вздрогнул: как этот человек узнал, кого именно Цветков имел в виду под ничтожными гордецами? — у вас имеется должок еще кое перед кем. Даже не должок, а целый долг!

Цветков опять шел по коридору. Куда? Об этом он не думал.

В мозгу Цветкова сидела последняя фраза мужчины. Цветков понимал, на кого именно намекал ему мужчина. На дочь Цветкова и мать его дочери.

Цветков виноват перед ними? Пожалуй, виноват...

Немного раздраженно он думал сейчас об обеих и склонялся к тому, что без признания за собой вины перед ними ему не выбраться отсюда. Так что прежде всего ему следовало уладить это неприятное дело, а уж потом идти искать человеческое в крысах.

Но с чего вдруг, почему он станет искать человеческое в каких-то крысах? Да потому, что ему давно пора отсюда наверх: завтра на Московский вокзал приезжает его взрослая дочь, которая, возможно, вовсе не его дочь. Но ему сейчас почему-то хотелось, чтобы та действительно оказалась дочерью. Что за блажь? Довольно странное желание холостяка, всегда жившего для себя... Зачем ему эта обуза в виде взрослой дочери?

Он и сам не мог понять зачем. Однако идея встретить на Московском вокзале дочь (пусть и не свою) все больше увлекала Цветкова, постепенно завоевывая его сознание.

Цветков думал о предстоящей встрече, и та казалась ему важной.

Но если дочь должна только завтра прибыть на Московский вокзал, то как она может сейчас находиться здесь, в одной из комнат?

В том, что дочь здесь, Цветков был уверен.

И еще он откуда-то знал, что и ее мать тоже тут, рядом.

Еще вчера Цветковым в подобном деликатном деле руководил бы холодный расчет, и Цветков предельно цинично и с минимальными душевными затратами решил бы эту проблему — примирился бы с обеими. Помирился бы, конечно, обманывая себя, уверяя себя в том, что искренен с ними (это ему требовалось для того, чтобы чувствовать себя порядочным человеком), и потом еще некоторое время свято веря в этот обман. В общем, вчера в этом деле у Цветкова не возникло бы никаких проблем, потому что вчера у Цветкова не было совести. Вернее, вчера она помалкивала в темном углу цветковской натуры. Но сегодня, после всего того, что с ним случилось, Цветков чувствовал внутри себя какую-то досадную занозу, не дающую покоя, саднящую память и не позволяющую Цветкову сохранять хладнокровие...

Цветков распахнул нужную дверь, и за ней, словно Цветков был фокусником, оказалась его дочь.

Вернее, довольно блеклая девица, сидевшая в протертом кресле. Не с ней ли еще недавно на повышенных тонах говорил здесь мужчина, имя которого Цветков все никак не мог вспомнить?

Цветков подошел к девице. Та подняла на него глаза, и Цветков, к своему удивлению, узнал в ней... селедку — ту самую провинциалку, которую вчера увел у него Ципкин.

Его дочь — та самая селедка?!

Но ведь он мог вчера пойти с ней...

На его лбу проступила испарина. Селедка посмотрела на него снизу вверх с невинным и довольно глупым выражением на лице, посмотрела без всякого удивления, по всей вероятности, думая о чем-то своем, мелкотравчатом.

О деньгах? О прыщавом женихе? (Наверняка у нее есть жених — фитиль с тонкой шеей, прыщами на лице и глупым смехом.) А может, и о Ципкине, с которым провела ночь.

Селедка вдруг стала ему неприятна. Сейчас его «прости», обращенное к ней, действительно было бы простой формальностью. В нем не обнаружилось бы ни душевного сокрушения, ни сострадания. И значит, «прости» не сработало бы. (Хотя Цветков сейчас был уверен в том, что это сидящее перед ним тупое создание не в силах отличить подлинное чувство от фальшивого.) И селедка, то есть его дочь, хочет она того или нет, не отпустила бы его отсюда наверх. И он вследствие этого не смог бы встретить ее на Московском вокзале. Конечно же, не эту, простоватую, туповатую девицу, а другую: умную, красивую, светящуюся от радости при виде идущего ей навстречу Цветкова, как ему этого сейчас все больше хотелось.

Без его искреннего «прости», без его осознания своей вины перед этой селедкой та изо дня в день будет сидеть в этой комнате, мечтая о своих жалких глупостях.

Однако что-то в Цветкове все же изменилось.

Он чувствовал, как непривычная теплота завоевывает его сердце. Совсем как та, давнишняя, жалость к подстреленной жабе, внезапно обнаружившаяся в его сердце возле подвальной двери «родилки», обнаружившаяся, несмотря на отвращение к бьющейся в конвульсиях глянцевой твари. Однако и этой обнаружившейся в сердце Цветкова теплоты было еще недостаточно для того, чтобы сердце Цветкова попросило у селедки прощения.

Он понимал, что должен отыскать в этой глуповатой, вполне к нему равнодушной и оттого неприятной ему девице что-то, возможно, неприметное, незначительное, неброское, но сокрушающее и его гордый нрав, и его холодный разум.

В плохоньком платье, в туфлях, стертых до коричневой кожи на носках, она действительно выглядела жалко. Как ей до сих пор жилось? Ведь он бросил ее еще до ее рождения. И по мере того, как девочка росла, ее мать, вероятно, находилась в весьма стесненных обстоятельствах, разрываясь между потребностью устраивать собственную судьбу и необходимостью растить дочь, которую, конечно же, любила, но которая, несомненно, была препятствием к устройству судьбы этой вполне обыкновенной женщины. И со временем, не находя искомого счастья, мать, вероятно, становилась все более невыносимой в общежитии, кричала на дочь и даже поднимала на нее руку. И во всем этом формально был виноват Цветков, однажды во хмелю сделавший этой женщине ребенка и тут же бросивший ее с ребенком как досадную помеху. Так что очень даже возможно, что в какой-то момент окончательно потерявшая надежду на личное счастье мать сделалась невыносимой для собственной дочери.

Однако ее мать... Цветков подумал о том, что с селедкой он договорится чуть позже — никуда она от него не денется, поскольку будет сидеть в своем кресле и мечтать о своих глупостях. А вот ее мать — та женщина, в адрес которой Цветков не раз и не два бросал обидные, жестокие слова и которую как-то, потеряв терпение, даже

обозвал «шлюхой» — та для него в настоящий момент действительно проблема. Женщины долго — если не всю жизнь — помнят нанесенные им обиды. И если она, увидев Цветкова, закусит удила, прощения от нее Цветкову не видать, сколько ни вейся перед ней ужом, сколько ни бей себя в грудь и ни посыпай свою голову пеплом. Но где искать эту женщину?

Как где, наверняка она сейчас где-то рядом. Рядом со своей дочерью. Ведь и за тысячи километров от дочери мать все равно рядом с ней своими всегдашними мыслями о ней, своей всегдашней тревогой и потому не прекращающейся ни на секунду мольбой за нее...

Он вышел от селедки (та при этом даже не взглянула на него) и отправился искать мать своей дочери, размышляя о том, как могла измениться эта женщина за прошедшие двадцать с лишком лет. Способна ли она и теперь, как в тот вечер, когда они в первый и последний встретились, радоваться чужому счастью и добродушно смеяться над собой?

Цветков заходил в каждую из попадавшихся ему на пути комнат. И всюду там — и на полу, и на столах, и в разбитых ящиках — лежали крысы.

Но нет, Цветкова было не так просто обмануть!

Он понимал, что никакие это не крысы, а неформалы — те самые недобитые им акционисты. Цветков бросал брезгливый, опасливый взгляд на крыс, и все в нем сопротивлялось необходимости вглядываться в их мохнатые, одутловатые морды, чтобы найти там что-то человеческое. Крысы были ему омерзительны.

Однако последние не проявляли агрессии по отношению к Цветкову. Напротив, они едва дышали. И вот еще что: на теле каждой зияла рана — напоминавшая ту, которую он нанес жабе у подвальной двери родильного дома. И из каждой такой раны торчала пулька, изготовленная когда-то Цветковым из куска алюминиевой проволоки.

В одной из таких подбитых крыс Цветков разглядел колясочника.

Тот быстро и неглубоко, совсем как уставшая от бега собака, хватал ртом воздух, пытаясь протолкнуть его в смятые легкие, но не мог этого сделать и задыхался.

Цветков собирался уже выскочить из комнаты, чтобы не видеть мучений колясочника, однако неожиданно для себя направился к нему.

— Я тебе помогу, — произнес он довольно сухо, не решаясь заглянуть в лицо колясочнику, и, подавив приступ брезгливости, извлек пульку из его груди.

Судорожно выгнув спину, крыса протолкнула воздух в легкие и задышала. Потом открыла глаза и посмотрела на Цветкова с благодарностью.

— Прости меня, — равнодушно произнес Цветков и вдруг отважился взглянуть в лицо колясочника.

Лицо как лицо: сухие губы с чешуйками мертвой кожи, не могущие до конца сомкнуться, чтобы прикрыть желтизну ломаных, с лошадиным прикусом зубов, кривой, кривой нос, набрякшие загубные складки, глубокие борозды на лбу, толстые сивые волоски над верхней губой и на подбородке, угри с черными головками на щеках и скулах. И глаза — с тяжелыми веками без ресниц, мутные, с сетью бордовых капилляров по всей роговице... и еще с чем-то неожиданным внутри, напомнившим Цветкову растопленный на огне спиртовки воск. Этот горячий воск пробивался изнутри сквозь муть глаз и светился так, что долго смотреть в эти глаза Цветкову было нестерпимо.

Но откуда мог взяться свет в крысе, в этом сломанном пополам существе, в грязном, неделями не мывшемся и столько же не менявшем нательное белье калеке, в котором и жизнь-то держалась лишь по недоразумению?!

Но ведь держалась, да еще и сочилась наружу от избытка.

Пожалуй, этот свет был самым главным в облике колясочника. Он был его сутью. И возможно, той идеей самой жизни, ради которой она, жизнь, до сих пор жила в этом наполовину мертвом существе.

Но разве подобная жизнь была нужна самому колясочнику? Едва ли...

Но кому тогда? Кому предназначался этот свет из глаз колясочника?

« Этот калека, может, и жил до сих пор для того, чтобы я увидел его боль...» — неожиданно пришло на ум Цветкову.

Это был свет страдания. Чистый и нестерпимый для глаз.

Цветков отвел взгляд в сторону: так страдать мог только человек.

И память вдруг вернула Цветкову события почти двадцатилетней давности — шумную компанию остряков, в которую затесалась одна молодая мать умирающей девочки. Эту женщину недавно бросил муж. Не потому бросил, что полюбил другую или захотел свободы, а потому, что был не в силах жить рядом со своей приговоренной к смерти и каждый день умирающей дочерью. Бросил, потому что хотел сохранить собственную жизнь. Будто заполз в окоп при бомбежке и заткнул ладонями уши. И его жена осталась один на один с подступающей к их ребенку смертью, намертво приковав себя к этой беде. Эту молодую женщину привели сюда ее подруги, чтобы дать ей передышку, отвлечь от непрестанной борьбы со смертью (ее дочь то и дело накрывали приступы удушья), напоить живой водой человеческого участия или хотя бы накормить досыта. Кто уж там остался с ее дочерью — бабушка ли, соседка или еще какой самаритянин, известно не было. Да об этом собравшиеся за столом и не спрашивали. И вот она все время, пока была в этой компании шумных остряков и веселых выпивох, чуть ли не с благоговением смотрела на всех. А когда уходила, так искренне благодарила за свое сегодняшнее счастье посидеть с ними за одним столом, что все сидящие за столом не знали, куда спрятать глаза. Ее подруга, закрыв за ней дверь и вернувшись к столу с красным лицом и прыгающими губами, вдруг со смехом сказала: «Она считает, что мы все тут святые». И после этого у нее случилась истерика. Значит, и Цветкова, она тоже посчитала святым... Так вот, у той молодой матери были такие же глаза — с тем же нестерпимым светом изнутри. Цветков тогда расстроился. Он вдруг осознал, что рядом с его устроенной, удобной и многообещающей жизнью существует другая — беспросветная, безнадежная, полная боли и отчаяния — жизнь. И с этой жизнью Цветков не желал иметь ничего общего, эту жизнь Цветков смертельно боялся и ненавидел. От нее он убежал бы за тридевять земель или улетел на Луну. Потому что и один час прожить жизнью этой матери человеку невозможно, потому что такая жизнь против человеческой природы, против человека...

И до Цветкова дошло, откуда взялся этот свет в колясочнике.

Все болезненное, горькое, безжалостно ломающее пополам, что носила душа этого человека без надежды получить когда-нибудь перемену участи и жить так, как живут здоровые и счастливые и оттого не ценящие своего счастья и здоровья люди, годами плавилось в нем, уча его терпению, выжигая его обиды, смиряя его гордыню. И когда выжгло в его душе все телесное, пошло наружу, как кровь горлом у смертельно раненого.

Вымученно улыбнувшись, крыса протянула Цветкову свою высохшую ладонь, на которой лежала хлебная корка.

— У меня почти не осталось зубов, и десны кровоточат. Я не ел уже целую вечность. Пожуй эту корку и потом вложи пережеванное в мой рот. Сделай это для меня, и я спокойно умру, — сказала крыса.

Сунув хлебную корку себе в рот, Цветков принялся жевать. У корки не было вкуса, как у ваты. Наконец Цветков вывалил изо рта себе на ладонь пережеванный хлеб и осторожно, боясь сделать крысе больно, поднес ладонь к ее открытому рту. Отвернув голову от Цветкова, крыса попробовала проглотить хлеб. Не с первого раза, но ей все же это удалось. Наблюдая за этим действом, Цветков не чувствовал под собой ног.

— Спасибо, брат, — наконец произнесла крыса. — Теперь я немного посплю.

— Прости меня, прости, прости... — зажмурившись, повторял Цветков.

И вновь он открывал одну за другой двери. Возле одной на несколько секунд задержался, собираясь с духом: пришла уверенность, что за этой дверью — мать его дочери.

Однако когда он распахнул дверь, к нему с разложенного дивана (да-да, это был тот самый диван-книжка, где он провел ту единственную ночь с матерью своей дочери) повернула голову огромная глянцевая жаба с рваной раной на спине. Удивительно: у жабы были глаза колясочника, и в них жил тот же нестерпимый свет.

Цветков захлопнул дверь и бросился бежать.

«Это сделал я? А кто ж еще! Значит, и у нее — моей дочери — должна быть точно такая же рана...»

Он бежал и думал о том, как сейчас будет просить прощения у дочери, как встанет перед ней на колени и его слова будут искренними.

Но разве он на это способен?

Да, он сделает это. Но не для того, чтобы дочь отпустила его на свободу, а для того, чтобы позволила ему... быть ее отцом, жить отныне вместе с ней. Или хотя бы ради нее.

С его сердцем сейчас что-то происходило.

Оно таяло, плавилось, как воск, и ничего с этим нельзя было поделать. Он думал о том, что когда дочь простит его, он будет просить прощения у всех людей, которых подстрелил когда-то своей алюминиевой пулькой. Сколько их вокруг, оскорбленных его презрительным взглядом, раненных его язвительным словом, униженных его безжалостным смехом, убитых его равнодушием? И перед всеми он виноват. Возможно, он не знает, в чем именно виноват перед каждым, но это теперь и не столь важно.

Для Цветкова это была довольно странная идея. Но что-то в ней было. Что-то такое, что с первого раза трудно принять и вместить, но уж если принял и вместил, то это непременно станет частью тебя и сделает тебя другим...

Цветков вновь стоял перед дочерью (перед той самой еще недавно безразличной Цветкову селедкой), в волнении рассматривая ее и заставляя себя верить в то, что это его дочь. Та, не глядя на Цветкова, что-то напевала себе под нос, прижимая правую ладонь к худосочной груди. Только сейчас Цветков заметил эту ее ладонь, прижатую к сердцу. Пригнувшись к девице, он накрыл ее ладонь своей и осторожно сдвинул ее в сторону. Из груди селедки вырвался звук, похожий на стон, и Цветков увидел кровоточащую рану.

Что-то пронзило его, что-то подобное физической боли: да, селедка — его дочь, потому что и у нее на сердце рана.

Он упал на колени, уткнулся лицом в ее равнодушную ладонь и заплакал. Цветков плакал впервые за многие годы.

Боль дочери, вернее, все то, что она должна была чувствовать с тех самых пор, как он подстрелил ее, вдруг открылась в нем раной. Это была не физическая боль. Эта боль была иного рода. Боль, которую невозможно унять уколом обезболивающего, потому что ее источник не внутри, а снаружи, потому что она нематериальна. Эта

боль чувствовалась каждой клеткой Цветкова. Даже больше — она была самим Цветковым и затихнуть, исчезнуть навсегда могла только в том случае, если бы Цветков исчез навсегда.

Нет, это было немыслимо, это было невозможно.

Но это было.

Цветков протер глаза и повертел головой по сторонам. Он стоял посреди Дворцовой площади. Рядом с Александрийским столпом на шершавой и словно взбухшей после дождя брусчатке, напротив арки Главного штаба и колесницы над аркой... Стоял и не понимал, как здесь оказался. Площадь наводнили колясочники, сотни, может, тысячи колясочников, многие из которых, несмотря на крайнее истощение, яростно вращали колеса своих колясок, сталкиваясь друг с другом, сцепляясь рычагами и отчаянно пытаясь разъехаться. Броуновское движение человеческой плоти, прикованной к никелированной стали. Лица колясочников, почти восковые, выражали страдание (капельки пота на лбу, скорбные морщины возле рта). Цветкову показалось, что эти люди по какой-то причине не могут, не имеют права сейчас жаловаться на судьбу, что им запрещено говорить о своих страданиях. Даже плакать они не имеют права.

Их все прибывало. Большими колесами и металлическими рычагами своих колясок они мяли, дробили друг другу бесчувственные конечности, постепенно спрессовываясь в один кусок плоти и стали.

Висящее над площадью молчание клубилось, как туча. Цветков вспомнил: именно здесь когда-то с пьяными криками, гиканьем и свистом приветствовала молодежь своих кумиров — заморских музыкантов. И он тогда был тут, чтобы написать репортаж. Как они напирали тогда, бесшабашные, полные радужных надежд, опьяненные молодостью, в обнимку с нарочито громко хохочущими девицами. Цветков узнавал их всех в лицо. Только теперь это были разрушенные недугом калеки. И все они ждали здесь чего-то для себя значительного и, возможно, совсем неутешительного.

Цветкова окликнули по имени. Незнакомый женский голос.

Цветков обернулся, и увидел девушку, и тут же понял, что это его дочь, с которой он должен встретиться завтра на железнодорожном вокзале. Выходит, приехала раньше? Но как она нашла Цветкова здесь?

Девушка кивнула ему и стала выбираться из толпы колясочников, напомнившей Цветкову стаю гигантской саранчи. Боясь задеть кого-нибудь из этих несчастных, он протискивался между колясочниками, ударяясь о металлические выступы колясок. Инвалидов становилось все больше: своими искореженными телами они запрудили подходы к площади. Продвигаться вперед становилось все трудней. В какой-то момент Цветкову пришло: если он сейчас не предпримет каких-то решительных действий, ему не выбраться из этой толпы.

С брезгливостью к трясущемуся, слюнявому уродству Цветков раздвигал коляски. Колясочников было слишком много для того, чтобы думать о страданиях кого-то одного из них. Идущая впереди девушка (Цветков теперь сомневался в том, что это его дочь — слишком уж не похожа на ту, что приезжала к нему просить денег на жизнь) постепенно удалялась, и в один момент он потерял ее из виду. И как только потерял, понял, насколько боится ее потерять. Устремляясь в сторону, где за мгновение до этого был виден ее силуэт, он, исполненный чего-то звериного, прыгнул на колени ближайшего калеки, своими туфлями расплющив его немые, вялые бедра. Колясочник обхватил его ноги и прижался к ним плоской грудью с такой силой, словно желал срастись с Цветковым и получить хоть немного его крови в свое высохшее тело. И Цвет-

ков узнал его. Это был тот самый неформал, которому он однажды раздавил грудь, а потом накормил пережеванным хлебом. Боясь увидеть лицо калеки, но более всего свет из его глаз, Цветков оторвал от себя его цепкие руки и побежал по плечам, головам, спинам несчастных калек. Прыгая с одного на другого, он несся поверх толпы, никого не жалея. Он мял безвольные тела, месил плоть намертво сцепившихся друг с другом уродцев и ненавидел себя за это. Ненавидел и боялся, что кто-то из них сейчас вцепится в него, повалит на брусчатку, и после этого все они придвинут к нему свои страшные, исполненные светом страдания лица. И этот свет сожжет Цветкова.

Откинув от себя последних цеплявшихся за него колясочников, он увидел вдали силуэт девушки и прибавил ходу.

По пустынной улице навстречу Цветкову попалась женщина с детскими санками. Алюминиевые полозья невыносимо скрипели по асфальту, но женщина, кажется, не слышала этого скрипа, потому что слушала что-то внутри себя. В санках она везла маленькую девочку. У ее болтавшейся из стороны в сторону головы не было лица. Его тело высохло, а одежда полуистлела. Цветкову было понятно, что эта девочка давно умерла.

Из подъезда одного из домов к женщине вышел старик с грязной бородой и стал торговаться с ней, брезгливо поглядывая на девочку. Женщина не хотела продавать старику девочку, но старик вдруг вырвал из рук женщины веревку и потащил сани в дом. Женщина осталась посреди улицы. Потом уже из дома послышался скрежет металлических полозьев о ступени, который все не прекращался. Можно было подумать, что подвальная лестница, по которой, видимо, спускался старик, имела сотни ступеней.

Из соседнего дома вышло одновременно несколько человек с безразличными лицами, и Цветков сразу узнал в них банду акционистов. Один из них — болезненно бледный — неожиданно крепко вцепился рукой в ворот рубашки Цветкова и потащил его в дом. Остальные бросились ему помогать. Цветков ударил бледного кулаком в грудь. Потом, не давая ему опомниться, ударил в лицо. Лицо бледного оказалось холодным и вялым, как у мертвеца. Бледный упал. Остальные, удивленные таким поворотом дела, отшатнулись от Цветкова, и тот пошел прочь. Захлопали двери парадных: справа и слева от Цветкова из домов выходили люди, много людей. И все они устремлялись к Цветкову. И только тут он вспомнил, зачем вдруг оказался здесь, в городе, и что должен сделать. Он должен попасть на Васильевский остров, с которого открывался выход к морю. Ведь море — это Цветков знал всегда — и есть свобода. Вот то главное, что сейчас понимал Цветков.

Он бежал по какому-то виадуку (откуда на Васильевском острове взялся виадук?) в сторону Гавани и неожиданно увидел внизу ту самую девушку (ну да, свою дочь), идущую по обочине нырявшей под виадук улицы. Оглянувшись на преследователей, те не отставали, Цветков, рискуя угодить под колеса летящих по проезжей части автомобилей, прыгнул вниз — туда, где только что шла девушка. Цветков вновь не сомневался в том, что та — его дочь. И еще ему хотелось верить, что дочь знает дорогу к морю. Сам он не узнавал в окружавших его кварталах родной Васильевский остров и путался в линиях и проспектах.

Незаметно улица сузилась до узкого коридора, вдруг перешедшего в темный, сырой лаз. Только вытянувшись в струнку, Цветков смог в него втиснуться. Стало мучительно душно, и Цветков, задыхаясь, был уже готов закричать что-то отчаянное. И тут он увидел море.

Море лежало мутным грязно-зеленым пластом за многоэтажным белым корпусом, отгороженным от улицы металлической решеткой с воротами, распахнутыми наружу, и лишь далеко на горизонте становилось лазурно-бирюзовым. Вдоль металли-

ческой ограды был выкопан канал, по которому сейчас бежал мутный поток. Попасть в ворота, за которыми Цветков надеялся выйти к морю, угадываемому за белым зданием, можно было только по перекидному мосту, который, казалось, мог с трудом выдержать человека. Возле ворот рядом с мостом стояли люди в медицинских халатах. Видимо, белое здание было больницей. Цветков видел ее впервые. Медработники издали улыбались Цветкову и приветливо махали ему руками — словно приглашали к себе. Но Цветкову не нужна была больница. Ему был нужен берег, за которым начиналась свобода.

Справа и слева от больничного корпуса высились крымские скалы (это не удивляло Цветкова) — более высокие, нежели корпус больницы. Там, где скалы отсутствовали, выход к морю закрывал многометровый бетонный забор. Так что если Цветков и мог каким-то образом попасть на берег, то лишь через какую-нибудь неприметную дверь больничного корпуса или через окно. Не могло быть такого, чтобы здесь не было выхода к морю.

Получалось, Цветков должен идти туда. Но в этом таилась какая-то опасность, Цветков чувствовал это.

На некотором отдалении от моста он разглядел остановку городского транспорта.

А что если уехать отсюда?

Но как же тогда его дочь?

И как тогда его свобода?

Поколебавшись, Цветков все же направился к остановке.

Табличка указывала на то, что здесь останавливается двадцать третий маршрут. Цветков прежде не слышал о таком маршруте. Ожидавшие автобус люди были сосредоточенны. Среди них Цветков неожиданно для себя разглядел дочь. Та повернула к нему голову и чуть заметно кивнула.

— Автобус идет к морю? — спросил Цветков какую-то девчушку, проходя мимо нее.

С шерстяной шалью на плечах в клетчатом платье и с корзиной в руках, та ничего не ответила, только нахмурилась. Рядом с девчушкой сидела женщина — наверняка ее мать. Женщина тут же обняла девчушку, прижала ее к себе, заслоняя от Цветкова и неприязненно глядя на него.

— А я, я доеду до моря на двадцать третьем? — не отступался Цветков.

Женщина неопределенно покачала головой, поднялась со скамьи и пошла прочь, взяв за руку девчушку. Отойдя от остановки несколько десятков шагов, обе они сели на землю у бетонного забора, из-за которого выглядывал край солнца. И тут же демонстративно отвернулись от Цветкова.

Цветков сел рядом со своей дочерью. Та о чем-то думала, и Цветков решил ее не беспокоить...

Уже довольно длительное время они томились на остановке в ожидании автобуса. Тем временем некоторые из сидящих рядом с ними на остановке, потеряв терпение, поднимались со скамьи, уныло брели к мосту, друг за другом переходили его. У ворот больницы их встречали медработники.

— Может, и мы пойдем туда? — спросил Цветков дочь, пытаясь заглянуть ей в лицо. И добавил шепотом: — Там наверняка есть выход к морю.

Дочь немного насмешливо уставилась на Цветкова. Цветков отвел глаза в сторону, вспомнив, как сначала изранил ее мать, а потом и самой ей отказал в деньгах на жизнь. Цветков чувствовал необходимость сейчас поговорить с дочерью и даже знал, о чем именно...

Вздохнув, девушка поднялась с места и молча пошла по мосту. Цветков последовал за ней.

У больничных ворот толпились люди. В основном женщины с детьми. У всех были объемистые сумки, вероятно, с вещами и продуктами — всем тем, что обычно приносят с собой пациенты больниц. Входя в ворота, люди испуганно улыбались докторам и медсестрам, словно не до конца верили в чудодейственную медицину и даже ждали от нее подвоха. Медработники же, напротив, кажется, были уверены в успехе лечения и потому принимали пациентов по-свойски: дружески похлопывая их по спинам, а то и с гагаринской улыбкой обнимая за плечи.

Когда все они (и Цветков с дочерью) оказались на больничном дворе, медики затворили ворота и повесили на них замок. Ключ от замка спрятал в карман доктор, самым удивительным в облике которого были плотные завитушки его волос. Они были словно из золота. Кроме того, на носу доктора сидели нелепые солнцезащитные очки.

— Я знаю этого доктора, — шепнул дочери Цветков. — Его зовут Ципкин. Будь с ним осторожна.

Конечно же, это был Ципкин! А кто еще, кроме этого дешевого провокатора, мог носить золотые волосы и темные очки?!

Тем временем златовласый доктор открыл дверь больничного корпуса и повел вновь прибывших вверх по лестнице.

Цветков с дочерью остались во дворе.

Здесь была разбита клумба с яркими цветами. Цветков подошел поближе к клумбе: при ближайшем рассмотрении цветы оказались тряпичными, пластмассовыми или бумажными.

Идти, кроме как в открытую дверь больничного корпуса, было некуда. Возле двери старуха санитарка терпеливо дожидалась, когда наконец в дверь войдут последние двое.

Цветков с дочерью направились к двери, и когда вошли в больничный корпус, старуха закрыла дверь, повернула в замке ключ и, сжав его в кулаке, исчезла под лестницей — там оказалась железная дверь.

На этажах этой больницы все было почти так, как в других больницах: белые коридоры с серым линолеумом полов и синюшными стенами и потолками, двери палат и процедурных, операционных, фикусы в кадках. Единственное, что удивляло — обилие раскладушек в коридорах. На раскладушках лежали пациенты. Создавалось впечатление, что все они недавно прооперированы: их лица были бледны, грудь и головы многих были забинтованы. Лежали здесь и дети, и взрослые. Кое-где взрослые лежали вместе с детьми и шепотом успокаивали последних, осторожно гладили их по голове. Попадались тут и такие, что лежали на раскладушках в верхней одежде и обуви, глядя на дверь операционной. Эти наверняка ждали операции.

К Цветкову подошел верзила в белом халате, готовом лопнуть на его жирных плечах. Цветков вгляделся в него и узнал... своего лагерного дружка Петроченко. С круглым лицом и плаксивыми глазами, посаженными у самого носа, Петроченко сделал вид, что не знает Цветкова. В руке Петроченко сжимал сосуд с жидкостью, совсем непохожий на бутылку от лимонада «Буратино». Верхняя часть сосуда представляла собой стеклянную иглу, изогнутую под прямым углом к нижней части. На острие стеклянной иглы набрякла маслянистая капля.

— Ваша очередь, — прогундосил Петроченко и поднес к глазам Цветкова иглу.

— Нет, — рявкнул Цветков, отводя руку вероломного предателя, — не сейчас.

Петроченко растерянно пожал плечами и подошел к матери с дочерью — тех самых, у которых Цветков пытался выяснить, куда идет двадцать третий маршрут. Мать

не собиралась отдавать свою дочь Петроченке, что-то ему доказывала, но тот вдруг уколол женщину в глаз острием сосуда, и та, отшатнувшись, выпустила дочь из рук. Петроченко повел упирающуюся девочку в операционную, а женщина, вытащив носовой платок, приложила его к слезящемуся глазу и стала ждать возвращения дочери.

— Пойдем отсюда, — шепнул Цветков дочери.

— Куда?

— Выход должен быть, — шепнул ей Цветков, и они отправились вперед по коридору к его дальнему концу.

— Куда собрались? — воскликнула старуха санитарка, возникшая у них на пути.

— На другой этаж, — ответил Цветков. — Где тут лестница?

— Другого этажа нет, — произнесла старуха. — Возвращайтесь и ждите своей очереди.

Действительно, лестница в конце коридора не обнаружилась.

Но ведь она была! По ней Цветков с дочерью поднялись сюда.

Вместо лестницы Цветков увидел еще один коридор, ведущий куда-то в глубь этажа. Увлекая за собой дочь, он бросился туда, распахивая попадавшиеся на пути двери и обнаруживая за ними все новые коридоры. Цветков ждал погони, топот ног за спиной; чувствовал, что их с дочерью уже ищут. И нигде не было ни окошка, чтобы понять, в какую сторону им бежать. В коридорах было пусто. Лишь однажды на пути у них выросла все та же старуха санитарка, пытаясь загородить им путь, но Цветков наотмашь ударил старуху по лицу, и та, взвизгнув, прижалась к стене.

Лестницу они так и не обнаружили и странным образом вернулись туда, откуда бежали — в основной коридор, где, кажется, все пациенты были уже прооперированы. Из операционной выводили последних, осторожно поддерживая их. Прооперированные — те самые люди с остановки, — с широко раскрытыми глазами, ошеломленные, потрясенные и, кажется, сломленные, осторожно ступали по полу. Они не кричали, даже не стонали. Смертельно бледные, они смотрели перед собой, словно ища место, где им можно было бы сжаться в комок и перетерпеть то, что творилось у них сейчас внутри.

Самой последней вывели девочку с остановки.

Ее платье было расстегнуто на спине: спина была перебинтована. Девочка кусала губы и смотрела на свои руки, за которые ее держали медсестры.

— Что они там с ними делают? — шепотом спросил Цветков дочь.

— Разве ты не знаешь что? — дочь выразительно посмотрела на него.

Из операционной вышел Петроченко вместе со златовласым Ципкиным. На последнем был фартук. Петроченко молча указал Ципкину на Цветкова, и Цветков понял, что теперь Петроченко непременно отомстит ему за свой разбитый нос.

— Где тут туалет? — как можно спокойнее произнес Цветков, обращаясь к медсестрам, ведущим по коридору прооперированную девочку.

Одна из них кивнула в сторону ближайшей двери. Цветков открыл ее. За ней оказался туалет с умывальником, и под самым потолком здесь светилось окно. Набросив щеколду на дверь, Цветков попробовал открыть окно. В коридоре началось движение, и в дверь уже стучали.

Оконный проем был довольно узким. Едва Цветков начал протискиваться в него, как вспомнил о дочери, оставшейся в коридоре. Однако же нет, та стояла рядом с ним на подоконнике, и Цветков облегченно выдохнул. Он все никак не мог протиснуться. А его дочь сделала это с легкостью. Дверь уже выламывали. Дочь стояла на карнизе и, кажется, не знала, что ей делать дальше. Цветков устремился к дочери, и не понял

как оказался на карнизе рядом с ней. Метрах в пяти ниже выступал козырек еще одной крыши. Цветкову было не страшно прыгать вниз. Но его дочь? Однако та прыгнула прежде, чем Цветков задал ей этот вопрос. Цветков зажмурился; если дочь сломает себе ноги, он не оставит ее — понесет на себе. Но сначала крепко обнимет, чтобы немного заглушить ее боль, и скажет, что отныне он навсегда с ней, что он ее больше никогда не бросит... Дочь стояла внизу, на козырьке и смотрела на него. Цветков прыгнул, крыша мягко спружинила под его ногами, и он оказался рядом с дочерью. Однако ниже оказалась еще одна крыша. И он прыгнул еще раз. Дочь прыгнула следом. Но и эта крыша была не последней. И им опять пришлось прыгать...

Во время этих прыжков Цветков заметил узкий пролом в бетонном заборе, сразу за грязной мусорной кучей.

И вот еще что удивило Цветкова: на фасаде больницы не было ни окон, ни дверей. При этом само здание было изогнуто петлей и замкнуто само на себя, вероятно, для того, чтобы у пациентов не было пути назад. Однако где-то обязательно должна была находиться та дверь, через которую они попали в это здание.

Они приземлился в ту самую клумбу с искусственными цветами. И теперь оба вжимались в землю, поскольку во дворе появилась старуха санитарка. Покрутив головой по сторонам, старуха вдруг отодвинула часть стены, оказавшейся ширмой, за которой пряталась входная дверь.

Цветков с дочерью не шевелились, и, похоже, никто из появлявшихся то и дело во дворе медработников не замечал их. Однако лежать на земле без движения можно было сколь угодно долго: на больничном дворе все время появлялись какие-то люди. Нужно было действовать. Выбрав момент, когда двор на мгновение опустел, Цветков, увлекая за собой дочь, бросился в конец больничного двора, к куче мусора, состоящей из старых простыней, халатов, использованных бинтов и шприцев и еще чего-то упакованного в черные пластиковые мешки, рядом с которыми валялись рваные сапоги на толстой подошве и куртки-косухи с заржавевшими заклепками.

«Значит, их все же нашли там, у стены, в кучах прелой листвы...» — промелькнуло в голове Цветкова.

Однако сейчас ему было не до душевных терзаний.

Протиснувшись в пролом забора, они оказались во дворе возле деревянного барака. Кто-то грузный, обрюзгший, с красной блестящей физиономией, в замасленной спецовке возился там с мотором старого ЗИЛа.

— Отвезите нас к морю! — с этими словами Цветков бросился к красномордому и, когда тот обернулся, узнал в нем Ципкина.

Это было абсолютно невозможно, поскольку Ципкин остался там, за бетонным забором, в роли златовласого доктора.

Может, красномордый мужик не Ципкин?

И потом, каким образом Цветков разглядел в этом совсем непохожем на Ципкина человеке Ципкина?!

А по глумливой ухмылке. Так ухмыляться мог только один человек на планете.

— Бесплатно? — спросил Ципкин.

— У нас нет денег, но я... отдам вам свои французские туфли. Лакированные! — Цветков изо всех сил делал вид, что не узнал в краснорожем Ципкина.

— Только они, сами знаете, армянские, — произнес красномордый, разглядывая туфлю, протянутую ему Цветковым. Потом добавил, уже шепотом: — Хотите сбежать?

Послышался топот ног, Цветков оглянулся и увидел спешащих к ним медработников, впереди всех бежал Петроченко.

— Умоляю вас! — крикнул Цветков, обращаясь к красномордому.

Еще немного повертев туфлю в руках, тот бросил ее в кузов грузовика, влез в кабину и кивком головы указал беглецам на место рядом.

Едва Цветков с дочерью влезли в кабину, взревел мотор, и ЗИЛ рванул с места. То и дело, резко поворачивая и лишь чудом не врезаясь в стены, они летели по лабиринту проходных дворов Васильевского острова.

ЗИЛ все прибавлял скорости, но и погоня, возглавляемая Петроченко, не отставала, все время сидела у беглецов на хвосте. Цветков неожиданно понял, что ЗИЛ крутится в пределах одного квартала. При этом краснорожий водитель без остановки скалил зубы. Провоцировать, вводить в заблуждение, обнадеживать, а потом разом лишать надежды всегда доставляло Ципкину наслаждение. И сейчас Цветков был уверен в том, что Ципкин просто издевается над ним и дочерью, забавляется их страхом, играет их жизнями. Это был очередной перформанс Ципкина. Цветков готов был уже вцепиться краснорожему в горло. Видимо, почувствовав это, тот направил грузовик по проспекту, перестав кружить по проходным дворам квартала. На пути ЗИЛа стали попадаться огромные, отшлифованные дождем и ветром валуны и какие-то скальные выступы, проросшие костлявым, безлистным кустарником. Море было где-то рядом...

Не жалея грузовика, Ципкин направлял его прямо на валуны, на которые ЗИЛ взбирался, скрипя шинами, и потом буквально срывался вниз, так что Цветкову хотелось зажмуриться. Однако грузовик всякий раз мягко приземлялся и продолжал движение. Погоня позади них распалась на отдельные группы. Медработники не знали усталости.

Наконец ЗИЛ выкатился на берег, и Цветков увидел море.

Оно было мутным и неподвижным. Цветкову даже показалось, что оно такое же искусственное, как цветы на больничной клумбе. И все же, по крайней мере на горизонте, море было настоящим. Но туда нужно было еще добраться.

Грузовик уже по колеса погрузился в воду, напрягаясь и кашляя. И тут его мотор заглох.

С издевательской улыбкой краснорожий смотрел на растерянного Цветкова, а невесть откуда взявшийся здесь Петроченко уже лез в кузов ЗИЛа. Да и остальные преследователи были тут как тут. По грудь в вязкой воде они брали заглохший ЗИЛ в кольцо.

— А где вторая туфля? — обратился Ципкин к Цветкову, едва сдерживая рвущийся из глотки хохот. — Вы обещали!

Туфли на ноге Цветкова не оказалось.

Что-то Цветков должен был сейчас вспомнить. Что-то важное.

И вспомнил. Вспомнил, что стоящая рядом с ним дочь завтра должна прибыть на Московский вокзал, где Цветков встретит ее. Чтобы отныне они — отец и дочь — жили одной семьей.

Но чтобы завтра прибыть на Московский вокзал, дочь должна была сейчас вырваться из окружения и добраться до открытого моря. Там были свобода и возможность сесть в поезд и приехать на Московский вокзал.

Цветков притянул к себе дочь и шепнул ей: «Плыви!» После этого бросил ее, словно куклу, в вязкую, как масло, воду. Дочь тут же поплыла.

Медработники устремились за ней, но на пути у каждого из них вырастал Цветков и топил их, как котят. В какой-то момент под руку ему попался Петроченко. У Петроченко из носа текла кровь; он растянул губы, чтобы гнусаво заплакать, и Цветков не стал топить Петроченко. Ему вдруг стало жаль такого нескладного, трусливого, не умеющего до конца быть другом Петроченко.

И тут же Цветкова подхватило быстрое течение и понесло назад к берегу.

— От себя не сбежишь! — крикнул ему вдогонку Ципкин.

Течение уже несло Цветкова по каналу, тому самому, что протекал вдоль больничной ограды, и как раз — к воротам, через которые он попал на территорию больницы. Еще издали заметив плывущего к ним Цветкова, медработники бросились открывать их.

Цветков обернулся. Дочь была уже далеко — возле покатых морских волн. Над водой то показывалась, то вновь исчезала ее голова. Море вдали было бирюзового цвета, и ветер носился по вершинам волн, срывая с них барашки. Преследователи небольшими группами стояли на дальних валунах, уже не пытаясь схватить беглянку, которой до синевы оставалось совсем немного.

Цветков с разгона уперся во что-то твердое — это был мост, ведущий к воротам больницы. Круг замкнулся. Можно было выть от отчаяния. Однако Цветков думал о том, что дочери должно хватить сил доплыть до свободы. Так что когда его, крепко взяв за руки, вели к воротам, он улыбался, счастливый.

И Цветков опять стоял возле пожарной лестницы, вцепившись руками в металлическую ступеньку.

Что это было? Он опять спал?

Цветков чувствовал в себе растущую решимость немедленно выбраться отсюда. Он будет подниматься по этой ненадежной лестнице, даже рискуя свернуть себе шею.

Но к чему этот риск?

Как к чему?!

Он должен успеть на Московский вокзал к прибытию поезда, на котором приезжает его взрослая дочь просить у него денег. Конечно, у него нет тех денег, которые нужны дочери. Но у него есть взрослая дочь, которой нужны деньги.

Еще вчера ему было безразлично, есть у него дочь или нет, он даже не помнил о ней. Теперь же, после всего, что произошло с ним, она стала ему нужна, возможно, нужнее всего на свете, потому что, сама того не зная, внесла в его безнадежную жизнь надежду, наполнила ее, пустую, содержанием. В жизни Цветкова появился смысл: он должен встретить дочь, чтобы сказать ей, что у него есть теперь смысл жить дальше. И даже если она не захочет его слушать и, смертельно обиженная, развернется, чтобы исчезнуть из его жизни, он не махнет на нее рукой, не крикнет ей вслед что-то оскорбительное, но умолит ее верить ему. И она обязательно поверит ему, и они пойдут по Невскому проспекту к Дворцовому мосту. Цветков будет рассказывать ей что-то о себе, а она, уже успокоившись, будет его слушать. А может, и заплачет, прижмется к его плечу, а он обнимет ее за плечи и... и...

Цветков едва не задохнулся, поняв, насколько это ему важно.

Все отчетливей, все сильней чувствовал он в себе что-то пронзительное и хрупкое, и понимал, насколько дочь важна ему, и верил, что любит ее. Не так, как всегда любил женщин, а так, как любят солнце, вдруг выглянувшее из-за тяжелых туч. И это чувство, эта прежде неведомая ему любовь росла в нем вверх и вширь. Переполняя его, она рвалась наружу, и вокруг Цветкова голубовато светился воздух. Хотя это, возможно, ему только казалось. Нет, он не имел права опоздать к поезду. Теперь бы он умер, если б не встретил дочь на Московском вокзале.

Задрав голову, Цветков смотрел на квадрат проема: грохот наверху смолк, и можно было начинать подъем.

Но встать сейчас даже на первую ступеньку показалось Цветкову невыполнимой задачей. Его левая рука висела плетью вдоль туловища и отказывалась слушаться.

Он взглянул на нее. Откуда у него этот «Ролекс» на запястье? Ах да, как он мог забыть: у него всегда были эти часы, просто сейчас ему не вспомнить, когда и по какому случаю приобрел их.

Нет, с ними ему не взобраться по лестнице.

«Расстаться с любимыми часами?!» — подумал Цветков и тут же вспомнил слова мужчины, которого встретил здесь, жалующегося на то, как трудно избавиться от чего-то своего, даже от сущего пустяка. Ведь пустяк, к которому ты привык, с которым сросся, давно стал частью тебя...

«Пустяк стал частью Цветкова?» — усмехнулся Цветков.

Это было унизительно. Но это была чистая правда. Цветков чувствовал, что ни одна мелочь из его жизни так просто не отпустит его.

Сначала он не без душевных усилий расстался с «Ролексом» — аккуратно положил часы на пол у стены, потом принялся вынимать из карманов все, что там было, и бросать на пол. И все казалось ему дорогим, памятным и позарез необходимым.

На пол летели морская ракушка (та самая, которую нашел тот мужчина и сказал, что это его ракушка, хотя она всегда была ракушкой Цветкова, привезенной им в детстве из Крыма), потертая запонка — вовсе не золотая, рогатка с пригоршней алюминиевых пулек, лимонадная бутылка из-под ягодной настойки... Но и этих жертв было недостаточно. Чтобы осилить подъем, Цветков должен был оставить здесь... свой кожаный портфель, вдруг обнаруженный Цветковым у себя на плече, болтающимся на кожаном ремешке.

«Разве это мой портфель? — удивился Цветков. — Разве он не принадлежит тому мужчине? Мы вместе с ним искали его. И вот его портфель оказался моим? Но я точно знаю, что это мой портфель, я прекрасно его помню...»

Действительно, все в портфеле — и фотографии, и квитанции, и дипломы с грамотами, и оплаченные квитанции услуг ЖКХ за три года внутри, и даже повестка в суд — принадлежало Цветкову. По крайней мере, на фотографиях был Цветков. Да и на бумажках стояла его фамилия.

Нет, что-то во всем этом было не так, как должно быть, как было всегда. Что-то не складывалось. Существовало какое-то вопиющее несоответствие формы содержанию, чудовищная нестыковка между частями одного целого, и бездна зияла между сторонами одной медали.

Цветков словно раздвоился внутри себя.

Он поставил на пол портфель, но и от этого легче ему не стало.

Тогда Цветков сбросил с себя замшевую куртка, ту самую, любимую, которую он искал тут и которая, оказывается, все это время была на нем. И все равно ему не хватало сил и воздуха для подъема по лестнице. Цветков расстегнул пуговицы на груди. И только сейчас заметил, что на нем малиновый пиджак — тот, который был на мужчине. «А под малиновым пиджаком наверняка — зеленый!» — подумал Цветков, хотя зеленого пиджака у Цветкова никогда не было.

Так и есть: зеленый пиджак был на нем!

Он сбросил с себя оба пиджака и с трудом, словно кто-то висел у него на плечах, одолел несколько ступеней. Значит, дело было не только в дорогих ему вещах. Значит, оставалось еще что-то до сих пор незаметное, но неподъемное. Только не в карманах, а где-то внутри самого Цветкова.

Цветков вдруг испугался.

« Я должен оставить всего себя здесь? Но с чем же я тогда явлюсь туда?!»

Нужно было продолжать подъем, не глядя вниз и не останавливаясь. Потому что если остановишься и посмотришь вниз, наверняка увидишь то, что оставляешь. Нель-

зя было думать о том, что оставляешь здесь, потому что эти мысли непременно вернули бы его назад — к тому, без чего ему, казалось, не жить.

Не жить без морской раковины?

Но это же смешно. Какая-то пустяк!

«Пустяк? А подумай о нем, и твои мысли против воли останутся с этим пустяком и не отпустят тебя отсюда...»

Наверху было тихо. Свод не содрогался, не прогибался под невыносимой тяжестью, не гудел уставшим металлом, низвергая вниз снопы ослепительных искр.

Цветков вновь поднимался. Шаг за шагом, ступень за ступенью, преодолевая сомнения и хаос, в который превращались в его голове строгие прежде мысли. Он уже ничего не понимал ни в себе, ни в том, что составляло окружающую действительность.

Он задыхался, но подъем нельзя было прекращать, нельзя было смотреть вниз. Почему нельзя — он уже не помнил. И лишь верил в то, что, если сейчас остановится, не случится что-то самое главное в его жизни и что-то важное сломается в нем навсегда.

И тут до него дошло, что подниматься сейчас вверх для него важнее, чем вещи, которые он оставлял внизу. Важнее, чем его память, пытавшаяся оставить его с этими вещами, чаяниями, грезами.

Стараясь не смотреть вниз, он втиснулся в проем. Голова и плечи Цветкова уже находились в туннеле, в дальнем конце которого вдруг родился и постепенно нарастал железный грохот. Чтобы влезть в туннель целиком, Цветкову нужно было подтянуться на руках. Но сил на это не хватало, и он отчаянно дрыгал ногами, думая, что сейчас сорвется вниз.

В конце туннеля вдруг возникла полоска света, которая росла вместе с летящим сюда железным скрежетом. Если Цветков не сорвется сейчас вниз, то тогда летящее на него с грохотом железо неминуемо раздавит его. И в голове Цветкова завертелось: он угодил в западню, специально подстроенную для него. И все то, что произошло с ним сегодня, — чей-то жестокий спектакль.

И все же он чувствовал какую-то недосказанность сюжета.

Ах да! Его дочь завтра вечером будет ждать его на перроне вокзала. Будет стоять у края платформы, с надеждой заглядывая в лицо каждому проходящему мимо мужчине до тех пор, пока не поймет, что отец ее обманул. И тогда она подумает, что эта жизнь ей больше не нужна, поскольку сама она никому в этой жизни не нужна. Подумает и совершит какую-нибудь страшную, непоправимую ошибку. И он, ее отец, не сможет, прежде чем она решится на это, закричать ей: «Не смей, ты мне нужна!»

И когда он это подумал, когда представил себе дочь, совершающую что-то страшное и непоправимое, все, что прежде было ему дорого в его жизни, что он ждал от жизни, на что надеялся, стало вдруг ничтожным в сравнении с тем чувством, которое он испытывал сейчас. Если б у него была сейчас возможность заплатить за жизнь дочери своей жизнью, он сделал бы это, не задумываясь. И стал счастливым. Пусть даже на один, последний миг своей жизни.

И это чувство, которое он испытывал сейчас, этот его порыв заплатить за жизнь дочери своей жизнью — все это вдруг вспыхнуло в Цветкове и запылало больно и радостно. И все существо Цветкова вдруг превратилось в этот крик: «Не смей, ты мне нужна!»

И едва превратилось, Цветков почувствовал, как чьи-то сильные руки схватили его за щиколотки и потянули вниз. Цветков посмотрел себе под ноги и увидел того, кто пытался вытянуть его из проема назад, по сути, спасти от неминуемой смерти.

Это был тот самый человек, имя которого он все время пытался вспомнить. Тот стоял на ступеньке, привалившись грудью к лестнице и вцепившись Цветкову в ноги. Через плечо у него был перекинут ремешок портфеля, оставленного Цветковым внизу, и пиджаки Цветкова были на нем, а из-под них торчала замшевая куртка Цветкова. И конечно же, «Ролекс» был у него на запястье, а в карманах — ракушка, запонка, рогатка с алюминиевыми пульками, бутылка из-под малиновой настойки... Цветков понял, что все то, что он оставил внизу, все время следовало за ним. И вот когда он собрался навсегда избавиться от всего этого, оно насмерть схватило его, чтобы, может, и спасти от неминуемой смерти (железный грохот и свет были уже совсем близко), но не отпустить его отсюда. И вот еще что: Цветков наконец узнал этого человека — именно он взирал на Цветкова по утрам из зеркала.

Спасать свою жизнь было поздно. К тому же теперь Цветков боялся в жизни лишь одного: не успеть крикнуть своей дочери «Ты мне нужна!».

Руки Цветкова вдруг напряглись так, что жилы на них взбухли и посинели. И Цветков, опаленный изнутри вдруг открывшейся в нем, как рана, жалостью, вырвался из цепких ладоней прежнего Цветкова. Вырвался и выскочил из проема навстречу летящему на него свету — тому самому, нестерпимому.

Голый Ципкин развалился на диване, играя ухмылкой на тонких губах. Лежал, отбросив одеяло в сторону, и наблюдал за худощавой, молочно-белой девицей, абсолютно голой, стоящей у окна с сигаретой в зубах. Девица что-то разглядывала за окном во дворе. Ципкин тоже был с сигаретой в зубах, и это было ему в диковинку. Буквально на днях его соблазнил пряный дым сигареты этой девицы. Ципкин попробовал дым на вкус и решил курить, правда, не взатяжку сигареты этой девицы.

— Как там твои презервативы, Ципкин? Подписал контракт с «Треугольником»? — спросила девица, не оборачиваясь и все так же высматривая что-то во дворе.

— С «Красным треугольником», милка моя. Изделие номер четыре — многоразовые презервативы «Яма». Неплохо звучит, а? Теперь у каждого порядочного мужчины будет в кармане моя «Яма» — гениальное полотно, правда, уменьшенное до размеров массового потребления. Вот так и приходит к художнику слава! — Ципкин делано захохотал, потом закашлялся — проглотил кусачий сигаретный дым. — Жаль, что твой Цветков не знает об этом. Узнал бы, непременно написал бы в какой-нибудь газетенке что-нибудь похабное про меня. Из зависти, конечно. А по мне — хоть похабное, лишь бы обо мне.

Ципкин оторвался от созерцания голой девицы у окна и, уставившись в потолок, занялся математическим перемножением предполагаемого числа изготовленных «Красным треугольником» презервативов на стоимость одного такого изделия и на свой процент от стоимости. И пока рассчитывал, без остановки ухмылялся.

— Знаешь, Ципкин, я сегодня пойду к нему.

— Ты же на прошлой неделе была? Зачем он тебе? Он все равно тебя не узнает.

— Но мне кажется, что я ему нужна. Вернее, была бы нужна, если бы он...

— Не был овощем? Ему и без тебя хорошо.

— Скажи, Ципкин, ты действительно нес его на себе под землей три километра?

— Может, и три километра, а может, и сто метров. Точно не скажу. Когда его шарахнуло, я чуть с ума не сошел, глядя, как он трясется, словно на электрическом стуле. Едва его тогда от оголенного провода оторвал. Ну и потащил. Куда было деваться? Если б не вынес твоего Цветкова, не вызвал «скорую», его смерть на меня бы повесили. Телевизионщики-то знали, что мы под землей вдвоем остались. Хорошо, еще врачи

ментам подтвердили, что твоего папеньку током ударило. Эх, милка, чем дольше твой Цветков будет овощем, тем меньше у нас с тобой будет проблем. Возможно, он останется таким до смерти. А вот когда его не станет...

— Ты уберешься из этой квартиры. И я тоже, поскольку тут же объявятся какие-нибудь дальние родственники, чтобы захапать эту жилплощадь. Не хочу об этом говорить. Кстати, Ципкин, как ты тогда узнал, что я приезжаю в Питер?

— Я ж тебе говорил: он сам сообщил. Пока я его тащил, он все бредил, мол, дочь приезжает на Московский вокзал, и номер поезда называл. Ну и я как человек ответственный решил встретить дочь несчастного на вокзале и... утешить, — тут Ципкин громко и ожесточенно захохотал, поскольку девица после его последнего в этой фразе слова вдруг резко развернулась к нему, намереваясь изречь в его адрес что-то нелицеприятное, но так и не открыв рта, — пробиться сквозь этот хохот у нее не было никакой возможности, — вновь отвернулась к окну. — А перед тем, как сдать его санитарам, я позаимствовал у него ключи от квартиры. Надо же было тебе где-то остановиться! Отвести тебя к себе, сама понимаешь, я не мог, — на этот раз Ципкин лишь хохотнул.

— Ципкин, твой сын действительно даун? — спросила девица.

— Не вполне...

— Ты хоть деньги-то его матери даешь? — На этот вопрос Ципкин, плотно сжав губы, отказался отвечать. Девица решила сменить тему: — Ладно, не дуйся. Скажи, ты и в самом деле голым по улице ходил и еще кучу наложил у депутатского входа?

— Во-первых, не голым, а в перьях, во-вторых, не по улице, а по проспекту. И в-третьих, ту мою кучу Музей современных искусств сейчас выставляет как арт-объект, — заметил Ципкин. — Думаешь, было просто на это решиться? Но чего не сделаешь ради чистого искусства! — и Ципкин вновь захохотал.

Девица видела, что разговор Ципкину неприятен и этим своим смехом он защищает уязвленное самолюбие. И она вновь сменила тему.

— Скажи, как ты меня тогда на вокзале вычислил? Как понял, что я — это я?

— А чего тебя было вычислять, когда только ты одна на перроне и осталась... Я вот о чем думаю: вдруг кому-то придет в голову проверить твой паспорт? В больнице ты кем назвалась, просто родственницей? Может, и для остальных тебе лучше быть просто родственницей, а не дочерью. Насколько я знаю, Цветков никогда не был женат. Значит, и детей у него нет, официальных разумеется.

— А мне хочется быть его дочерью, Ципкин, мне хочется иметь отца. Как бы я желала, чтобы он волновался, не находил себе места, когда меня поздно вечером нет дома. И я была бы счастлива, если б он потом даже кричал на меня... Я ехала к нему как к успешному человеку, знающему в жизни все входы и выходы, хотела, чтобы он ввел меня в круг своих друзей. То есть, как я теперь понимаю, таких же циничных и хитрожопых, как ты, Ципкин. Ну и развратных, как водится. Последнее мне уже не могло навредить. Я готова была приноравливаться, подлаживаться и изображать все, что от меня требуется. И вот все, что я желала, произошло в моей жизни бесплатно и без участия отца. Как-то само собой произошло. Я теперь с твоей подачи — художник. У меня берут интервью, и я зарабатываю деньги своими, то есть твоими перформансами. И ведь никаких усилий от меня не требуется. Все само собой. Почему, Ципкин?

— Потому, милка моя, что только подлинное дается трудами и лишениями, а фальшивое, как, скажем, твоя теперешняя жизнь или мои творения, само идет в руки.

— То есть я фальшивая и ты фальшивый?

— Ты и сама это знаешь. И тебя это устраивает.

— Вполне... Знаешь, когда Цветков открывает глаза, в них такой свет, что смотреть невозможно.

— А ты не смотри. Представляешь, он вдруг придет в себя и заявит, что у него нет дочери, что ты самозванка. Что тогда делать будешь?

— Он не откажется. Я это чувствую. Он ведь и в бреду помнил о моем приезде.

— Ну да, помнил, — Ципкин вздохнул. — Конечно, сходи к нему, если так хочется. В конце концов, должна же ты проявлять дочернюю любовь. А то попросят нас из этой квартиры. А жить с тобой в съемной я не потяну даже со своими презервативами!

Свет лез из-под век Цветкова наружу, и Цветков больше не мог ему сопротивляться.

Цветков открыл глаза, но сознание не вернуло ему реальность. В Цветкове теперь жила одна только тревога о дочери, только мольба о ней, только желание отдать свою жизнь за ее жизнь, если, конечно, ему посчастливится это. Он все еще должен был успеть встретить ее на вокзале.

Всякий раз теперь, когда Цветков открывал глаза, он кричал о том, что ему нужно на вокзал, иначе его дочь подумает, что он ее обманул. Однако этот крик звучал лишь внутри Цветкова. Язык не слушался Цветкова.

Цветков не понимал, что лежит в кровати, не знал, что от него к приборам на столе тянутся трубки, не видел, что возле него на стуле сидит девушка в белом халате, накинутом на плечи, которая, едва он открыл глаза, тут же дежурно улыбнулась. Над ее левой бровью был шрам, такой же был возле ее рта. Запястье девушки также пересекал тонкий нежно-розовый рубец.

Девушке вдруг показалось, что Цветков что-то говорит, и она склонилась над ним. Однако Цветков лишь мычал. Посидев еще немного возле Цветкова, девушка поднялась со стула и вышла из палаты в коридор.

Навстречу ей двигалась старуха санитарка.

— Как он? — настороженно спросила она девушку, поравнявшись с ней.

— Плачет, — ответила та.

— Сколько же у него слез внутри! — воскликнула санитарка и покачала головой. — Как ни зайду к нему, он все плачет. И глаза такие, что больно смотреть.

Девушка согласно кивнула, потом улыбнулась санитарке совсем по-детски и спросила:

— А он действительно журналист Цветков?

— А кто его знает. По документам Цветков. Спросить-то его самого об этом невозможно. Сами видите, что он такое... — произнесла санитарка.

Цветков смотрел в темноту, и слезы против воли катились по его щекам. Еще недавно он мог кому угодно доказать, что слезы мужчины — от расшатанных нервов, что они — лишь постыдная с точки зрения делового человека слабость. Теперь же, если бы вдруг обрел способность рассуждать, промолчал бы по этому поводу, прикусив себе язык.

Ничего не осталось в нынешнем Цветкове, кроме нестерпимого света, которым стала его непрестанная, как заевшая виниловая пластинка, мольба о дочери. Все выжгла в нем его последняя болезнь, которой он прежде не ведал, которая, как он всегда считал, только мешает человеку жить, правильно и прибыльно существовать на этой земле. Но как ни странно, только она одна теперь держала Цветкова на плаву, не позволяя ему и на пороге смерти отречься от чего-то в себе самого важного. Нынешний Цветков уже знал, по крайней мере, не смог бы не согласиться с тем утверждением, что только эта болезнь может отправить человека на смерть ради жизни другого человека. И что она всегда отнимает у человека жизнь только для того, чтобы вручить ему вечность.

И эту свою последнюю болезнь Цветков когда-то, усмехаясь, называл любовью.

Какой все же счастливчик Цветков!

Скоро он умрет — уберется отсюда на Луну или еще куда подальше, полный света, того самого, нестерпимого для глаз.

И за что ему от Спасителя такая милость?

Чем он заслужил свое спасительное сумасшествие?

Ведь никаких громких подвигов за ним не числится, даже благородных поступков в его биографии не отыскать. А вот лежит он сейчас в больнице, плачет и светится изнутри. И уже совсем скоро, весь — сплошной свет, полетит отсюда к свету, чтобы отныне только сиять нестерпимо своей любовью.

Такой счастливый конец даже Ципкину не повредил бы. Но боюсь, Ципкин свою яркую жизнь завершит с тьмой внутри и, значит, отправится после этого увлекательного спектакля прямиком во тьму, чтобы отныне быть лишь непроглядной тьмой. Почему? Потому что Ципкин лучше других знает, что человеку хорошо, а что плохо, что ему губительно, а что спасительно, знает и все равно продолжает ловить рыбку в мутной воде. Хотя, думаю, у Спасителя и на Ципкина хватит любви, и устроит Он Ципкину, например, автокатастрофу и усадит Ципкина в инвалидную коляску лет на тридцать — вплоть до самой ципкинской смерти. Ведь устроил же Он подобную штуку акционисту-колясочнику?! И как тот теперь ни хохочет, как ни прикидывается на людях счастливчиком и пофигистом, внутри у него каждый день болит, и слезы льются из него сами собой, когда никто из людей этого не видит, и в нем живет свет, тот самый, нестерпимый.

Ну, а дочь Цветкова, которая, может, вовсе не его дочь?

О ней можно не беспокоиться. Как сказал один афонский монах другому, стоящему на берегу и переживающему за моряков утлого суденышка, которое никак не могло пристать к берегу по причине лютого шторма: «Не плачь, брат. Все они уже спасены твоим любящим сердцем...»

Так примерно сказал и оказался прав.

Вера АГАРКОВА

* * *

так география моя меня ведет
вот я: чукотский патриот
сижу гляжу и жду баржу у океана
а дом мой одинокий старый дом
снегами занесен по крышу
но след мой свеж и невесом
и я на тридевять сторон
смотрю и слышу
как лед крошится в день весны
не больно бьется сердце
и как обманчиво легки
мои заснеженные сны
и всякий шаг что занесен
над картой детства

* * *

Голова моя развернулась и поплыла. Уши мои — как распластанные крыла — загребают вдоволь боли с неизбежной виной весла — бьющего в, ведущего за, тонущего в слезах.
Мне не хочется слушать — ворох мертворожденных слов шевелит мои волосы, голова пухнет от голосов, но значения ускользают, буковки выпадают за борт. Всё во мне подчиняется холодной зеленой воде, велению маяка. Всё — уложенное в пределы тела — за исключением языка.

* * *

Замедленное вдумчивое время
как латыша неспешный разговор
как к морю уходящие ступени
как вид во двор

Вера Агаркова родилась на Чукотке, жила в Донбассе. С 2014 года живет и работает в Санкт-Петербурге. По образованию — инженер-эколог и журналист. Работала в печатных СМИ и медицинском маркетинге. Пишет стихи, кинорецензии. Член Межрегионального союза писателей, сетевого литературного объединения «Стражи весны». Лауреат нескольких конкурсов литературного и журналистского мастерства, обладательница почетного знака «Золотое перо Донбасса». Автор поэтического сборника «Отшельник».

как долгий сон когда бежать не в силах когда туман и шевеленье вод
как мальчик и колодец у Феллини как Амаркорд
как край земли где маленький и старый
я вжат душой в диванный саркофаг
смотрю в экран и он глядит мигая
за кадром кадр чужую жизнь мою

* * *

Человечек Алексей подай ему и налей
дети его горят небо его горит а он знай себе говорит
хровь его одолеет — и мы с тобой околеем
голос его иссякнет — станем и мы плакать

выстроит он — голодранец, пройдоха, хам —
посреди города Вавилона новенький храм
будет молиться сразу добрым и злым богам
ибо добро и зло привычны его рукам

слово его будет звенеть ручьем
будет идти к нему всякий — крещен — не крещен —
руки подставят, головы сложат, спины согнут колесом
божьего человечка просящие ни о чем

Господа моего левая рукоять
что с него взять, чем его обязать, чем его обуять
ручки-ножки переломать
мать его перемать а он встал и пошел гулять
а за ним — лес и сыра земля рельсы и провода
всякие города всякие имена
всякие времена

* * *

У лошади в кобыльем животе
два жеребенка плавают в воде
они прядут задумчиво ушами
они глазеют круглыми глазами
на водный мир на бурный кровоток
на потолок очерченный пре—красно
и белый жеребенок станет красным
и черный будет — с огненным хвостом

* * *

Остаться. Не ходить. Не собирать манатки. Не слушать под окном движение времен. Не говорить, что сын, что дочери-солдатки, что скоро все умрем, потом, потом, потом.
Не забывать своих, не обрастать другими, не думать, что нашел, не помнить, что терял.
А просто сесть за стол, а просто выпить чаю.
А просто сесть за стол, а просто сесть за стол...
И каждый, кто ушел и кто вернулся позже, свои дома нашел, и каждый в дом вошел. И руки вымыл с мылом, и от земли могильной одежду отряхнул. И распечатал окна, и наточил ножи, и в зеркалах явился, и книги разложил.
И просто начал жить. И просто стал собою. И просто сел за стол. И выпил горечь лет.

* * *

Наши дети — щенки без имени без корней позабывшие запах родной норы потерявшие время и память и иже с ней погребенную косточку палочку для игры. Наши дети у нас научились жить: истерить в ночи говорить навзрыд не смотреть назад а смотреть в глаза. Не жалеть людей. А жалеть собак.

* * *

Из тем для разговоров с Богом
осталось одно кино
боль в чистом виде сжатая до
размеров экрана спрятанная на дно
включаем режим медитации
и смотрим во все глаза
не думаем не гадаем не пробуем объяснять
главное это время успей его разглядеть
осязаемое большое медленное как смерть

* * *

Серая проходная Фарфорового завода
блюдца и чашечки с орнаментом «Город-герой Ленинград»
пластмассовые солдатики из Донецка
у каждого советского пионера за пазухой несгораемый галстук
сабля морского пирата
игрушечный автомат

Роман СЕНЧИН

ПОМИНКИ
Фрагмент книги-очерка

Обломилась недосгнившая сердцевина столбика, в земле остался его низ — плотный, крепкий. Да, трухлявыми становятся именно те участки, что находятся у поверхности: земля там то сырая, то сухая, и дерево тоже то мокнет, то высыхает...

Скатываю верхнюю часть столбика в огород, встаю на колени и, как сапер в фильмах, начинаю осторожно (боюсь порезаться о возможное стекло) выгребать землю и рыжие куски трухи вокруг нижней части, которая сейчас действительно очень похожа на мину.

Лопатой орудовать тесно, а превращать ямку в котлован — лень. Мастерком бы, да опять же лень идти за ним.

Вернее, не лень это, а усталость. Надеюсь, усталость с непривычки к физической работе, а не приближающаяся немощь...

Скорее вытащить конец прежнего столбика, вставить новый, обложить камнями, прикопать землей, утрамбовать, прибить слеги правого и левого пролетов и пойти на рыбалку.

Баранина на ужин сварена; надо было пелядку почистить и выпотрошить, но это дело пяти минут... Порыбачу до захода солнца, а потом посижу, выпью, глядя в телик, стараясь ни о чем не думать. Может, похехекаю шуткам Харламова с Батрутдиновым и кто там еще есть...

А сейчас главное — достать этот низ. Глубоко я его загнал, наверняка был уверен, что на многие годы, но вот пролетело пять, может, шесть лет, и вот я снова на карачках выгребаю землю, вытягиваю камни и куски кирпича, ругаюсь, ворчу на себя тогдашнего, примерно сорокапятилетнего.

Интересно, что буду думать, вытаскивая остатки следующего столбика следующий я, спустя еще лет пять-шесть... Через шесть лет мне будет пятьдесят семь.

Время летит, и чем старше становишься, тем быстрее. (Кажется, об этом я уже думал сегодня, но ничего страшного — если мысли возвращаются, значит, они действительно важные, пускай лишь для того, к кому возвращаются, а для остальных будут смешны и банальны.) И жизнь отца кажется мне теперь такой молниеносной — он

Роман Сенчин родился в 1971 году в городе Кызыле. Окончил Литературный институт имени Горького. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Сибирские огни», «Наш современник», «Дружба народов», «Аврора», «Урал», «Огни Кузбасса», «День и ночь», еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия» и других изданиях. Автор двух десятков книг, в том числе «Ничего страшного», «Московские тени», «Елтышевы», «Зона затопления», «Дождь в Париже», «Нулевые», «Русская зима», «Остановка». Проза переведена на немецкий, английский, французский, финский, китайский языки. Лауреат премий «Эврика», «Ясная Поляна», «Большая книга», имени Александра Левитова, имени Валентина Катаева, премии Правительства Российской Федерации в области культуры. Живет в Санкт-Петербурге.

все готовился, собирался, настраивался, отвлекался на необходимое в данную минуту, в данный день, которые растягивались на месяцы и годы. А потом — бац! — и старость. (И об этом я тоже думал, но и это важно, и это нужно попытаться додумать.)

Я хорошо помню его с его примерно тридцати пяти лет и до смерти, до его семидесяти семи. И я видел, как он тратил себя — свои силы, энергию, время — не только на семью и зарабатывание денег для семьи, но и на всякие необязательные дела, на просьбы, увлечения.

И может быть, поэтому я не пошел в автошколу. Многие удивляются: как это не иметь водительских прав в наше время. А я не хочу. Автомобиль заберет у меня массу времени и сил... Я мало смотрю футбольных матчей и почти не смотрю хоккейные, а отец был увлечен этим, особенно в то время, когда трансляций было мало, когда турнирные таблицы чертили и заполняли от руки.

Он очень много читал. Я читаю куда меньше, и когда читаю, в голове стучит: а в это время ты мог бы писать свое.

Я не умею плавать, не умею кататься на коньках, не умею играть на гитаре, не умею подстригать, не умею выделывать кроличьи шкурки, я не умею находить перебитую проводку... Я мало что умею, почти ничем не увлекаюсь. И это хорошо. Чем больше умений, тем меньше времени и сил остается на то, для чего ты предназначен.

Что тут ложно скромничать: я — литератор. Хороший или нет, не имеет большого значения. Для меня не имеет. Может, мои вещи незаслуженно публикуют и издают. Мне-то на это плевать. Я пишу, отношу или отсылаю в редакции и издательства, и написанное когда гладко, когда нет, но в итоге публикуется и издается. Я получаю экземпляр журнала, книги и радуюсь. И пишу дальше. Мне нравится этим заниматься, нравится держать в руках пачки скрепленных между собой бумажных листов, на которых напечатано то, что я написал.

Если меня вышибут из того писательского ряда, в каком нахожусь, если перестанут печатать, я наверняка расстроюсь, но это вряд ли будет смертельным ударом. Две полки книжного шкафа забиты моими книгами и коллективными сборниками с моими рассказами. Мне есть что трогать, что листать; я смогу ими играть со своей будущей дочкой: строить домики, целые крепости, небоскребики, кровати для кукол. Я буду утешаться тем, что в будущих учебниках литературы меня, по крайней мере, упомянут, пусть через запятую, но все же.

Но сейчас я твердо стою на поляне современной литературы, я есть. Одни ругают меня и мое, другие хвалят; на встречах в библиотеках в разных городах — от Владивостока до Калининграда — обязательно подходят один, или два, или три человека, которые говорят, что мои книги им очень важны, скажут спасибо за то, что я есть.

Моему отцу не говорили и не скажут уже. Его словно бы не было. В литературе.

Впрочем (ужасное слово «впрочем», но оно то и дело лезет в голову; не «однако» же употреблять, а «но» уже осточертело)... Да, впрочем, отца ценили в писательском мирке Кызыла. Помню какое-то застолье у нас дома, и писатель Вячеслав Бузыкаев все повторяет про отца «самородок, самородок» и требует пить за это. А потом, спустя некоторое время, отец обнаружил в новой книге Бузыкаева, изданной в тувинском издательстве, куски своей рукописи, или мотивы. Ходил разбираться, вернулся пьяный и... не злой, а опустошенный, что ли, обескураженный... Мне было тогда лет четырнадцать, я мало что понимал...

«Урянхай», который не стал не только двухсотстраничной книгой, как книги Бузыкаева (а замах у отца был на эпопею), но и вовсе погиб, очень жалко. Точнее, отца жалко, что не завершил дело своей жизни. Не сказал однажды: все, это оконча-

тельный вариант. И не стал всерьез пробивать его в печать. Каждый отказ ранил его на много лет и заставлял переписывать, переписывать.

Да что там — само название в восьмидесятые вызывало возмущение. По распространенной тогда, но не доказанной наукой версии, слово «Урянхай» означало «Страна оборванцев». И как можно выпускать книгу о будущей советской Туве с таким названием?! Но в нулевые вышел роман тувинского писателя (забыл фамилию) «Урянхайцы», стал издаваться журнал на глянцевой бумаге «Урянхай», в котором, кстати сказать, было напечатано несколько моих рассказов...

В своих статейках о литературе я часто высказываюсь в том духе, что очень мало пишут о современности. Но ведь и книг о прошлом у нас мало. Вернее, о некоторых периодах, некоторых местах вроде Петербурга/Петрограда/Ленинграда/Петербурга пишут и пишут; еще биографии известных людей нынче в стойкой моде, а огромные исторические куски, огромные территории России — белые-пребелые пятна.

Что известно о Сибири из художественной литературы? Каторга, Гражданская война (о ней писали свои эпопеи Георгий Марков, Анатолий Иванов, Чмыхало, Черкасов и многие другие, даже Шукшин поучаствовал своими «Любавиными»). Что еще? Конечно, сталинские лагери, великие стройки социализма: ГЭС, БАМ, заводы. Ну и тогдашняя — 1960—1980-х — современность в книгах Распутина, Шукшина, Астафьева, Солнцева, еще нескольких десятков менее известных писателей.

А о том, как, каким образом Сибирь стала русской (именно русской, а не российской), почти ничего не писалось. И не пишется теперь.

Американцы свою литературу построили на покорении Дикого Запада, борьбе белых переселенцев с коварными индейцами, а нам, видимо, было нельзя поднимать тему покорения Сибири, сопротивления русским местных народов. Есть картина Сурикова «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», и этого достаточно. А так — параграф в учебнике истории, карта «Освоение Сибири и Дальнего Востока» со стрелочками походов Москвитина, Пояркова, Дежнёва, Хабарова, Атласова... А что творили Атласов, Хабаров, другие многие (но не все, стоит отметить) землепроходцы, об этом не упоминали. Это было для серьезных, непубличных историков. Для абсолютного большинства такой факт: остроги ставили, которые потом превратились в города. Прекрасные сибирские города: Тюмень, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Якутск, Чита...

И что творили местные с землепроходцами и переселенцами из-за Урала — не рассказывали тоже этому самому абсолютному большинству. Зачем, типа, ворошить прошлое, омрачать дружбу народов. Хорошо ведь живут русские и буряты, коряки и русские, русские и чукчи, якуты и русские, русские и хакасы... Как братья живут.

Недавно на горе Самохвал в Абакане поставили памятник князю Иренеку, герою хакасов, жившему в семнадцатом веке. Князь этот стал героем в том числе и потому, что несколько раз брал в осаду Красноярск, сжигал окрестные деревни, захватывал много пленных — русских крестьян, зачастую насильственно ссылаемых в Сибирь со времен Елизаветы.

И вот я часто стал задумываться именно об этих не оставшихся в истории русских людях, которыми пытались заселить Сибирь, Дальний Восток, восточное (для нас) побережье Америки.

Сотни, а может, тысячи — кто знает — пробирались туда раньше землепроходцев, а точнее, вооруженных отрядов. Те сотни принимались местными вполне дружелюбно, вливались в их мир. Но после крови, какую пролили землепроходцы, местные не стали щадить никого.

А из-за Урала лились и лились потоки русских мужиков и баб. По своей воле, а чаще по царской, по воле помещиков, которые получали из казны за ссылаемых немалые деньги. Что называется, осваивали те мужики и бабы новые территории, а их убивали, угоняли в полон местные князьки и царьки вроде Иренека, жгли их избенки, вытаптывали их кое-как возделанные поля...

В то время когда я был подростком, в кинотеатрах часто шли фильмы «про индейцев». В основном гэдээровские, но иногда западногерманские, а то и американские. «Золото Маккены», например.

Мы, советские пацаны, отлично знали, как выглядят апачи, гуроны, какая форма у американских солдат девятнадцатого века, кто такие трапперы, но ничего не слышали о тлинкитах/колошах, о том, что происходило почти тогда же на побережье Тихого океана севернее Сан-Франциско.

А ведь в восемнадцатом—девятнадцатом веках там жили сотни так называемых работных людей и русских колонистов. И в основном на их поселения, а не на воинские гарнизоны совершали набеги индейцы. Те самые тлинкиты. Снимали с баб, мужиков и детей скальпы, сжигали избы. В ответ русские войска совершали походы на индейцев, били по ним из корабельной артиллерии...

Какие звучные названия давали нашим поселениям в Америке. Ново-Архангельск, крепость Константина и Елены, Доброго Согласия, Якутат, Славороссия...

Кто там жил, кто жертвы тех стычек с индейцами? Помню, вычитал где-то про харьковского мещанина Александра Щербакова, про работников-финнов, которые погибли от рук тлинкитов... Где Харьков, где Финляндия и где Аляска... На дворе начало девятнадцатого века, планета наша огромна, расстояния громадны, и вот харьковчанин, финны оказываются на другой стороне Земли, пытаются обжиться, вжиться. Как и сотни других.

Да, про англичан, ирландцев, итальянцев, французов, испанцев, расселившихся по востоку и югу Америки, мы знаем много, про свое же не очень. А про то, что стало с поселенцами-колонистами в Русской Америке после ее продажи, — тем более.

Тут вот столбик сменить проблема, а каково это деревню поставить, землю под поля очистить, распахать, намастерить инструменты или доставить за сотни, а то и тысячи верст из тех мест, где их мастерят... И все это под угрозой набега местных племен, нападения шаек грабителей, разбойников, казаков, хунхузов. А то и войск других государств.

Жизнь первых (да и не только первых) русских поселенцев в Урянхайском крае, будущей Туве, наверняка была очень схожей с жизнью колонистов в Русской Америке. Единственное большое отличие, что Русская Америка на протяжении больше ста лет входила в состав Российской империи, а Урянхай/Тува до 1944-го был заграницей.

Хотя как посмотреть... В Интернете полно карт России разных времен. На одних, например «Российское государство во время правления Алексея Михайловича», территория Урянхая входит в это государство, а на других граница обозначена немного южнее Красноярска. То же и с картами империи времен Петра Первого, Екатерины Второй и так далее, так далее. Причем карты часто профессиональные, подробные, а не просто политико-географические схемки.

Не так давно вычитал, что еще в 1604 году, когда русские стали строить Томский острог, к ним пришли представители нескольких тувинских родов. Пожаловались на притеснения монгольских Алтын-ханов и попросились под защиту русского госуда-

ря. Ответ государя, а им был тогда Борис Годунов, мне найти не удалось; может, и не было никакого ответа — у Годунова в тот год было много проблем вблизи Москвы.

Еще вот пишут, что десятилетием позже между Томском и Кузнецком (теперь это Новокузнецк) кочевало племя кужугет, а в верховьях Оби — племя ооржак. Оба — известные теперь тувинские роды... Что Томск с Новокузнецком, что верховья Оби от нынешней Тувы далековаты, а главное — надо же, для того, чтоб кочевать, перевалить труднодоступные Саяны.

Откуда кужугет и ооржак взялись в тех местах? Вышли ли на время из Тувинской котловины или ушли в нее позже?..

Часть нынешней Тувы, северо-восточная, там, где находится озеро Тоджа, точно входила в состав Московского царства в середине семнадцатого века. Называлась эта местность Саянской землицей, тоджинцы платили в русскую казну ясак. На этом, кажется, влияние царства там и ограничивалось. Ну еще русские потихоньку строили заимки в укромных местах.

Заимка... Спасение для русского человека. Надоели господа, государство, начальники, даже семья, собрал вещи и ушел в тайгу. И поставил заимку. Хотя первую или одну из первых заимок, читал где-то, поставил царь Иван Грозный. Где-то в мещерских дебрях. А может, и не Иван Грозный...

Да, кусочек современной Тувы одно время входил в состав Московского царства, а большая часть находилась в Джунгарском ханстве.

Теперь джунгары малочисленны, распылены по разным странам, ассимилированы другими народами, а три с лишним века назад они создали крепкое и агрессивное государство. Бросались в завоевательные походы во все стороны света. Повоевали и с Московией (без пяти минут Российской империей). Вернее, Московия с ним повоевала.

Во время Северной войны (банально об этом упоминать, но куда денешься — история человечества состоит в основном из войн; когда их нет, то и история становится тусклой, скучной, наступают периоды безвременья, историкам не о чем рассказывать)... Во время Северной войны Петр Первый отправил на Восток две военные экспедиции. Одна почти вся погибла в Средней Азии, а вторая, тоже по большому счету потерпевшая неудачу (от пуль, стрел, болезней, голода две с половиной тысячи русских солдат — три четверти состава), тем не менее заложила две крепости, одна из которых потом превратится в огромный город Омск.

На другой год следующая экспедиция заложила крепость Семипалатинскую (будущий Семипалатинск, теперь переименованный казахами, кажется, в Семей), на следующий год еще юго-восточнее — Усть-Каменогорскую. Так, по сотне-другой километров, кладя когда сотни, а когда тысячи русских жизней, расширяли страну...

Но у этих экспедиций главной задачей было не расширение страны — Петру Первому рассказали, что есть такая река Дарья (Кончедарья — во глубине современного Китая), берега которой состоят не из простого песка, а золотого. Вот за золотом Петр и отправлял экспедиции.

С одной стороны, безумная идея, непонимание, какие огромные территории отделяют Тобольск, откуда отправлялись экспедиции, с другой... Ну ведь не просто прошли русские за сотню лет от Урала до Камчатки, а закрепились на этой территории, так что каких-то две с небольшим тысячи километров от Тобольска до этой самой Дарьи — пустяк. В верстах это еще меньше было...

Может, если бы рассказали Петру, что песочное золото лежит на берегах не Дарьи, а, скажем, Каа-Хема или Тес-Хема, он бы отправил экспедиции в нынешнюю Туву. И в районе Кызыла на двести лет раньше возникло бы русское поселение.

Хотя Петр косвенно был за присоединение территории Тувы к России.

У него была теория, что все сибирские реки, текущие на север, должны от самых истоков принадлежать России. Об этом он вроде бы говорил послам, отправляющимся в китайскую империю для обсуждения спорных вопросов: граница, торговля, заселение российскими подданными ничейных земель.

Петр Первый наставил послов и умер. Переговоры шли года три и закончились подписанием Кяхтинского договора, подписанного с нашей стороны от лица Петра Второго. Послы наши ослушались покойного императора: истоки многих сибирских рек, текущих на север, остались у китайцев. В том числе и истоки Енисея. Может, не упорствовали потому, что они-то, истоки, Бий-Хем и Каа-Хем, а после их слияния и сам Енисей, в Туве называющийся Улуг-Хемом, текут не на север, а на запад, и лишь после города Шагонара, неподалеку от административной границы с Красноярским краем, Енисей поворачивает строго на север. Примерно там и провели границу по Кяхтинскому договору.

Конечно, четкой границы, такой, какую я охранял во время службы, с КСП, забором из колючей проволоки, заставами с постоянным личным составом, делающим обход по два раза в день, в то время не существовало. И приграничных сел, а тем более городов, по крайней мере в Сибири, тоже. Первое приграничное поселение (или одно из первых) основали как раз те послы, что поехали договариваться с Китаем — Троицкосавск, нынешнюю Кяхту в Бурятии. А так — десятки и десятки верст пустующих земель с редкими кочевьями местных жителей. И эти версты постепенно заселяли русские люди, которых выталкивала европейская часть России, западные территории Сибири, где пригодной для хлебопашества земли стало не хватать. Ну и староверы шли. Шли и шли на восток и на юг...

В 1739 году возникло село Минусинское, в 1744-м в сорока километров от него деревенька Шушь (будущее Шушенское), первоначальное население которой составили четыре семьи, «пришедшие собою». В 1829-м в двадцати километрах южнее Шушенского стали строить поселение для ссыльных Ермаковское, в 1850-м под самыми Саянскими хребтами появилась деревня Григорьевка еще в тридцати пяти километрах южнее Ермаковского.

В 1862 году уже в самом сердце Саян, в плодородной долине реки Ус, были основаны два села — Нижне- и Верхне-Усинское. А через двадцать с небольшим лет Верхне-Усинское стало центром Усинского пограничного округа. Саянской Кяхтой, так сказать.

(Это я двигался примерно вдоль Усинской тропы, которая позже станет Усинским трактом — транспортной артерией (не побоюсь такого выражения) между Енисейской губернией и Урянхаем. А сколько строилось деревень, сел, станиц, караулов восточнее и западнее...)

В девяностые годы в Кызыле открыто завели разговоры о том, что раньше граница Тувы (название «Урянхайский край» там не любили, а тем более не вспоминали, что край этот был в составе империи Цин) и России проходила много севернее. Не так давно я осилил текст Кяхтинского договора (он есть в Интернете).

Конечно, сложно отыскать нынче горные хребты и вершины по названиям 1727 года. Но вот нечто знакомое: «Ергик». Это, видимо, нынешние Ергаки — природный парк, где лет пятнадцать назад построили симпатичные домики в альпийском стиле для туристов и где этих туристов иногда задирают медведи. Также Ергаки — это горный хребет, по которому и нынче проходит граница Красноярского края и Тувы.

Еще название — «Хонин дабага». «Дабага» — это, видимо, хребет или перевал то ли на монгольском, то ли на тюркском, а может, на маньчжурском (династия Цин ведь маньчжурская) или китайском. А «Хонин» — горы западнее Ергаков, под которыми

протекает речка Иджим. В начале двадцатого века на берегу более крупной реки, Ус, поставили дорожную станцию при Усинском тракте. Станцию назвали Иджим. А речка Иджим протекает от станции в нескольких километрах. Странно, конечно, хотя в Крыму вот есть речка Кача, а поселок Кача от речки тоже в стороне.

(Впрочем, на некоторых старых картах Иджим расположен на речке Иджиме и иногда назван Ижимом.)

В конце 1980-х нужда в дорожной станции Иджим отпала и людей расселили по соседним поселкам. Еще лет через десять следы Иджима поглотила тайга. Жалко — живописная была станция-деревенька. О ней я написал когда-то одноименный рассказ. Есть у меня и книга с тем же названием.

Следующее название в договоре — «Кем кемчик бом». Это, видимо, место слияния рек Хемчика и Енисея. Смешное вроде бы слово «бом» означает в переводе с тувинского — обрыв горного хребта над рекой. Впрочем, оно не только тувинское — употреблял его и родившийся и выросший на Алтае Василий Шукшин почти в том же значении... Возле Кызыла есть гора, нависающая над Енисеем, ее называют Бом.

Есть в договоре «Шабина дабага». Это за левым берегом Енисея и дальше к Алтаю горы.

После этой Шабины названий больше нет. Сначала это вызвало у меня удивление, а потом, поизучав материалы, историю, я увидел, что и общая граница Российской империи с тогдашним Китаем заканчивалась вблизи нынешней границы Тувы и Республики Алтай. Дальше на запад находилась Джунгария, и, например, Телецкое озеро, теперь туристическая жемчужина Сибири, будет за пределами России до шестидесятых годов девятнадцатого века, хотя Бийск, расположенный от озера в полутора сотне километров, вошел в состав России в начале восемнадцатого века...

К чему я эти названия привожу? К тому, видимо, что и сейчас все это труднодоступные места. На Ергаках я бывал, но на гору, где находится так называемый Висящий камень, не смог подняться: долго, круто, тяжело (а это еще не вершина хребта), видел снизу и перевал Хонин, был вблизи слияния Хемчика и Енисея — горы там высоченные, почти отвесные. И вот по этим местам лазали если не сами петровско-екатерининские вельможи, то все равно люди восемнадцатого века, без специальной обуви, снаряжения. Высчитывали, ставили некие «знаки разграничения».

Не знаю, как в Забайкалье и Прибайкалье, но здесь вблизи границ почти никто (или совсем никто) в то время не жил. Русские постепенно двигались на юг, к границе, а китайцы, монголы, тувинцы на север, кажется, нет.

Обломок медленно, враскачку, как корешок сгнившего зуба, вынут, яма подчищена, новый столбик вставлен, но еще не закреплен камнями и землей. Надо перекурить, передохнуть.

Вытираю руки о штанины, потом лицо майкой. Прохожусь чистым участком майки по стеклам очков. Но это мало помогает — от пота на них остаются бензиновые разводы.

Достаю из кармана треников сигареты, зажигалку. Закуриваю. Сажусь на тот столбик, что сгнил. Но сгнил-то снизу, а метра полтора вполне крепкие, даже и не успевшие почернеть. Надо будет попросить Костю нашинковать на чурочки, потом поколю на растопку. Просушенной сосной хорошо растапливать.

Вкусно пахнет вынутой из глубины землей, срубленной крапивой, какими-то цветочками. Ну и плюс к тому просто теплом пахнет, летом. Встречал в книжках: «пахло солнцем». Наверное, точно.

Солнце, правда, уже закатывается за бор, но, знаю, еще долго будет светло — мягкий свет летнего вечера...

Занятый борьбой со столбиком, долго не курил, и сейчас сигарета кажется вкусной, дым питательным; приятно затягиваться глубоко, до самого низа легких, до живота. И голова слегка кружится. Тоже приятно.

Мысли вроде бы отступили, и сразу, как только ощутил, что отступили, замечаю: смотрю на холмы, за которыми дорога в Туву, и снова думается о ней, о моей родине, так называемой малой родине, о тех, кто двигался к ней отсюда, из давно или не очень давно обжитых мест. Русскими людьми обжитых мест.

Наше Восточное южнее Минусинска, но севернее Шушенского, было основано как казенное поселение, и назначение его наверняка было в том, чтобы закрепить эти земли за подданными Российской империи. За ссыльными, которые, отбыв срок, скорее всего, не все захотят возвращаться в западные губернии, за теми, кто этих ссыльных охраняет, из которых тоже кто-то останется, приживется, даст потомство.

Читал, что браки с местными жительницами приветствовались, тем более хакасы без большого сопротивления приняли православие. А тогда главным была не кровь, а вероисповедание. Хм, Иван Грозный был потомком — есть такая версия — и Дмитрия Донского, и Мамая: сын или внук Мамая принял православие и стал князем в Литве.

Но это бог с ним — у князей и царей много причудливых переплетений. А вот что гнало и гнало людей с насиженных мест, например, сюда или в Урянхай, в Монголию, в Америку... Не ватаги так называемых землепроходцев, не купцов, староверов, разных сектантов, а простых русских крестьян.

Крестьяне очень тяжелы на подъем, но именно они в количественном отношении стали главной силой в освоении новых земель. Именно в освоении, а не покорении.

Наверно, справедливы утверждения ученых, что крестьян сгоняла со своих мест нехватка земли. Посаженное в начале девятнадцатого века одно зерно давало в среднем три-пять зерен урожая. После отмены крепостного права урожайность постепенно стала повышаться. Но земля оставалась в основном у помещиков, а крестьянам выделили по три-пять десятин на душу.

В перерасчете на сотки это огромное пространство. Вот у нас здесь двадцать две сотки, и люди удивляются, как много, какой простор. И сохранять в более-менее культурном состоянии удается, не считая двора, соток десять, а то и меньше. А там было триста с лишним соток на душу, если это три десятины.

Но ведь они включали и огород, и пашню, выпасы и покосы, какой-нибудь лесок для заготовки если не дров, то хотя бы хвороста (дрова или покупали, или воровали). Так что получается совсем немного, хотя площади огромные.

А душ в семьях, несмотря на детскую и прочую смертность, становилось все больше и больше. И вот старший, или младший, или какой-нибудь средний сын со своей женой и своими детьми собирался и двигался на восток.

Как это происходило?.. Передвижники оставили нам несколько жутких картин вроде «Смерти переселенца», но в литературе я историй переселения не встречал, лишь упоминания, без подробностей... Может быть, пропустил, а может, и не написал никто. Не было среди участников переселений своих летописцев и художников слова...

В 1880-х русские перевалили границу с империей Цин в районе Урянхая. Была основана деревня Туранская (будущий городок Туран). Как обтекаемо пишут в краеведческих статьях, «с разрешения генерал-губернатора Восточной Сибири и местных тувинских властей». Началась распашка земли.

Но ведь это нарушение Кяхтинского договора... И что это за «местные тувинские власти»? Да, у тувинцев (урянхов, сойотов — названий местных племен можно встре-

тить множество) была некоторая автономия, но разрешение на заселение территории империи Цин/Китая пришлыми вряд ли предусматривалось этой автономией.

Через год-другой рядом с Тураном появился Уюк, а там пошло-поехало. Бояровка, Медведевка, Атамановка, Знаменка (теперь Сарыг-Сеп), Бельбей, Сизим, Владимировка, Максимовка, Нижне-Подхребтинское, Верхне-Подхребтинское (ныне Бай-Хаак), в котором в 1922 году родилась моя бабушка Валентина Мартемьяновна.

Откуда и когда пришла в Урянхай ее семья, я не знаю и теперь уже наверняка не узнаю никогда. Есть обрывок истории... Вскоре после нашего переезда в Восточное мама вспомнила, что ее бабушка Катерина, жена Мартемьяна, рассказывала ей, что до того, как они перебрались в Урянхай/Туву, жили в «Востошном», где были два края — русский и татарский. Враждовали, обзывались, дрались...

Ну, если моя прабабушка родилась не в Туве/Урянхае, то я тувинский русский в третьем поколении. Хотя, хм, моя мама появилась на свет в Красноярском крае — во время войны бабушка с тогдашним мужем и отцом моей мамы, Павлом Червоненко, уехали из Тувы, работали продавцами в магазинах где-то на приисках или рудниках. Не совсем на севере, но севернее Красноярска... Сохранился мамин советский паспорт, надо будет посмотреть место рождения.

(Павла Червоненко я видел один раз — мне было уже лет четырнадцать, когда мама вдруг получила письмо от своего отца. Он сообщал, что хочет повидаться. Старый, скоро умирать... А мама его не видела со своих двенадцати или четырнадцати (бабушка и дедушка разошлись еще в пятидесятых). Приехал плотный, с лысым теменем и бельмом на глазу (из-за этого его и не взяли на фронт) старик. Прожил у нас несколько дней. (Бабушка с мужем, дедой Сеней, жила в то время в Минусинске.) Как-то собрались его знакомые — тоже старики, — долго сидели за накрытым столом, медленно пили водку, разговаривали, разговаривали о прошлом. Я слушал их истории, но ничего не запомнил. Ничего...)

Так или иначе, моя бабушка родилась и умерла в Урянхае/Туве. Она умела разговаривать по-тувински. К ней приходил тувинец с мясокомбината; завернутое в тряпки мясо у него было привязано к голеням, чтобы не обнаружили на вахте. В нашей летней кухне он эти свои свертки отвязывал, бабушка осматривала мясо, расплачивалась с ним. Сначала, когда был маленький, меня не стеснялись, а потом я подглядывал. И наверное, чтобы я не понимал, о чем они договариваются (скорее всего, какое и сколько принести в следующий раз), бабушка переходила на тувинский.

Однажды я спросил: «Баба, а откуда ты знаешь их язык?» Она, кажется, удивилась и объяснила: «Ну как же, мы ведь рядом с ними жили». Это я запомнил. И именно «рядом» — «мы рядом с ними», а не «они с нами» или «мы вместе с ними». Рядом...

Русских переселенцев в Урянхайском крае в начале прошлого века было несколько тысяч. Случались набеги на их деревни, горели избы, рыдали женщины над убитыми мужьями, да и женщин убивали, детей. В ответ переселенцы нападали на тувинские стойбища, отбивали пленников, угнанную скотину. (Во втором томе «Истории Тувы» написано, что тувинцев на эти набеги науськивали китайские феодалы. Может быть.)

Особенно часто такие стычки случались во время Гражданской войны.

Да и в ставшем формально независимым Урянхае тоже шла Гражданская война, не уступавшая в жестокости той, что была на Дону, на Севере, на Дальнем Востоке. И так называемой интервенции Урянхай не избежал, причем интервенции особого рода.

Вообще очень сложно разобраться в происходившем в Урянхае в 1912—1921 годах. Недаром, видимо, отец мой и взял этот период для своей книги. Исторический, политический детектив не в литературном, а в более широком смысле. Даже в самом

многолинейном романе можно показать судьбы пятидесяти-ста человек (в «Войне и мире», знаю, персонажей больше полутысячи, но в основном они эпизодические), а здесь, в реальной жизни, персонажами были десятки тысяч. И в реальной жизни нет эпизодических персонажей...

В 1911 году в Китае произошла революция, монархию сменила республика. Государство распалось на множество независимых или почти независимых территорий, которые Китай потом собирал до начала 1950-х, а если честно, то до сих пор не собрал.

Среди осколков империи были Урянхай и часть Монголии. Да, часть Монголии, которая называлась Внешней и которая теперь есть государство Монголия. Внутренняя Монголия (если начать разбираться, как появились две эти Монголии, голову можно сломать) тоже попыталась отделиться, но ее быстро вернули, а Внешняя скорее обратилась к России за поддержкой, и в конце 1912 года в Урге, будущем Улан-Баторе, было подписано соглашение. Минуя Китай, правительство которого Россия тогда не признавала (незаконное, типа, пришедшее в результате госпереворота), Монголия и Российская империя договорились о свободе передвижения, торговли, банковской деятельности. А на следующий год Россия подписала соглашение уже с Китаем, где признавалось, что Монголия лишь автономия при покровительстве Китая. Все три стороны закрепили это в новом Кяхтинском договоре 1915 года.

Но севернее Монголии находился Урянхай. По примеру монголов урянхайские нойоны (правители районов/кожуунов) попросили российской поддержки. (Вернее, часть нойонов. Это вспомнилось позже, в конце восьмидесятых, и дало повод утверждать, что протекторат России над будущей Тувой был установлен вопреки желанию большинства.)

Российские власти, кажется, не очень-то хотели принимать под свое покровительство эту спорную территорию. Тем более что нойоны подавали прошения в основном не вместе, а порознь, в разное время. Но прошения и просьбы шли и шли, становились настойчивей, отчаянней...

В последнее время я все чаще набираю в яндексе слова «Урянхай», «протекторат», «Усинский пограничный округ» — желание узнать о месте, где родился и вырос, становится сильней с годами... Недавно наткнулся на биографию Александра Христофоровича Чакирова.

Фамилию «Чакиров» я с раннего детства слышал от отца. Этот человек его явно восхищал и наверняка был одним из главных героев отцовского романа.

Родился Чакиров в 1877 году, оказывается, в Крыму, по национальности грек. После окончания военного училища в Москве отправлен на службу в Восточную Сибирь (термин «Дальний Восток» тогда почти не употреблялся). Участвовал в подавлении Боксерского восстания (это когда наши Пекин заняли), в Русско-японской войне. В 1907-м ушел в отставку из действующей армии в чине штабс-капитана и был назначен начальником Усинского пограничного округа. (Сложно понять, как это после отставки снова стал фактически военным; наверное, действующая армия и пограничная охрана различались.) Был инициатором переселения русских в Урянхай, строительства школы в Туране.

В 1913 году его сменил другой человек, но Чакиров не уехал в европейскую часть, в теплый родной Крым, а остался в Саянских горах, занимал должность «начальника по местным вопросам». Настаивал на принятии Урянхая под покровительство России. Кажется, снова был начальником пограничного округа, потому что «освобожден» от этой должности после Февральской революции.

Впрочем, Усинский пограничный округ упразднили весной 1914-го, после установления протектората; был образован Усинско-Урянхайский округ (кое-где встречает-

ся «край») с центром в строящемся Белоцарске, будущем Кызыле. Может быть, Чакиров и стал начальником именно этого нового округа/края.

Но так или иначе с весны 1917-го он, подполковник, но снова в отставке, как говорится, на общественной работе. Живет в Белоцарске, участвует в съездах, заседает в комитетах. Во время Гражданской войны командует отрядом самообороны усинских дружинников, воюет с красными, получает чин полковника.

В 1920-м Чакирова арестовали в Красноярске, отправили в Москву, где летом того же года он умер в Лефортовском госпитале. (Живя в Москве, я любил бывать в Лефортове, этом кусочке Петербурга, но построенном до привычного нам Петербурга, разглядывал дворцы, казармы, похожие на дворцы, госпиталь, тоже как дворец, первый госпиталь в России.)

Такая вот судьба, приблизительная и упрощенная, одного из тех, кто связывал Россию и Туву, а точнее, делал будущую Туву частью России.

Наверняка отец ничего не знал о жизни Чакирова после революции, когда пытался напечатать свой роман. А бдительные товарищи вполне могли заинтересоваться и раздуть дело: как это, советский человек в семидесятые сделал колчаковского полковника положительным героем, благородным человеком, подвижником.

Красные, белые, дружины самообороны... Одни семьдесят лет считались теми, кому мы всем обязаны, другие — врагами, о третьих вообще старались не вспоминать. Но у каждого человека, наверное, было свое представление о правде, о малой родине, о большой России... Застряли в памяти вычитанные в одном обращении очередного (пятого или шестого) съезда жителей Урянхая к Временному Сибирскому правительству (было такое в 1918-м) слова: «Просьба не оставить своими заботами пасынка Урянхая».

Поэтично и с болью. Боль, видимо, и породила эту самую поэтичность.

В статьях, очерках, документах десятки и десятки фамилий русских (российских) людей, в большей или меньшей степени влиявших на историю маленького, но для них родного, или ставшего родным, или некоторое время важного кусочка земли на нашей планете. Врачи, учителя, военные, инженеры... Конечно, в какой-нибудь много-многотомной истории России большинство из них не будут упомянуты, но они были, они влияли. Чакиров, Корн, Венкель, семья Сафьяновых, врач Высотский (Высоцкий), Африканов, Фунтиков, Шелкунов, Гринвальд, Турчанинов и так далее, так далее, так далее. Без каждого из них история наверняка бы пошла немного иначе. А может быть, и не немного. Может быть, случился бы тот самый эффект бабочки.

Еще с первых классов школы мне не давала покоя судьба казаков, служивших в Туве, точнее, Урянхайском крае. На экскурсиях, уроках истории родного края они представлялись как абсолютные злодеи...

Есть в местной хронологии очень значимое событие — Белоцарский бой. По сути, это название и сохранило в народной памяти, что Кызыл раньше был Белоцарском.

Бой этот произошел в конце августа 1919 года. В Урянхай, спасаясь от колчаковцев, пришла партизанская армия под командованием Кравченко и Щетинкина. Их фамилиями названы улицы во многих городах Южной Сибири, им установлены памятники. А вот их противникам... Фамилии противников до недавнего времени были известны только историкам, а так — колчаковцы, казаки, кулаки...

Согласно трактовке советского времени, в июле 1919-го красные партизаны заняли Белоцарск, выбив из него одних казаков-колчаковцев, а потом, полтора месяца спустя, дали переправиться другим казакам-колчаковцам на левый берег Енисея, где и находился сам городок, и разгромили их. Почти все казаки-колчаковцы погибли — были убиты или утонули. И после этого боя в Туве установилась советская власть.

Так нам, пионерам, рассказывали об этом событии; каждый август, в годовщину боя и, по совпадению, накануне начала учебного года, возле красивого памятника погибшим партизанам проходили торжественные линейки.

Когда советское время кончилось, появились публикации и научные исследования, документы, показывающие, что все было не совсем так. Далеко не так.

Да, действительно, партизанская армия заняла Белоцарск. Правда, армией этот отряд назвать сложно — это были остатки Степно-Баджейской партизанской республики, существовавшей во второй половине 1918-го — начале 1919-го в Енисейской губернии, за рекой Маной. (Мало кому эти ориентиры что-то скажут, так что, грубо, в ста километрах от Красноярска на юго-восток.)

Весной 1919 года белые собрали силы и начали наступление на эту республику, и партизанам, многим им сочувствующим, пришлось отправиться в поход без определенной цели. Вернее, цель была — спастись. (Отряд сопровождал три сотни подвод с женщинами и детьми, домашним скарбом.)

Таких походов-бегств было немало в ту Гражданскую. Ледовый поход генерала Корнилова, мобилизационный отряд Подтелкова и Кривошлыкова после восстания казаков, известный по «Тихому Дону», «железный поток» на Кубани, воспетый Серафимовичем, Сибирский ледовый поход, метание дивизии Унгерна по Монголии, когда, чтобы не замерзнуть в степи, унгерновцы заняли Ургу, выбив оттуда китайцев и перерезав евреев, чем восстановили государственность Монголии.

Почти через год, в декабре 1921-го, кочующий по той же Монголии многочисленный отряд генерала Бакича, имеющий огромный обоз с гражданскими и больными, решил перезимовать в Урянхае, который к тому времени стал Танну-Тувинской Народной Республикой, но был встречен там бывшими партизанами во главе с Сергеем Кочетовым и регулярными красными частями и разоружен за исключением Бакича и небольших групп, сумевших уйти в урянхайскую тайгу или обратно в Монголию.

Сопротивления отряд Бакича почти не оказал: не было патронов, да и сил воевать. Кочетов, ставший в Туве, пожалуй, самым известным нетувинцем (его имя носит центральная улица Кызыла), назвал пленных «усталыми русскими людьми»... Но это декабрь 1921-го, а Белоцарский бой случился в августе 1919-го. Тогда еще не очень устали...

Отряд Кравченко и Щетинкина заняли Белоцарск без боя: администрация и казаки просто ушли из города. (Да, без боя, если не считать стычки в Саянах. Но как не считать, если в ней погибли люди; Усинский тракт подходит к скале, с которой, по преданию, окруженные казаки прыгали в мелководный Ус и, конечно, разбивались насмерть.)

Преследовавший партизан отряд белых под командованием есаула Бологова переправился на левый берег Енисея, действительно был разбит. Правда, и красные понесли ощутимые потери (в советское время писали о трех десятках погибших, а потом заговорили о нескольких сотнях)... Кравченко вспоминал, что в ходе боя было взято в плен около трехсот белых. Но что с ними стало, куда их дели, мне выяснить не удалось...

И что самое важное — Белоцарский бой не привел к установлению в Урянхае советской власти. Буквально через несколько дней отряд Кравченко и Щетинкина двинулся вслед за белыми, на север, к Минусинску. А за красными — монгольские войска, оккупировавшие по пути Белоцарск.

Теперь белые после короткого боя сдали Минусинск, а красные в Минусинске стали готовиться к отражению монголов, но те дошли только до Верхне-Усинского и после переговоров вернулись в Урянхай.

До весны 1920-го одни территории будущей Тувы были оккупированы монгольскими войсками, другие — китайскими. А потом сюда вернулись Кравченко и Щетинкин во главе уже регулярной дивизии Красной армии...

Такая вот чехарда Гражданской войны. Причем на спорной территории и при участии граждан разных стран (в отряде Бологова, читал, было больше сотни чехов и словаков). Урянхай в то время считали своим и правительство Колчака, и полунезависимая Монголия, и оправлявшийся от революционных потрясений Китай. Ну и немалая часть урянхов/тувинцев пыталась создать свое независимое государство. И для китайцев, монголов, этой немалой части урянхов главными врагами стали русские переселенцы. Их надо было выдавить за Енисей, а еще лучше — за обозначенную старым Кяхтинским договором границу...

Года четыре назад мы встретились в Абакане с писателем и депутатом Госдумы, в то время в том числе и от Тувы, Сергеем Шаргуновым и поехали в Туву. Побывали в Туране у директора тамошнего музея Татьяны Верещагиной (одной из рода Сафьяновых, много сделавшего для Тувы), в селах Суш и Балгазын, городке Шагонаре.

Сергей разговаривал с местными жителями, его помощник снимал это на телефон для шаргуновской передачи «Двенадцать». В Балгазыне Сергею рассказали историю села. Что после набега монголов, которые сожгли деревню Максимовку, уцелевшие жители стали строить новую деревню, которая потом и получила название Балгазын.

«А в каком веке произошел набег?» — спросил Сергей.

«Да в каком... Сто лет назад как раз», — ответили местные, а у Сергея удивленно поднялись брови.

Потом он про это не раз писал и говорил: для Центральной России набеги монголов — это нечто из далекого прошлого, а для Сибири — какой-то век назад...

Как уцелела семья моей бабушки (прадед-то был во время Гражданской войны самого что ни на есть призывного возраста, да и какой призывной возраст в Гражданскую — воевали и старики, и дети), тем более подхребтинские села поддерживали большевиков и красных партизан... А может, как раз это спасло прадеда от репрессий, которые в формально независимой Туве не уступали сталинским. Впрочем, и красных те репрессии в Туве косили обильно. Как и с СССР, в Монгольской Народной Республике, в Туве расстреляли почти всех старых революционеров, занимавших высокие посты в партии и государственном аппарате, ну и простых тоже прочищали, прочищали, прочищали...

Не узнать уже, видимо, когда семья прадеда перебралась из села в Кызыле, когда построили ту двухкомнатную засыпушку недалеко от кожзавода. Никто не назовет имена неизвестных мне, но родных людей на групповом снимке примерно 1956—1957 годов (маме там лет четырнадцать). В центре прадед и прабабушка на стульях или табуретках, а вокруг них дети, внуки, даже правнуки, мужья и жены их детей...

Снова, чувствую, растекаюсь. Начал было думать о казаках в Урянхае и сбился на эпизоды Гражданской войны, стали вспоминаться вычитанные факты, даты. И это все, ясное дело, упрощенно. Услышь меня какой-нибудь историк, распечет за вульгаризм и неточности.

А казаки... Хм, на таком крошечном клочке земли (где, впрочем, уместились бы четыре Швейцарии, как любили сравнивать в моем детстве) действовали казаки двух войск — Забайкальского и Сибирского. И еще казаки отдельного Енисейского дивизиона, который часто называют отдельным войском.

После установления протектората в Урянхай прислали то ли сотню, то ли полусотню забайкальских казаков. (Сотня — это не сто человек, а больше — я до сих пор не знаю почему.) Вдоль границы были устроены караулы, в которых постоянно находилось от пяти до десяти казаков. Что это за караулы, как они были устроены? Я служил в погранвойсках в Карелии, из двух лет почти полтора — на заставе. Жили мы на втором этаже двухэтажного здания с котельной в подвале. Когда температура падала ниже минус десяти, и два котла не могли нагреть комнаты-кубрики (отчего их называли моряцким словом «кубрики»?).

Такие похолодания случались редко, а как были оборудованы караулы в Урянхае, где зимой почти всегда под минус тридцать и ниже, а летом столько же со знаком плюс, к тому же столько гнуса, что бывает трудно дышать. А если рядом нет воды, сводит с ума треск саранчи, кожа лопается от сухости воздуха. И пейзажи, конечно, для русского человека, пусть и сибиряка, в Туве гнетущие: холмистая степь, кривые низкорослые лиственницы на тех пятачках, где хотя бы на два-три часа задерживается тень. А остальное под палящим солнцем. Солнце и зимой, но ослепительно-ледяное.

Может быть, в каких-то уцелевших документах есть описание того, как оборудовали караулы, в которых жили месяцами пять-десять русских мужиков, наверняка без знания местного языка, без женщин. Может быть, где-то в литературе описано, но я не встречал.

С другой стороны, в Забайкалье пейзажи не особо живей, а то и унылей, как-то с местными казаки наверняка общались, да и с женщинами, как говорится, мутили, скорее всего. Не исключено, что эти казаки (все или часть) вообще были бурятами. (Это в последние десятилетия нас приучили воспринимать казаков как русоволосых, истово православных, но на Дону были казаки-калмыки, в Забайкалье казаки-буряты, и те и другие сохраняли буддизм; на Кубани есть казаки-негры.)

В марте 1918-го командир сотни (или полусотни) с запоминающейся для людей моего и старших поколений фамилией Магомаев увел казаков в сторону Иркутска. Оставил границу открытой. Правда, казаков буквально выдавили, и в первую очередь русские переселенцы, которые в то время были чуть ли не поголовно за революцию.

Лишь спустя полгода, осенью 1918-го, в Урянхай для охраны границы прибыла сотня уже Сибирского казачьего войска. Это были молодые парни, призванные на службу в последние два года, уроженцы Павлодарского уезда (территория которого теперь в Казахстане). Через три месяца сотню должны были сменить, но не сменили — стало не до этого — и почти половина казаков-павлодарцев погибла в стычках с китайцами и монголами, со своими единоплеменниками. А большинство остальных — немного позже, когда остатки сотни с разбитым отрядом Бологова отступила в Минусинск, в оттуда — на восток. Заодно с покатившейся армией адмирала Колчака. Может, кто-то из павлодарцев решил пробираться в обратном направлении, к дому... В одной статье встретил такие слова: «О дальнейшей судьбе сотни данных пока нет».

Правда, я нашел сведения, кажется, о ее командире, подъесауле Распопине. Осенью 1920 года его приговорили в Омске за службу в Белой армии к заключению «в концлагере». На какой срок, в «Книге памяти Омской области» не говорится, и о дальнейшей судьбе тоже. Не исключено, что это другой подъесаул Распопин, однофамилец того, кто на протяжении нескольких месяцев командовал в Урянхае вооруженными силами — своя сотня, около трехсот дружинников, несколько солдат Усинского гарнизона, — пытавшегося остановить китайцев, монголов, защитить русских переселенцев от разбушевавшихся урянхов, а урянхов от мести переселенцев...

Распопин выступал на митингах, издавал приказы. В общем, влиял, а иногда и определял политическую жизнь края. А потом сгинул.

О судьбе есаула Бологова известно больше. Родился в Иркутской губернии, служил в Енисейском казачьем дивизионе, один из тех, кто охранял границу в Урянхае до революции и в первые месяцы 1918-го. Потом воевал с красными на восточном берегу Байкала, после этого был послан обратно в Урянхай. Участвовал в Сибирском ледовом походе. В 1922-м оказался в Шанхае. Вернее, около года казакам не давали сойти на берег, и в конце концов они захватили карантинную станцию... Возглавлял в Китае Казачий союз. В 1949 году, перед захватом Шанхая коммунистическими войсками, Бологов организовал эвакуацию русских эмигрантов на Филиппины. Был руководителем русской колонии. В 1953-м переехал в Сан-Франциско. Умер в 1976-м...

Вот такая биография. Вернее, как говорили раньше, основные вехи. Вспоминал ли Бологов Григорий Кириллович тот двучастный Белоцарский бой, когда в первой части его отряд легко завладел городком, а во второй был опрокинут в ледяной Енисей?.. Наверняка вспоминал, ведь в том бою его дважды ранили. А может, заслонили другие бои, другие трагедии, испытания. Ледовый поход, например, десятки боев на Дальнем Востоке, год на маленьком судне в шанхайском порту, жизнь в филиппинских джунглях...

Сколько русских людей полегло раньше срока в землю, сколько их лежит в ней без могильных холмиков... Мы знаем, где похоронены погибшие в Белоцарском бою красные, а где похоронены белые? Может, и не похоронены, а сброшены были в Енисей на корм налимам... А сколько покинули родину. Распылились по свету. Париж, Шанхай, Канада, Аргентина, Филиппины... Сколько полезных умов и рук лишилась и лишается Россия. И все не может обрести достойную себя силу.

Михаил ГУНДАРИН

СЕНТЯБРЬ В ПАРКЕ

Розовое, как небо,
небо
падает в пруд.
Передает привет,
но не хочу привета.
Я видел: они уходят,
я знал, что они уйдут,
но, несмотря на все,
думал:
останься, лето.

Спрятать в траве увядшей
предпоследние дни.
Встать, как тяжелый столб,
обрастая корою,
где за площадкой детской,
в теплой еще тени
человек или куст
шевелит бородою.

Я скажу ему молча:
человек или куст,
смерти не отпугнет
крашеная пластмасса.
Был я когда-то полон,
после сделался пуст.
Мог перезимовать,
да не скопил запаса.

* * *

О, сентябрьский воздух из толстых жил
утомленного города!
Вот стемнело.
Завтра праздник,
и нужно набраться сил.

Михаил Вячеславович Гундарин родился в 1968 году. Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Преподает в вузах, кандидат философских наук, доцент. Стихи пишет с детства. Выпустил восемь поэтических сборников, последний по времени — «Простые слова» (2020). Живет в Москве.

Выпускают кровь
для такого дела —
на кленовые листья, обложки книг,
плавники цветастых автомобилей.
Теплый воздух.
Его бесконечный крик
слишком тих
для спящих —
не трать усилий.

БАШМАЧКИН ОСЕНЬЮ

Гуси толстоперые
По небу спешат.
Легче станет скоро им,
А моя душа
Перевоплощается
Много раз подряд,
Но не прекращается
Ежедневный ад.

То она отмычкою
Тычется в замок,
То плененной птичкою
Пачкает силок.
Мелким был чиновником,
Вошью при вещах,
Так и то половником
Выловили в щах...

* * *

В провинции холодно.
Где бы достать кастет!
Столбы с проводами — словно коленки, врозь.
Ты говоришь: сюда не дойти мечте,
Зато уж если дойдет, то прожжет насквозь.

Я слушал дыханье осени.
Крепкий чай
Дышал так же медленно.
Жизнь почти прожита.
Нет электричества — невелика печаль.
Куда не доходит почта, дойдет мечта!

* * *

Города уголки
Тают как угольки
Не убирай руки

Которую неспроста
Держит гранит моста
Возле сонного рта

Как проступит ожог
Читай его между строк
Там имена Реки

Вызнав тот самый час
Не открывая глаз
Кружится немота

Сможешь произнести
Высохшее почти
Удержаться в горсти

Не пролиться в огонь —
Не убирай ладонь
Не уступай пути!

УКРАВШИЙ СЛОВО

Наконец-то я выманил, уломал
это слово из племени диких слов.
Не уверовал вовсе — уворовал
и опять воровать готов.

(А вокруг знакомый насквозь пейзаж —
нескончаемый трепет сырых равнин.
Нашу темную ночь хоть на пряник мажь,
все равно получится гуталин.)

Вот стою, добычу свою зажав,
как жар-птицу, прячу в пустой мешок...
Безнадега трогает за рукав,
зряшной жизни выходит срок.

В ГОСПИТАЛЕ

Свет находит точку
в моем мозгу
Тихо прикасается огненной иглой
Я уже иду по его мосту
Новобранцем, стриженным наголо.

Подо мною жарко горят поля
гнется-выгибается та доска
Пролетают, голову опаля,
Злые птицы от темени до виска.

Хорошо бы Бог
расхотел огня,
погасил его
хоть на полчаса...
А еще бы снайпер прозевал меня.
А еще бы штурм
тогда удался...

* * *

Один из арбузов
окажется сразу всем —
футбольным мячом,
поплавком и воздушным шаром.

Другой — великаньим глазом в лихой красе
(По самый хрусталик он залит немым кошмаром).
А третий покатится прочь, голова моя
пристроится рядышком,
будто с луной копейка.
Ты любишь смотреть в окно,
загибать края,
московскою полночью нас различить сумей-ка!

РАДИО «ШАНСОН»

Почитай мне Фаберже
Тихо, не взатяг
Мы состарились уже
Я не помню как.
Вот тебе моя рука
Вот на небе Бог
От звонка и до звонка
Отмотавшим срок

Строгой юности-души
Каждый встречный друг
Наши финки хороши
Чтобы резать лук
Слезы на моем ноже
Темный лес внутри
Фаберже не Фаберже,
Плачь и говори

* * *

Ты помнишь, в пустом кинозале
Проектор туманно мерцал?
Холодную ночь разливали
По нашим печальным сердцам.
Не тьма, но отсутствие света,
Не боль, но печаль ни о чем,
Здесь, в кинотеатре «Комета»,
В паденье любой вовлечен.
Мы врежемся в землю на титрах!
А эти пятнадцать минут
Еще поучаствуем в играх —
Осколки потом соберут.

КОВБОЙСКАЯ ПЕСНЯ

Шел по дикой прерии дилижанс...
Из дворовой песни

Стежок за стежком
Стишок за стишком
Джо разминает ткань
Билл говорит отстань
Смерть приходит пешком.

Гора как гора
Пора так пора
Билл разрезан и сшит
Смерть опять не спешит
Джо на месте с утра

Сердца на сердца
Теперь до конца
Смерть продолжает путь
Джо говорит забудь
Билл не сменит лица

* * *

Артериальную намажь
Погуще на края заката,
Сказал мой ангел,
в карандаш
преобразив сустав крылатый.
Он график, я акварелист,
Мы вместе сотворим такое —
Как иероглифами лист,
Все небо знаками покроем!

* * *

Ландшафт Москвы пестрит помарками,
и между прочими сюда
легла 16-я Парковая,
как межевая борозда.
Налево просто территория —
больница, школа, чайхана.
Зато направо — глушь, которая
Москве и не подчинена.
Куда пойду холодным вечером,
какие вспыхнут огоньки
на карте местности, помеченной
зигзагами моей тоски?

* * *

Небосвод, окольцованный этажами,
темен, пуст, как проселочная дорога.
Говорить об этом — играть с ножами
скорострельных молний.
Смотри, как много
вспышек электросварки на крыше мира!
Там не место птицам и нам с тобою.
Разве только ангела ли, зефира
промелькнет перо, но они — другое.
Человек в спецовке — той же породы,
Этот мир ему нестерпимо черен.
Он возьмет волшебные электроды
и насыплет сверху горящих зерен.

НОЧНАЯ БАЛЛАДА

Праздничной музыкой полон чужой костер.
Дайте погреться, ночь в лесу холодна!
Старая запись поставлена на повтор.
Появляется голос: поет война.

Зря я тогда отправился в зимний лес,
Вечность потратил, да и себя не спас,
А как оглянешься — все мы сегодня здесь,
Молча танцуем, не поднимая глаз.

УЧИТЕЛЬСКАЯ БАЛЛАДА

Я географ и биолог,
труд мой темен, жребий долог.
Я сижу один
в тесных стенах съемной хаты.
Многолетний арендатор,
никому не сын.
Вот верчу я кубик-рубик,
и меня конкретно рубит,
то есть спать хочу.
Сумрак телевизионный,
день осенний, быт казенный.
Тополь жжет свечу
над моим погибшим миром.
Я дышу ТВ-эфиром,
чем еще дышать?..
Как-то даже и не пьется.
Век стоит, а день несется.
То ли правда спать.
А во сне свои приколы —
распахнулись двери школы,
ломятся из них
зомби, звери, вурдалаки,
круто сваренные раки.
Впереди Жених.

У него облезлый череп,
пара помидорок черри —
вот его глаза.
Что он знает, что он хочет,
над какой фигней хохочет
весь базар-вокзал?
А ведь было (правда, было?),
я ходил (и жизнь водила)
по другим путям.
Завела потом в хрущевку,
словно бабочку в сгущенку.
Ешь ты это сам!
Снова выпадает решка,
жизнь проиграна, как пешка —
за бедой беда.
Даже то, как мы уснули —
он в могиле, я на стуле —
повод хоть куда.
Стал кровавым оригами
переполненный врагами
санаторий грез.
Просыпайся, поднимайся,
на работу собирайся,
умерший всерьез.

* * *

Снег на улицах нашей любви,
Позавчерашний снег,
Вспомни, потом картинку порви,
Как завалявшийся чек.

О, эта покупка была ценна,
Так была дорога,
Как покинутая страна,
Сданная в скупку серьга!..

Елена ЧЕРНИКОВА

ПАРТИТА СОЛО

Рассказ

...В ноябре 1982-го Лёня с однокашниками прошел очередью всеобщего горевания в Колонный зал Дома Союзов, где стоял гроб с телом Л. И. Брежнева. Пошел Лёня из любопытства к тезке и видит: народ в полном составе явился на похороны, которых как бы не могло быть никогда. Брежнев правил с 1964-го по 1982-й, вошел в анекдоты, забронзовел, и в его *когда-нибудь* не верилось. От Тверского бульвара до Колонного зала, где рукой подать, шли четыре часа, люто промерзли, но зато впервые посетили передвижные общественные туалеты — вагончики на колесах. Правительственный ритуал — с изобильным черным крепом, сплошной охраной вдоль уличной процессии, с недосягаемыми родственниками, закутанными в антрацитовый траур, с караульными курсантами в невозможно гладких сапогах будто черного воска — увидел юный филолог впервые и, вдохнув густые запахи похоронной хвои, что-то узнал, но не понял. *Ароматизированная скорбь*, — подумал он задиристо ноябрьской ночью 1982-го. «Юношеский дилетантизм чувств, когда политическая палка-галка видится могучей фрондой», — написал он в следующем веке. А в памятном ноябре, переживая чужие похороны как личное событие, подумал он терпкое что-то, новое, не нашел точного слова и заснул.

Очнулся профессор в январе 2020-го: «...греза правоты большинства, выраженная в энергической любви к парламентаризму, проклевывается внезапно, туктуктукает в скорлупу, ломает ее вместе с Фабержевым яйцом империи, смотрит озадаченно, как вытекает желток крови», — фразистая бессмыслица пришла ему во сне синими буквами по золотой бумаге. С востока микрочингисханом наступал вирус. Профессор прикинул: в Москве примут эстафету к марту. Время на библиотеки еще есть.

Он открыл глаза и записал претенциозный *желток крови* на телефон. Усмехнулся: все пишу, жду свою «Чакону», все надеюсь... Однажды в позднем детстве, ежедневно

Елена Черникова — автор многочисленных книг прозы и учебных пособий. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Москва», «Октябрь», «Знамя», «Сура», «Дружба народов», «Шахматное обозрение», «Южное сияние» (Одесса), «Новый Свет» (Торонто) и др. Составитель-редактор поэтических сборников «Поэты настоящего времени» (коллективный), «Темные Плеяды» (Александр Вишневой, Симферополь). Член Экспертного совета Международного конкурса «Слово года» (с 2012). Руководитель проекта «Литературный клуб Елены Черниковой» в Библиоглобусе, Москва (с 2011). Руководит отделом прозы на Международном литературном портале Textura (с 2018). Произведения Е. Черниковой переведены на английский, голландский, китайский, шведский, болгарский, португальский, испанский, итальянский, греческий, французский и другие языки. Родилась в Воронеже. С 1977 года живет в Москве. В журнале «Нева» публикуется впервые.

сочиняя мутные, скуловоротно вторичные, нудные любовные стихи, он успел во сне поймать хорошую строку и донес-таки до бумаги, но вспомнить стих полностью не смог: утром музыка застряла на связках, не войдя в слова. От мучительной фрустрации связок заболела голова, замутило, а когда дурнота ушла, он, в пубертатном маразме максимализма, раз и навсегда запретил себе надеяться на подарки темноты, щели времени, бесплатные озарения, проколы сути, соло Бога для него единственного, прочая, прочая.

«...Или словцо! Придет — а смотреть противно, даже если правда...» Прокатал шершавое словцо по небу: *обезнароживание* через овцинацию. Себе Леонид Ильич, желая здравствовать, в разгул вируса 2021-го выправил медотвод от любых прививок, вследствие чего был отодвинут от кафедры. Зрелая фронда — риск, но тут уж извините: в нашем сословии, обронила его будущая теща, вручая ему свою дочь в 1985-м, страх не принят.

Сладострастно швырнув *обезнароживание* кафедральным овечкам в коллективную морду и получив ближний хук, он поднялся из нокаута и на прощание врезал определением: «...окончательное и глобальное низведение понятий „народ“ и „народы“ до атомарного уровня „электорат (избиратель)“, „налогоплательщик (инструмент поддержки бюджета)“, „потребитель (покупатель товаров и услуг, постоянно находящийся в обусловленном потребностном состоянии)“ через высокоорганизованную процедуру запугивания с применением медицинских терминов и фельдшерских манипуляций. Пример употребления: „Больше не будет народа, чтобы вывести его из Египта: возлюбили фараона после массовой овцинации, пали ниц, умоляя стреножить всех и каждого, дабы не выбежали в пустыню, как неразумные предки, вожделевшие обетованной земли...“»

Уволили бесхитростно: по сокращению. И словно чеховский Гуров на ялтинской набережной, без обязательного сценарного *вдруг* — он попал в рай. «Чехов исключителен и велик, ибо жил *без убеждений,* спокойно говорил об их отсутствии и никого не ругал, а суровая девица Мария Павловна не могла вынести его свободы и густыми чернилами цензурировала письма, чтобы сделать брата интеллигентом в бородке». Эту слишком авторскую лекцию по основам Чехова профессору припомнили при подписании обходного листа, хотя времена уже прошли. Оказалось, на донышке кое-что еще было.

Чехов теперь приходил к профессору, как братья Оле-Лукойе по-русски, напоминал, что по-датски — О́оле-Ла́кэй, и не надо верить ночным сказкам. Освобожденный Чеховым профессор вволю спал. Над ним как подвесили зонтик первого брата, Гипноса, и — ни тебе дистантов Танатоса, ни формул исторической периодизации. Только мир и рай, краски, цвет и свет, струны, клавиши, строгая партита неба. Чехов руками Гипноса доверительно снимал пенсне, бородку, верную сестру Марию Павловну, верную жену Ольгу, верный Художественный театр и хохотал. Они с профессором хохотали в унисон, глядя в общее настенное зеркало.

Однажды утром профессор вспомнил свою поездку двадцатилетней давности в пижонский парк-отель, примерно в 2004-м. Он арендовал бассейн на одну персону и плавал. Вылез, крякнул и пошел в коттедж. Увидел в аллее пастуха: небритый мужик в серой фуфайке, положив небрежный кнут, медитативно курил на скамейке. За спиной пастуха на, простите, духмяном лугу паслись бараны, доставленные в парк-отельный *контактный зоопарк*. Профессор увидел свежих баранов еще вчера. Их привезли, выгрузили в загон. Бараны беспочвенно шатались, ничуть не страдая от новизны положения. А сегодня сами, без охраны, сгрудились в стадо, замерев, и профессору захотелось понять. Пастух докурил и пояснил:

— Бараны смертельно боятся свободы. Вчера тыкались в границы — хоть и плетеные, прозрачные, призрачные, но — кайф. А сегодня о-па! — луг: пространство, стенок нет — и страшно, будто в космос. Бараны мгновенно выбирают вожака и жмутся к нему.

— А вожак сразу-таки согласен возглавить?

— А у него нет выбора. Он знает свою судьбину.

Профессор как филолог, историк и гражданин удержал картинку на память: громадина майского луга, дисциплинированный мех — бараны кольцом и вожак, осведомленный о своей миссии.

...После увольнения его томили ежеутренне два восторга — счастье, укутавшее душу бархатом, и невыразимость: профессор конфузился сказать вслух, что с февраля 2020-го он счастлив; ведь он, со всеми, вырос на стройке счастья, обещанного а) всем и б) в будущем. Своего собственного не чтил и поначалу слушал тестя: личное-де счастье может полыхнуть коротким фейерверком на ночном пляже под южными звездами и так далее. Ничего интересного. Тропа магистрально вела от пляжа и студенческого стройотряда — в загс, уклад и роддом, у нее климакс, у тебя крематорий. Тесть плохо кончил.

В марте 2020-го профессорова греза, поводя неожиданно хрустальными плечами, плавно двинулась по пустой Москве: в городе карантин, можно бесконечно ходить и молчать. Мир замер на краю, рухнул, и *все будет по-другому.* Все. Конечно, хорошо бы составить список, что такое все, но греза вышла хороша: дефилирует весело, как топ-модель Клава Рубероид, которая одна позволяла себе улыбаться на подиуме. Закон высокой моды: чем роскошнее платье, тем строже и суровее лицо; никаких простецких улыбок. Дерзкая улыбка — либо у бедняков-идиотов, либо у реально богатых вплоть до августейших. Поп-певица Мадонна, работающая на ширнармассы, в интервью ответила на вопрос, *что для нее роскошь,* в сердцах: «Носить удобные несексуальные туфли!»

Новая роскошь – не думать, почему искусство не справилось. Профессор утром шел по Москве свободно, ночью танцевал на Красной площади — не оштрафовали ни разу. Он думал о своей главной книге восторженно: можно не дописывать! Вычитал в Интернете: «Все искусства — фото, видео, моно, стерео, кино, цирк, поэзия, донос, памфлет, шахматы, политика, ирония, скорбь, история, спорт, секс, шоу, криминалистика, флористика, танатология, бизнес, философия и даже метеорология — сказали свое слово. Разве что балет промолчал. Но не справились все...» И это правильный ответ на некорректный вопрос. Искусство, умей оно говорить, уж теперь открылось бы: не обещало я никому ничего. Никогда.

Профессор мыркал и гудел на безлюдных улицах, будто сочиняя стихи, как в раннем детстве; он освободился от узкой *народной* темы и стиля научного изложения: он запел изнутри, всей душой и — пережил (но перед женой извинился) воспарение. Над облаками. Ему приходилось молчать со всеми, чтобы не обидеть чувства верующих в вирус. Карантузники все горевали, прятались и спасались, как могли, но не могли. Профессор никому не говорил о своем тайном знании, упавшем на его голову в один день, поскольку об этом не принято говорить: «Вчера моя душа подумала о Боге, родившемся в облике человека. Как же Он решился на это. Как Он верил в творение. Нам и не снилось так верить в Него. Декарт верил, мыслил и существовал, когито в сумке носил, *актуальность и бесконечность* полагал синонимами. Осознанность — антоним веры».

Теперь на заре в голову его, омытую чистым сном, втекала прозрачной золотой рекой музыка: «На горах афонских стоит дуб мокрецкий, под тем дубом сидят тридесять старцев со старцем Пафнутием... Не приходи в сознание. Вывожу из осознанности, заговóр знаю — не пробить. Вывожу из осознанности, сúречь из неверия...»

Профессор прежде, до прихода свободы, не дослушивал свою музыку, приходилось бежать на работу, а в обезлюженные времена все притихло, все можно, с неба сдвинули бетон, и стало слышно. Он бегал по улицам, играя с Богом в прятки, и ни одна полицейская машина не остановилась, и никто не спросил, почему гражданин слишком широко гуляет. Профессор еще ребенком мечтал работать на Красной площади хоть кем-нибудь, хоть бруском в составе мостовой, а лучше незаметным историком в красном музее, вольно рыться в желтых бумагах и распаковывать почтенную истину своими руками в белоснежных перчатках. На первом курсе он прочитал, как положено, Карамзина и с *невыразимым ужасом* (выражение из постельной сцены между шевалье Шарлем д'Артаньяном и миледи) увидел, что Ивана Васильевича как *Грозного* придумал Карамзин, а в действительности *грозным* звали его дедушку. Профессор услышал насмешливый голос декана: «Господа школяры, зарубите на носу: Россия — страна с непредсказуемым прошлым!» Упомянутый Дюма тоже не сразу понял и по возвращении из путешествия по России сообщил парижанам: русские в шестнадцатом веке боялись царя Ивана Грозного, так сильнехонько боялись, что «прозвали его *Васильевичем*». Из чистого ужаса.

В оставленную ввиду вируса диссертацию свою о Государственной думе Российской империи первого созыва Леонид поначалу был влюблен страстно, драматургично, сюжеты-конфликты-все такое. Грезил наяву: на законодательной скамье сидят рядышком легковой извозчик и донской казак-журналист, а через ряд — один из лучших диагностов и хирургов России, статья которого о травматических эпидемиях в 1902-м была вырезана и сожжена. Почему?! Что за проблема с травматическими эпидемиями? А как попал в административную ссылку (1904—1905) армянин, дворянин, врач Христофор Иванович Багатуров? Какую нелегальную литературу хранил крестьянин Блыскош Иосиф Игнатьевич, низшего образования, рожденный в 1876 году? А как получил высшее образование и за что был избит «черной сотней» в октябре 1905-го и *потерял здоровье* крестьянин Саратовской губернии, преподаватель и журналист Сергей Иванович Бондарев 1872 года рождения, который тем не менее редактировал «Известия крестьянских депутатов», был членом редакции газеты «Мысль», поначалу внепартийный социалист, примкнул к трудовикам. В Думе выступал о закрытии газет, а в 1908-м получил год крепости по делу «Мысли». Как это все? А почему (вследствие думского опыта?) аристократ Набоков Владимир Дмитриевич, либеральнейший из русских либералов, закрыл собой Милюкова Павла Николаевича, своего политического оппонента, на съезде 1922-го в Берлине, и второй террорист, исправляя промах первого, выстрелил в спину снобу и отцу сноба, то есть один политик спас другого политика ценой своей жизни — ни секунды не размышляя, — как был устроен *этот* рефлекс в организме русского человека?

Профессор, все еще полный школьной памяти о единственно верном учении, мучительно сдирал напластования. Из обретаемой в архиве истории Первой думы выныривал он с полными карманами каменьев самоцветных, богач и царь. Засыпал, обмирая, как в горах, от восторга пред лаконичностью справки по депутату из Витебской губернии: «Брук Григорий Яковлевич... еврей, врач, городской раввин, публицист, бывший редактор „Витебской жизни", сионист. К.-д, выборжец». К утру симпатия перекатывалась на полную хлопот судьбину Алихана Букейханова, от Семипалатинской области, «из киргизских ханов, высшее сельскохозяйственное образование». Статистик. Публицист. Дальше детектив: «Подвергался репрессиям. Будучи освобожден из тюрьмы перед самыми выборами, Букейханов успел приехать только к роспуску Думы, отправился в Выборг, подписал воззвание и вновь явился в Петербург к процессу, чтобы опять сесть в тюрьму». Чего хотел-то, милый?

Сносив семь пар железных сапог и съев семь железных хлебов из 1906-го, счастливый, переполненный гордостью, эстетически перекормленный Леонид оказался в заколдованном лесу 2020-го: тот же народ, юридический *источник власти,* сидит и томится, одомашнивается, разводится с супругами, с коими вдруг/наконец познакомился; на помойку ходит в намордник. Не может *это* баранье народло выдвигать и делегировать. В параграфе «Актуальность» стало скучно писать, а ненасущную работу диссертационный совет не пропустит по формальным основаниям. А тут и выгнали; к счастью.

Прощально целовал он на ночь фолианты братьев Гранат: «Лица, подписавшиеся **до 1914 г.,** получат том с географическими картами **безплатно,** оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки. Цена тома — 3 руб., в переплете — 3 р. 50 коп. По примеру Encyclopaedia Britannica карты выделены в особый том». Господи помилуй. Счастье! А выпуск семнадцать он сначала положил под кровать, выхватил — и под подушку; заснул ответственно, сильно и властно. За стеклами метались и верили в НЛО неповторимые снежинки. Ощущение жизни как подарка нарастало. Во сне прежде приходили то марсиане, то короли, а вчера приснился президент России. Он сказал: «Леня, давай я тебе все объясню!»

Профессор проснулся и написал ему в Кремль памфлет стихами в прозе: «Неужели Вам нравится лексикон обиженных? Послушайте вот этих, у которых лимонные цветочки на беленьких занавесочках из ситчика, земляничинки на бело-розовых полотенчиках, веселенькие пчелки на желтеньких с малиновой бахромкой салфеточках гордо трубят о детях, приносимых аистом: он их складывает в капусту. Полученные в обстановке ромашкового целомудрия младенчики питаются молочком и маслицем. У них и носик, и животик — все расстроено, как положено, и доктор их пользует молитовкой. В коридоре поликлинички сидят и внутрь себя смотрят встревоженными глазками мягенькие духмяные мамочки. Выросши в телочек, бывшие мамочкины младенчики ведут бложики, не стесняясь пяточек, пальчиков и щечек. Одна с ямочками такая замутит пятьсот восьмой на ютубике бложик про еду и, восторга не стерпев, сварганит однажды *щички*: щи суточные для мамочек с младенчиками!»

А президент ему: «Образно мыслишь, Лёня, но несобранно и гневливо. Ты как профан: нападаешь на *экзо*терическое, внешнее. А смотреть надо вглубь. Дума первого созыва жила семьдесят два дня, да, годится как *эзо*терическая энциклопедия русской жизни. Ты, Лёня, лучше напиши роман, Лёня...»

...Получив ответ и все неистовее гуляя по Москве, профессор представлял себе прекрасное свое будущее: вышел из ученого сообщества — войдет в литературное. Станет начальником, издаст приказ по редакции, всех объединит. Примерно так:

Мы условились, что

уже не ждем от русской литературы ни Толстого, ни Достоевского, ни *толстоевского;* впрочем, ждем, но надо предпринять;

место действия *наши дни* подразумевает идейно-тематическую нишу, максимально приближенную ко времени действия *большой город*, sic! — не поправляйте; но если вы живете в *малых городах,* то для пересечения границы редакции обязательны

а) отметка в паспорте о рождении в живописуемом городе,

б) детальное знакомство с концепцией развития регионов Российской Федерации, убедительно подтверждаемое в беседе с заведующим собственными комментариями, планами, наметками, прищуром и умеренно художественной продукцией любого народного промысла, исполненной собственноручно;

любая попытка написать *неодеревенскую прозу* карается гарантированно обидным для авторского самолюбия редакторским действием, а стремление подняться

на вершины производственного (фермерского, спортивного и т. п.) очерка должно сопровождаться нотариально заверенной справкой, что автор *там* был сам лично, а бывши там — не пил алкоголя и на трезвый глаз действительно доил, пас, пилил, восходил, прыгал, рожал детей либо ну хотя бы делал их с помощью живого секса, не обезображенного технологиями;

письменность, обусловленная грыжей (инфекцией, опухолью и пр.) любой этиологии, рассматривается как гламур во втором значении слова, то есть от середины российских нулевых, и по указанной причине отвергается;

смерть, причиненная персонажу автором, обязана иметь считываемый смысл; единственный персонаж, право на гибель которого не оспаривается, есть лирический герой, тождественный автору, и только в одном случае: непременное возвращение к жизни на новом уровне духовного развития (кладки в пирамиде Маслоу, морального обучения по Кольбергу, озарения с просветлением тибетского типа либо других доказуемых достижений);

любовь сколь угодно широкой типологии, воображаемая автором *за других* и не обеспеченная достаточным для возбуждения читательского интереса личным опытом, рассматривается как оскорбление чувств верующих; экспертизы текста на любодостоверность и автора на любогодность проводится специалистами; под *читательским* подразумевается интерес, ощущаемый редактором отдела;

симпатия к фэнтези, проявленная так или иначе, рассматривается как смертный грех — *полное отсутствие чувства юмора;*

включение в текст сайентонимов (теорема Геделя, бозон Хиггса, числа Фибоначчи, прочая) сопровождается предъявлением диплома о высшем образовании в подобающих сферах; в противном случае — смотри участь *неодеревенщиков* и не нарывайся; не надо.

...Профессор умнеет, отгоняет от ушей все жареное, дабы не липло. Бережет свой мозг: возлюбил себя. Сейчас, окажись он на похоронах Брежнева в машине времени, *знал бы, куда смотреть*, когда перед глазами история. Тогда еще мал был, а сейчас понял, что вход в хорошую мысль априори нелогичен. Войти можно странными путями — причем не своими, а любыми, даже вместе с народом. И мысль о народе опять, как в юности, прижгла ему все прочие мысли, как прыщи зеленкой. Президент велел идти в романисты — профессор долго гордился и обдумывал композицию.

Раз пошел проветриться в галерею. Увидел, как впервые, тихие реки Левитана; и — резким звуком разодралась пелена, и в прокол сути засвистал разбойно лунный луч, догоняя солнечный с определенной удалью; и чуть не зарыдал свежий, как роса, забубенный писатель над золотом осени, размашистой теснотой Владимирки, драгоценной свежестью воздуха после дождя, и стал косноязычен и глуп, и *будь я проклят*, если хоть раз еще заикнусь о народе, поскольку весь, кем его ни зови, тутошний народ в открытом космосе, где ни Чаадаева, ни даже Куликовской битвы, ни словечка о величии предков и первом космонавте. Бессмертное линялое небо вертикалью истинной власти стоит над лугом Левитана, гениального еврея с межпланетными русскими глазами, а прогресс унижен наконец — бранное словцо; и кроме как по воле Божией ничто не происходит, и в том *суть общего дела*.

...Весь день себя раскапывает изумленно, пишет — узнать, что же теперь думает он и любит *на самом деле,* бормочет, как стишки в детстве, плачет и смеется, смиряется и никому партиту не показывает.

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

РУССКИЕ ЯГОДЫ

РУССКИЕ ЯГОДЫ

В сухих местах созреет земляника,
Поспеет и осыплется малина,
Появятся брусника, голубика
И на болоте крупная черника...
И вот лесная сказка и былина!

Что ж о себе поведает морошка?
Жена певца, чье имя сердцу мило,
Ее на блюдце принесла немножко
И с ложечки любовно покормила.

Все домыслы напрасны пред загадкой
Предсмертного такого угощенья.
Все сказано отрадой кисло-сладкой
Забвенья, жажды, горя и прощенья.

* * *

Пошатываясь на ветру,
Бессильно падали, вставали,
И все приметы предвещали,
Что неродившийся умру.

Рожденный волею судеб,
Я вижу силою наитья:
Без чая длятся чаепитья,
И мать на дольки режет хлеб.

И что спасло? Ответа нет.
Быть может, бабкины иконы?
Какой-то связью силиконной
Ко мне течет их тусклый свет.

Михаил Синельников родился в 1946 году в Ленинграде. Живет в Москве. Автор 37 поэтических сборников, сотен статей о поэзии, переводчик классической и современной поэзии Востока, составитель многих хрестоматий и антологических сборников. Стихи переведены на многие языки, отдельными книгами вышли в Черногории, Румынии, Японии и Турции. Академик РАЕН и Петровской академии, лауреат премии Бунина, премии Дельвига, премии Арсения и Андрея Тарковских, Государственной премии Таджикистана имени Рудаки и многих других отечественных и зарубежных премий.

* * *

Жизнь от родителей, голодом омоложенных,
Перенесенная с севера в глиняный рай.
Душные сетки чернели повсюду на женах.
Возраст неясен — попробуй его угадай!

В этой твоей предначертанной или случайной
Пыльной дороге, как долго по ней ни кружи,
Средняя Азия так и останется тайной,
Зоркой неволей и голосом из паранджи.

* * *

Премудры, хоть по виду жалки,
Крикливы, смуглы и пестры,
Бежали за тобой гадалки,
Как разноцветные миры.

Все о тебе, конечно, знали
В твои ненастливые дни.
Вещал оракул в грязной шали,
Твоей касаясь пятерни.

Металось пламя на ладони,
Твои в нем грезы без пути
Неслись, как таборные кони,
А слышалось: «Позолоти!»

Ты отвечал на эту мантру,
Но знал, что некогда во сне
Мать увидала саламандру,
И не сгораешь ты в огне.

ИСТОРИОСОФИЯ

Там кто-то говорил о мертвом Брюгге...
Уже не счесть борцов за шариат,
Стреляют на востоке и на юге,
Париж и Лондон флагами пестрят.

Европа, утонувшая в айфоне,
Живущая с оглядкой на Китай,
Сомкнувшая свой строй при Марафоне,
Теперь пройди, рассейся, улетай!

Наверное, прервутся эти войны,
И густо расселившийся народ
Среди имен, что памяти достойны,
Пусть первым имя «Шпенглер» назовет!

И может быть, ты слышишь, Чаадаев,
Колокола в монастыре Донском,
Чей медный говор, медленно истаяв,
К тебе доходит зыбким голоском.

БУЛОЧНАЯ

Возле булочной этой старинной
Всякий раз возвращаешься к были:
Здесь когда-то ночные витрины
Кирпичами работницы били.

Занимавшие очередь хмуро,
Поминавшие власти сердито,
Не знававшие вкуса птифура,
Не едавшие даже бисквита.

Но тогда из-за черствости хлеба
Вздрогнул город Петров озаренно,
Сотряслось прибалтийское небо,
Раскололась на камне корона.

Знать бы им, сокрушающим своды,
Что в начавшейся неразберихе
Прорастают пайковые годы
И недели мечтаний о жмыхе.

Но текла под напором стихии,
Жар слиянья с народом изведав,
Злая ненависть к буржуазии,
Бушевавшая в душах поэтов.

* * *

Продолжились наутро те же будни —
Теперь без демонстраций и костров.
Уже часа в четыре пополудни
Освободили пленных юнкеров.

В дом юная вернулась поэтеска,
Читавшая поэзы юнкерам.
«Как, ночь вне дома! — ей сказали резко. —
Чтоб впредь такой не повторялся срам!»

Вновь испекли в кондитерских эклеры,
Вновь очередь за хлебом наросла.
Погоны поснимали офицеры,
И не было гуляющим числа.

В тот день — землей прельстившийся и миром,
В шинелях и бушлатах шел народ
К багряным зорям, но глубоким виром
Стал этих толп густой круговорот.

...Шагали с трехлинейками двенадцать,
Устав искать невидимую цель,
Прохожих окликать, курками клацать.
Все удалялся Иисус в метель.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Холодный Север. Все в его пределах
Завеяла дневная полутьма.
Строй бревен древних и окостенелых –
Пустые, устоявшие дома.

Вдруг небо, засверкав, заполыхало,
В огне перемешались времена,
Как будто бы горящая валхалла
Для всех усопших душ отворена.

Почудилось, что пламенную руну,
Вбирающую судьбы и цвета,
Неколебимый Один шлет Перуну
Перед вторым пришествием Христа.

КА И БА

В прапамяти пески и пирамиды,
Широкий Нил, пустыни тяжкий зной,
Коварство Сета, горький плач Исиды,
Осирис, воскрешаемый весной.

Пройдут богами насланные хвори,
Наступит день свободы для раба,
Но в этом теле, как всегда, в раздоре
Египетские души — Ка и Ба.

Одна из них живет, не умирая,
В папирусе тобой поселена,
А что творит душа твоя вторая,
Об этом не расскажут письмена.

Александр ЛИВЕРГАНТ

ДАНИЕЛЬ ДЕФО: ФАКТ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ

Фрагмент книги*

Один из этих писак, тот, что стоял у позорного столба, совсем забыл его имя... Автор «Чистокровного англичанина». Чистокровный проходимец. Безграмотный писака...

Джонатан Свифт

Пролог. По морям по волнам, или В погоне за козами

Неуживчив — и это еще мало сказано. Скандалит, пьет, чуть что пускает в ход кулаки. Однажды избил до полусмерти своего младшего брата-недоумка: тот внес в дом миску соленой воды, а Селкерк, решив, что вода питьевая, ее выпил. За младшего Эндрю вступились отец и старший сын Джон — досталось и им, а заодно и невестке, жене Джона, — не подворачивайся под руку. Приходской совет постановил, что Александр Селкерк обязан — или сам, или посредством бидла — явиться в церковь и, стоя лицом к кафедре, покаяться за домашние свары, ссоры с родителями, братьями и сестрами (детей у старшего Селкерка, сапожника, было семеро), за рукоприкладство и брань и пообещать исправиться «во имя Божие, с чем и будет отпущен».

Селкерк, однако, дожидаться, когда его отпустят, не стал, с юных лет он бредил морем, дальними странствиями, и 27 августа 1695 года, когда Александр — и не в первый раз — призван был попечителями и церковным старостой к порядку, находился он уже далеко. Шесть лет, пренебрегая уговорами отца и мольбами матери, бороздит морские просторы, промышляет именем его величества короля Вильгельма разбоем, а по возвращении ведет себя еще хуже, развязнее: пьет, буянит пуще прежнего, чуть что лезет в драку, не пропускает ни одной юбки — море его не перевоспитало. Морской волк, что тут скажешь.

Осень и зиму 1701—1702 годов Селкерк провел в своем родном шотландском городке Ларго, графство Файф, однако уже весной 1702 года вырвался на волю: вновь вышел в море. Рассуждал — если умел рассуждать — в точности, как Лэмюэль Гулливер:

Александр Яковлевич Ливергант — писатель, литературовед, переводчик. Родился в 1947 году в Москве. Окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ. Кандидат искусствоведения. Главный редактор журнала «Иностранная литература». Автор многочисленных статей и книг, посвященных английской и американской литературе, и переводов с английского; биографий Редьярда Киплинга (М., 2011), Сомерсета Моэма (М., 2012), Оскара Уайльда (М., 2014), Скотта Фицджеральда (М., 2015), Генри Миллера (М., 2016) и Грэма Грина (М., 2017), вышедших в серии «Жизнь замечательных людей», а также Вирджинии Вульф, Пэлема Гренвилла Вудхауса и Агаты Кристи (М.: АСТ). Живет в Москве.

* Книга «Даниель Дефо. Факт или вымысел» выйдет во второй половине года в издательстве «АСТ» (редакция Елены Шубиной).

«Надо думать, что сама природа и судьба предназначили меня к деятельной и беспокойной жизни»[1]. Природа и судьба предназначили Александра Селкерка если и не к деятельной, то уж точно к беспокойной, рискованной жизни джентльмена удачи.

В этот раз Селкерк вышел в море под началом славного адмирала Дампьера, знаменитого пирата, грозы испанских, голландских и французских торговых судов. Снарядил Дампьер сразу два корабля: «Святого Георга», где капитаном был он сам, и «Пять портов» под началом Чарльза Пикеринга, помощником Пикеринга нанят был Томас Стредлинг, а боцманом — Селкерк. Вскоре после отплытия покладистый, здравомыслящий Пикеринг внезапно умирает, и на капитанский мостик поднимается Стредлинг, человек, как и Селкерк, властолюбивый, вздорный и скорый на расправу; с Селкерком его отношения не задались с первого дня. Стредлинг не терпел неповиновения, Селкерк же не признавал авторитетов, ни с кем и ни с чем не считался и вел себя, как и на суше, как ему в голову взбредет. О последствиях подобной вольницы он не думал.

10 февраля 1704 года оба корабля пристали к Масс-а-Тьерра, одному из островов архипелага Хуан-Фернандес, находившегося неподалеку от берегов Чили. Острову дикой, буйной природы, капустных пальм, перечных деревьев, гвоздичных перцев, гигантских черепах, диких коз и морских львов, над которыми корсары — ну как не оценить их чувство юмора — потешались на свой лад. «Когда львы вставали на задние плавники и широко, в надежде, что их накормят, раскрывали рты, — бесстрастно записал некий Фанелл, матрос с „Пяти портов“, ему вменялось в обязанность вести дневник путешествия, — мы вставляли им в рот пистолет и стреляли прямо в глотку». Забава, что и говорить, на зависть.

Дела пиратов меж тем складывались не лучшим образом. За проплывавшим мимо островов голландцем или французом угнаться не удавалось, поживиться было нечем, все попытки высадиться в Санта-Марии, прибрежном городке в Перу, где пираты рассчитывали разжиться золотом, также успехом не увенчались. В результате Дампьер и Стредлинг повздорили и расстались, и Стредлинг вернулся на Масс-а-Тьерра, где в скором времени у них с Селкерком вспыхнула очередная ссора, и Селкерк сгоряча заявил, что со Стредлингом ему не по пути и он остается на острове.

Стредлинг был не из тех, кто поддается на шантаж, он поймал своего боцмана на слове, и Селкерка в тот же день со всеми его пожитками посадили в шлюпку и доставили на берег. Увидев, что шлюпка возвращается на корабль без него и «Пять портов» поднимает паруса, Александр одумался: вбежал по пояс в воду, стал махать руками, кричать что было сил, чтобы за ним вернулись, — но Стредлинг был неумолим.

А Селкерк — безутешен, он проклинал свою опрометчивость и первое время был близок к самоубийству. Раскаялся ли он? Вряд ли, такие, как Селкерк, редко каются, однако, как он потом расскажет, в первые дни своего одиночества он неотступно думал о Боге, молился, вспоминал церковь, где раньше бывал, прямо скажем, нечасто. Вспоминал и проповеди пастора, родной дом в Ларго, мать, которая заклинала сына не ходить в море...

Потом станет известно, что первое время он почти ничего не ел — отчасти от отчаяния, а отчасти из-за отсутствия на острове привычных вещей вроде хлеба, молока или сыра. Рыбы на острове было сколько угодно, но без соли он и рыбу есть не мог. И страдал бессонницей: сон сваливал его лишь под утро. Но вот прошла неделя-другая, и Селкерк, отдадим должное его мужеству и долготерпению, справился со своим горем, освоился и начал обживаться. Построил из пальм две хижины, в одной спал, в другой кухарил. Добывал огонь, натирая, на индейский манер, щепки очень сухого перец-

[1] Перевод А. Франковского.

ного дерева. Среди вещей отыскал кое-что из белья и одежды, а когда она износилась, надевал козью шкуру (говорят, по возвращении в Англию он, напившись, щеголял в ней, разгуливая по родному Ларго). А еще — кремневое ружье, фунт пороха, топор, нож, чайник, Библию — увлекательное оказалось чтение, вдобавок кое-какие инструменты, пару книг о навигации, теперь, впрочем, бесполезных, а также глиняную кружку с выбитой на ней неприхотливой, зато жизнеутверждающей надписью:

Александр Селкерк.
Наполни сей бокал вином,
Корабль теперь твой отчий дом!

Теперь, увы, отчим домом Селкерка был не корабль, а необитаемый остров. Ностальгия — и это при том, что без дела он не сидел, — брала свое. Каждый день Селкерк выходил на берег и глядел вдаль, не покажется ли парус на горизонте. Случалось, парус появлялся, и корабль даже бросал в виду острова якорь, но Селкерк боялся дать о себе знать: а вдруг это судно не под английским, а под испанским флагом? И то сказать, уж лучше жить на необитаемом острове, чем сначала угодить на многие месяцы в трюм испанского галеона, а оттуда — в тюрьму или на виселицу. Однажды он был очень к этому близок: на остров и в самом деле высадились испанцы, заметили Селкерка, погнались за ним, стреляли в него, но ему удалось скрыться.

По утрам он, безбожник и пьяница, распевал псалмы, молился и читал вслух Священное Писание — это чтобы не пропал голос. Питался он черепахами, речными раками, большими, как омары, а еще бурно разросшейся брюквой, водяным крессом и козлятиной, которую жарил или из которой варил наваристый бульон; по сравнению с брюквой и крессом жареная козлятина была истинным деликатесом.

Селкерк — раньше он и сам не знал этого за собой — оказался невероятно быстроног. Когда порох кончился, он начал гоняться за козами и, во что трудно поверить, догонял их! Однажды, правда, так увлекся погоней, что свалился в пропасть и три дня пролежал без чувств... Подсчитал и потом рассказывал, что за четыре с лишним года перестрелял в общей сложности пятьсот (!) коз. А пятьсот первую, по его же словам, пощадил. Ловил — какова сноровка! — и диких кошек. Нет, кошек он не ел, они были ему нужны, так сказать, в мирных целях, чтобы отбиваться от крыс, которые по ночам грызли ему ступни. Раскрыл он в себе и прочие способности, о которых раньше не догадывался. Забавы ради учил кошек и коз танцевать, а также вырезал свое имя на деревьях — пусть знают, что здесь жил Александр Селкерк!

Селкерк танцевал с козами, декламировал Священное Писание, проклинал свою злосчастную судьбу и даже не подозревал, что ему повезло больше, чем его жестокосердным обидчикам. Не повезло ни «Пяти портам», ни «Святому Георгу». Первый потерпел кораблекрушение, и хотя Стредлинг и несколько матросов спаслись, они попали в руки к испанцам, и что с ними случилось, догадаться нетрудно. Судьба второго корабля оказалась немногим лучше: «Святой Георг» был взят на абордаж голландцами, и славный адмирал Демпьер спустя несколько лет вернулся на родину гол как сокол и еще благодарил Создателя, что остался жив. Судовладельцы, впрочем, не отчаялись и спустя какое-то время снарядили еще два корабля: «Герцога» и «Герцогиню», и капитаном этой флотилии вместо Демпьера, который себя не оправдал и отошел от дел, назначили Вудса Роджерса, умелого и дельного моряка и, как впоследствии выяснилось не менее способного литератора.

3 января 1709 года «Герцог» и «Герцогиня», курсировавшие у бразильских и чилийских берегов, бросили якорь в гавани Масс-а-Тьерра, чтобы пополнить запасы прес-

ной воды, и, выйдя на берег, матросы обнаружили, как записал впоследствии Роджерс, «человека с топором, в козлиной шкуре, который выглядел куда более диким, чем те, кому эти шкуры ранее принадлежали».

Поначалу Селкерк был безучастен — не верил, видимо, своему избавлению, спасителей он поразил замкнутостью и полнейшим безразличием к своей судьбе. Но потом вдруг сообразил, что спасен, и так обрадовался, что лишился дара речи, только плакал и бормотал что-то нечленораздельное, добиться от него ответа, как он перенес одиночество, как справлялся с трудностями, было невозможно. Опытного и рассудительного Роджерса, впрочем, это нисколько не удивило: «Моряк как моряк. Прилагал все силы, чтобы остаться в живых».

Поднявшись на борт, Селкерк, однако, довольно быстро освоился и потряс даже бывалых моряков рассказами о том, как все эти годы охотился на коз. «Охотясь на коз, — записал Роджерс, — Губернатор (так Селкерка в шутку прозвали на борту) приобрел такую сноровку, что целыми днями без устали бегал за ними по лесам и горам. Чтобы проверить, говорит ли бедняга правду, мы отправили на берег несколько наших самых быстроногих матросов, а также бульдога, и они одновременно с островитянином пустились вдогонку за козами, однако вскоре и собака, и люди выбились из сил, от Селкерка безнадежно отстали, он же вернулся на корабль с пойманной козой на спине. Наши люди были посрамлены».

В феврале 1709 года «Герцог» и «Герцогиня» подняли якорь, взяли курс на Британские острова и спустя два с половиной года, в октябре 1711-го, бросили якорь в Плимуте. Эти годы не прошли для доблестных пиратов и их судоволадельцев даром; из ста семидесяти тысяч фунтов награбленного добра Селкерку — после освобождения он получил место помощника капитана на «Герцоге» — досталось восемьсот; сумма по тем временам немалая.

Селкерк был теперь не только богат, но и знаменит. На чудо света, человека, прожившего на необитаемом острове четыре с половиной года и продемонстрировавшего фантастическую выживаемость и силу воли, приезжали посмотреть издалека. Посмотреть и расспросить. А если удастся, и записать его невероятные приключения. В 1712 году капитан Роджерс представил подробный отчет о своем плавании с длинным, как это было тогда принято, заглавием: «Превратности судьбы, или Удивительное путешествие вокруг света, где, среди прочего, повествуется во всех подробностях о некоем Александре Селкерке, который прожил на необитаемом острове в полном одиночестве четыре года и четыре месяца». А годом позже у Селкерка, говоря сегодняшним языком, взял интервью известный драматург, публицист и издатель Ричард Стил, очерк о Селкерке он опубликовал в декабрьском номере своего журнала «Англичанин» за 1713 год. «Я имел удовольствие часто беседовать с этим человеком. Слушать его было любопытно до крайности, — отмечает Стил. — Человек неглупый, он описывал, что „передумал и перечувствовал“ за столько лет одиночества».

Был ли пьяница, сын сапожника способен «описывать, что он передумал и перечувствовал», сказать трудно, но рассказывать свою диковинную историю Селкерк любил, он ощущал себя героем, недюжинной личностью и, эдакий шотландский Хлестаков, привирал, рисовался, приписывал себе подвиги, которые не совершал. Или эти подвиги приписывали ему его собеседники?

Четырехлетняя жизнь в полном одиночестве на необитаемом острове не отучила Селкерка от вранья, хвастовства, рукоприкладства, брани и пьянства. И сластолюбия. В своем родном Ларго прожил он после возвращения с Масс-а-Тьерра всего три года, после чего, соблазнив юную девицу Софию Брус, бежал с ней в Лондон, а после ее смерти, случившейся вскоре после бегства, утешился с еще одной красоткой Франсес

Кэндис, которой и завещал свое весьма солидное состояние. Про последние годы жизни Селкерка рассказывать особенно нечего. Жил в свое удовольствие, бездельничал, шатался по лондонским пивным и, напившись, во всех подробностях который раз рассказывал, как тяжело ему приходилось на острове. Когда же ему было уже за пятьдесят, он поступил штурманом на фрегат «Веймут» и из плавания не вернулся. В 1885 году, спустя 160 лет после смерти, Селкерку, местной знаменитости, установили в Ларго бронзовую статую. Только ли местной?

Про Селкерка еще при его жизни, помимо книги Роджерса и очерка Стила, выходили и другие сочинения, многие с интригующими подзаголовками: «подлинная история», «записано с его слов», «написано его собственной рукой». Не извольте, дескать, сомневаться, именно так все и было. Для пущей наглядности, достоверности, «научности» один из авторов, Айзек Джеймс, в книге 1800 года «Промысл Божий» снабдил свое повествование картой острова, где жил Селкерк, двадцатью четырьмя гравюрами, а также не поленился в этом же сочинении собрать и описать истории других моряков, волею судеб оказавшихся на необитаемом острове и проживших там долгое время в полном одиночестве.

Все эти сочинения — пусть в них и немало выдуманного, пусть они существенно отличаются одно от другого, друг другу противоречат — так или иначе основаны на фактах. И только одно, неоспоримо лучшее, — на вымысле, точнее сказать, на правдоподобном вымысле. В чем в чем, а в вымысле, выдающемся за правду, автор этого сочинения знал толк.

Глава I. «Кафедра проповедника не для меня»

1.

Только в одном Эттоне, деревне на сто домов, что находилась в пяти милях от Питерборо — в середине семнадцатого века крупного текстильного центра в графстве Нортгемптон на востоке Англии, — проживало одиннадцать выходцев из Фландрии, непревзойденных мастеров ткацкого дела, протестантов, бежавших с континента еще в шекспировские времена по приглашению веротерпимой Елизаветы I. И все одиннадцать носили одну и ту же фамилию Фо — разве что записывали фламандцев в церковных книгах по-разному: Foe, Faux, Vaux, Fooe.

Выделялся среди них некий Даниель Фо, такого, как он, называли у нас диким барином: нетерпимый, грубый, вечно пьяный, себе на уме, никому доброго слова не скажет. Бабинным кружевом, как его соотечественники-фламандцы, не промышлял — охотился и разводил охотничьих собак, которых смеху ради нарекал именами английских военачальников времен гражданской войны. С этими Горингами и Уоллерами Фо охотился на зайцев и лис, ходил, говорили, и на волков. К дому Даниеля Фо было не подступиться: собаки рьяно и преданно охраняли своего хозяина — чуть зазеваешься, вопьются в ногу, а то и в глотку.

Даниеля в Эттоне не любили, не за что было, но побаивались и уважали: уж этот в обиду не даст ни себя, ни свою семью. Да, был строг, злопамятен, но и справедлив, в меру щедр, в завещании никого не обделил. Дал и на церковь, хотя наведывался в храм божий нечасто: был, как многие в годы гражданской войны, пресвитерианином, власти англиканских епископов предпочитал власть пресвитеров — выборных старейшин, а церкви — молельный дом. Потому, вероятно, и дал на церковь немного: всего-то десять шиллингов. И бедным — столько же. Не забыл, само собой, и собственных детей, пресвитериан, как и отец. Старшему — как и он, Даниелю — досталось

по завещанию 80 фунтов, остальным, дочери и еще двум сыновьям, Генри и Джеймсу, — по пятьдесят. А все остальное — «любимой и преданной моей супруге и душеприказчице». И оговорил: деньги дети получат не раньше, чем им исполнится двадцать один год, а если не доживут, их долю надлежит поровну разделить между женой и другими детьми. Словом, всем сестрам по серьгам; сестер и братьев, к слову, у старика не было.

Когда дикий барин наконец умер (наконец, потому как умирал он долго и тяжело), его младшему сыну было не больше года. Об эттонской жизни Джеймса Фо знаем мы немного, почти ничего. Крещен, согласно церковным книгам, в мае 1630 года, тринадцати-четырнадцатилетним подростком любил вместе со сверстниками играть в средневековой крепости Вудкрофт в миле от Эттона, что было совсем небезопасно. Нет, бояться следовало не привидений, хотя они в полуразрушенной крепости, конечно же, водились, а самых настоящих, из плоти и крови, солдат парламентской и королевской армии, в это время беспощадно истреблявших друг друга. Отрочество Джеймса Фо пришлось на годы кровопролитной борьбы за власть, которую с переменным успехом вели кавалеры, воевавшие на стороне Карла I, и «железнобокие» во главе с Оливером Кромвелем, сражавшиеся на стороне парламента. О чем читатель наверняка наслышан, юный же Джеймс Фо, хотя война шла у него на глазах, даже и не подозревал.

Про Джеймса мы «начинаем знать», только когда он, окончив школу (какую — неизвестно), отправляется в Лондон и отдается в ученики мяснику, тоже, как и почти все лондонские торговцы, пресвитерианину Джону Левитту — сколь неожиданные и никому, в сущности, не нужные подробности порой сохраняются! А со временем, о чем имеется упоминание в приходской книге церкви Святого Джайлса в Криппл-гейте, в лондонском Сити, и сам становится мясником и свечным торговцем, обзаводится домом на Фор-стрит, женой и детьми. В начале 1659 года — дочерью Мэри, а в конце этого же года (или весной следующего, биографы Дефо никак не договорятся) — сыном, как и дед, Даниелем. Сведений о других детях Джеймса Фо не сохранилось, но они, вероятнее всего, имели место, семьи тогда были многодетные. Много лет спустя автор «Робинзона» в письме лорду Галифаксу упоминает своего брата, имени которого не называет, — но разве можно Дефо верить: «брата» он мог выдумать точно так же, как выдумывал многое другое.

Если детство отца пришлось на смутное время гражданской войны, то детство сына — на крах недолго просуществовавшей республиканской власти и воцарение долгожданной королевской. Карл II Стюарт, сын Карла I, казненного парламентом, — этим «огузком», как его презрительно прозвали в народе, — после долгих и небезопасных скитаний по Англии и Шотландии, многих лет, проведенных на чужбине, при дворе извечного врага Англии французского короля, причалил к берегам отечества и высадился в Дувре 25 мая 1660 года. Примерно тогда же, быть может, даже в те же майские дни появился на свет и автор «Робинзона Крузо».

* * *

Деревянная лошадка на палке, хлыстик, выструганный из ивовой ветки, и картонная мельница — дело его собственных рук, интересовали юного Даниеля куда больше, чем всенародное ликование, с каким встречен был совсем недавно гонимый, а ныне желанный, горячо любимый монарх, чья пышная коронация состоялась спустя почти год, 22 апреля 1661 года. Ликование ничуть не меньшее, чем когда его отцу сначала отрубили голову как «тирану и изменнику отечества», а потом канонизировали как святого-великомученика.

Да, встречен был монарх с ликованием, однако на определенных «ограничительных» условиях. За Карлом, по соглашению с членами Палаты общин, сохранялось право назначать министров, созывать и распускать парламент, возглавлять вооруженные силы. Вместе с тем король лишался права устанавливать налоги, изменять законы и обязывался упразднить Звездную палату — высший королевский суд; жертвы немалые.

Авторитетный биограф Дефо Уильям Ли сетует на то, что такой блестящий прозаик и историк, как Дефо, не удосужился написать «реставрационную» историю Англии шестидесятых годов, в которой уделил бы немало места многим достославным парламентским актам и королевским приказам, возвращавшим страну в дореволюционные, докромвелевские благословенные времена. Описал бы — хотя по малолетнему возрасту принимать в них участия никак не мог — такие исторические события, как Акт о расформировании кромвелевской армии, Акт о ненаказании за преступления, совершенные при республике. Под политическую амнистию, оговоримся, подпадали далеко не все злокозненные противники королевской власти.

Как Акт 1662 года об единообразии, согласно которому восстанавливалась государственная англиканская церковь (во время революции епископат был упразднен, и доминирующей церковью была пресвитерианская), и английские священники в обязательном порядке должны были пользоваться теперь «Книгой всеобщей молитвы» и принимать причастие по единому закону англиканской церкви, в случае же неповиновения изгонялись из своих приходов. Этот акт, таким образом, был направлен против всех протестантских сект, которым запрещались собственные богослужения, что раскольников (или, если по-иностранному, диссентеров, диссидентов, нонконформистов), какими был Джеймс Фо и будет, когда вырастет, его сын, никак не устраивало; Богу, как и все диссентеры, они ходили молиться не в церковь, а в молельный дом, подальше от официально назначенного англиканского духовенства, которое, согласно давнему Акту о супрематии, подчинялось примасу англиканской церкви архиепископу Кентерберийскому, а епископ Кентерберийский, в свою очередь, назначался монархом — главой англиканской церкви.

Описал бы вновь возникшие, на радость лондонцам, и долгие годы запрещенные увеселения вроде открывшихся при гостиницах игорных домов, танцевальных залов и кофеен. В одних своеобразных клубах (клобах, как говорили у нас в позапрошлом веке) собирались дельцы, в других — представители свободных профессий: писатели, актеры, художники. Вроде вновь разрешенных и пользовавшихся у простого люда огромной популярностью петушиных боев и медвежьих садков, неугодных суровым, непримиримым, богобоязненным пуританам — Богу надо молиться, а не медведей травить. Вроде наконец-то, после долгого перерыва открывшихся театров; в пору революции пуритане их позакрывали, здания театров сносили, театральные представления запрещали, а актеров приравнивали к бродягам и безжалостно изгоняли из городов.

Коснулся бы таких знаменательных явлений, как положение распущенной кромвелевской армии. Как учреждение Королевского научного общества, осененного именами столь громких научных авторитетов, как Роберт Бойль, Исаак Ньютон, Томас Гоббс. Как всенародно объявленная веротерпимость (Карл был скрытым католиком и, в сущности, не делал из этого тайны), которая плохо сочеталась с запретительным Актом о единообразии. Указ о прекращении всех религиозных гонений в отношении пресвитериан, пуритан и католиков, полное равноправие, которое воспринималось свидетельством монаршей любви к своему народу и давно желанным всепрощением, в действительности означали непротивление «веселому королю», как называли Карла — сластолюбца, любителя охоты, лошадей, театра и актрис.

«Уделил бы», «описал бы», «коснулся бы» — сослагательное наклонение здесь уместнее изъявительного. Ведь когда Дефо вырастет настолько, чтобы написать бурную историю шестидесятых годов, в ней разобраться, на троне будет восседать другой монарх, которому может не понравиться, как автор трактует события эпохи Реставрации.

Только много позже на своем печальном опыте Даниель Фо убедится: быть предпринимателем, торговать мясом, чулками и свечами ни ему, ни его отцу не возбраняется, но продвижение по общественной лестнице для нонконформистов, членов протестантских «инакомыслящих» сект, отвергавших государственную церковь, если и не запрещено, то крайне затруднено и в случае неповиновения чревато самыми серьезными последствиями. Даже в относительно либеральные времена Карла II инакомыслие, особенно церковное, не приветствовалось — что ж, у всякой веротерпимости свои границы. «Пожалуй, этот правитель, из всех стоявших в Англии у власти, наилучшим образом понимал страну и народ, которым управлял», — заметит много позже Дефо. Эти слова — не столько панегирик королю, из тех, на которые Дефо всегда был горазд, сколько признание того, что народ к веротерпимости не готов, что объявленная веротерпимость — циничное славо- и пустословие.

* * *

Судьба — перефразируем Пушкина — Даниеля и его родителей хранила — ведь семья Джеймса Фо жила в Сити, центре сразу трех бедствий, почти одновременно обрушившихся на английскую столицу. За эпидемией бубонной чумы, уже третьей в этом столетии, последовал Великий лондонский пожар, а на следующий год — очередная война с Голландией.

Вторая война с Голландией, в отличие от первой, победоносной, 1652—1654 годов, повергла нацию в трепет и стыд: в июне 1667 года голландский флот — подумать только! — вошел в устье Темзы. Не иначе — заговор папистов! Началась паника, подогреваемая тяжкими поражениями на море, разногласием между адмиралами и мятежами матросов, бунтующих против взяточничества и насильной вербовки.

Годом раньше, в сентябре 1666 года, после засушливого лета в городе вспыхнул не унимавшийся несколько дней пожар, В Великом лондонском пожаре сгорели тринадцать тысяч домов, больше полутораста церквей, выжжены были целые улицы, выгорел весь район Сити между Тауэром и Темплем. «Многие не покидают своих жилищ, пока огонь не начнет лизать им одежду, — читаем в увлекательнейших дневниках тогдашнего секретаря Адмиралтейства Сэмюэля Пипса. — Король в панике: „Я-то что могу поделать? Я человек конченый. Народ меня не послушается. Думаете я не сношу дома? Увы, огонь действует быстрее нас“»[2].

А еще двумя годами раньше, поздней осенью 1664 года, в Лондон пришла чума, уже третья за столетие, и продолжалась она до осени следующего года. «Бедняки умирают в таком количестве, что подсчитать число покойников невозможно... Боже, как пустынны и унылы улицы, как много повсюду несчастных больных — все в струпьях... По улицам тащатся телеги с мертвецами, и возница тоскливым голосом возвещает: „Покойничков берем! Выносите своих покойничков!“ Только и разговоров: этот умер, этот болен, столько-то мертвецов здесь, столько-то там. Говорят, в Вестминстере не осталось ни одного врача, одни аптекари — поумирали все»[3].

Семья Фо, однако, никак от сей кары небесной не пострадала. И война, и пожар, и даже чума прошли стороной. Что же, правоверного пресвитерианина Бог спас? Или

[2] Сэмюэль Пипс. Домой, ужинать и в постель. Из дневников / Пер. А. Ливерганта. М.: Текст, 2010, с. 40—60.

[3] Там же.

Джеймс Фо, вняв совету рассудительного старшего брата, шорника Генри Фо, вовремя вывез семью из Лондона, когда смертельная болезнь еще только «набирала обороты»? А может — существует и такая версия — подверг жену и детей многомесячному домашнему затворничеству? О лондонской чуме Дефо напишет много лет спустя, не сообразуясь с собственным опытом. В 1665 году ему не было и пяти лет.

2.

Детские годы автора «Робинзона», насколько нам известно (а известно крайне мало), ничем от детских лет любого городского мальчишки, будь то вторая половина семнадцатого века или первая двадцать первого, не отличались. Был юный Даниель жизнерадостен, решителен, при этом упрям и замкнут. Отличался живостью характера, независимым нравом, чувством справедливости, от которого он еще очень настрадается в жизни. В одном из номеров своей газеты «Обозрение» однажды отметит: «Подравшись с одним мальчишкой и сбив его с ног, я вдруг понял, что такое благородство, понял, что нельзя бить противника, когда он лежит на земле».

А еще был самолюбив, хвастлив, скромностью не отличался — он и повзрослев на похвалы себе не скупился, — как, кстати, и его герой Робинзон Крузо. Умел настоять на своем, дать, если что, сдачи и пользовался у сверстников уважением, не раз выручал друзей из беды. Был необычайно любопытен, «я любопытствовал обо всем на свете», — скажет он о себе годы спустя. Любопытен и энергичен, называл себя «фонтаном энергии». «Голова моя наполнялась планами и проектами, совершенно несбыточными» — это Дефо скажет о Робинзоне, но с тем же успехом мог бы сказать и о себе.

Шалун и драчун, эдакий Гаврош, проводивший на улице большую часть времени, он вместе с тем к родителям прислушивался. И прежде всего — к отцу, человеку здравомыслящему, при этом по-пуритански суровому, принципиальному и на расправу скорому. Покорно, жертвуя желанным уличным досугом, Даниель, по настоянию Джеймса Фо, часами переписывал Библию — других книг набожный глава семьи дома не держал. Внушал сыну: «Не ленись, переписывай Слово Божье, не ровен час, явятся католики и сожгут наше протестантское Священное Писание». Переписывать Святое Писание у нонконформистов было принято, и в первую очередь Пятикнижие, Даниель переписывал не без удовольствия и знал его назубок, ничуть не хуже Джона Беньяна, своего старшего современника и наставника.

Отца, иной раз сына под горячую руку наказывавшего, Даниель ослушаться не решался, зато с матерью, Алисой Фо, женщиной смирной, покладистой, считался далеко не всегда. «Будешь ко мне вязаться, — пригрозил ей однажды сын, — домой с улицы не вернусь и ужинать не буду, так и знай!» В то же время — не в детстве, а уже взрослым человеком — Даниель отдавал матери должное, вспоминал: «Мать за мной по улицам не бегала, говорила — проголодается, сам придет». Мальчик при всем своем бесстрашии восприимчивый, эмоциональный, чуть что в слезы, он тяжело пережил утрату безвременно умершей матери, и десяти лет его пришлось лечить от того, что теперь мы назвали бы нервным срывом; отец даже возил сына на целебные источники, на юг, в графство Кент.

Был Даниель пытлив, мог часами завороженно смотреть, как плетут корзины, рубят мясо или лепят свечи. И не только смотрел, но и быстро, сметливо овладевал этими навыками — вот и его герой Робинзон был ведь мастером на все руки, не чурался никакой работы, у героя Дефо, правда, в отличие от его автора выхода не было.

Когда Даниелю было восемь лет, исполнилась его давнишняя мечта: отец взял его с собой в Ипсвич, и мальчик обомлел — впервые в жизни увидел он море и стоявшие на якоре огромные парусники. Дух далеких, рискованных странствий, тоска по всему крайнему, чрезмерному, запредельному, таинственному овладели им тогда и никогда уже больше его не покинут. Советы степенного, правильного отца «не бросаться очертя голову навстречу бедствиям»[4] были разом забыты. «Какой же деловой город Ипсвич! — будет вспоминать Дефо. — Какие огромные, могучие угольщики, что ходили между Ньюкаслом и Лондоном!»

3.

Сам Джеймс Фо был торговцем, сына же видел «пастырем божьим», уж никак не торговцем, тем более моряком. И потому отправил его в диссидентскую семинарию Ньюингтон-Грин с громким названием академия; таких академий было тогда в Англии несколько. Находилась академия в пригороде Лондона Сток-Ньюингтон. Спустя тридцать с лишним лет, в 1709 году, Даниель поселится здесь, сначала будет дом снимать, а потом построит свой собственный. В Ньюингтоне родилась и его жена — но мы торопим события...

До Ньюингтона Даниель учился в начальной школе преподобного Джеймса Фишера в Доркинге, в 25 милях от Лондона. Сколько времени он учился, кто его учил и как, нам решительно неизвестно. В Ньюингтоне же Даниелю предстояло учиться три года, а при желании — и все пять, до 1678 года. Отец, человек состоятельный, денег на обучение сына не жалел — пусть учится хоть десять. «Должен отдать должное моему престарелому родителю, — писал Дефо спустя годы. — Торжественно заявляю: если я глуп по сей день, то виноват в этом только я сам, отец же мой ничего не жалел для моего воспитания». И ведь действительно не жалел: пятилетнее обучение, в отличие от трехлетнего, обязательного, стоило в академии немало.

Судя по всему, идти в семинарию Даниелю хотелось не слишком, впрочем, и уходить из нее раньше времени он также не стремился. «На мою беду, — будет вспоминать он, — меня сначала, против моей воли, отдали в сие достойнейшее заведение, а потом, опять же против воли, из него забрали». Дефо запамятовал: все было не совсем так, а вернее, совсем не так — Даниель, можно сказать, забрал себя из Ньюингтона сам.

«Достойнейшее» — иначе не скажешь; в семинарии учили ничуть не хуже, чем в Оксфорде или Кембридже, куда сыну пресвитерианина, нонконформиста путь был заказан. Учили отнюдь не только богословию, как в семинарии положено, но и многим другим — «мирским» — наукам; «Оптику» Ньютона и «Элементы» Евклида, которые изучал в Ньюингтоне Даниель, богословием при всем желании не назовешь. Учили математике, астрономии, логике, философии, истории, географии (которая давалась сыну Джеймса Фо с его страстью к путешествиям особенно легко). И языкам, конечно. Юный Даниель не только читал по-древнегречески и на латыни, но и вполе складно писал на этих языках. Бегло говорил по-французски и по-испански, изъяснялся на итальянском и даже — худо-бедно — на голландском.

Учили, словом, в Ньюингтонской академии на совесть. Учили до тех пор, пока спустя тридцать пять лет, в 1714 году, парламент с подобными «крамольными» учебными заведениями не покончил Актом против раскола (Schism Act), инициатором которого, парадоксальным образом, явился один из самых образованных людей своего времени, видный тори, друг и корреспондент Свифта, Генри Сент-Джон лорд Болинброк, о котором еще будет сказано.

---

[4] Роман «Робинзон Крузо» здесь и далее цитируется в переводе М. Шишмаревой.

При том, как легко давались Даниелю науки, своими обширными познаниями он, хвастун по природе, не хвастался, отдавал должное соученикам, пусть и не столь даровитым и работоспособным. И как и в детстве, отличался повышенным чувством справедливости, нравом решительным, благородным: «Дать сдачи негодяю я готов был всегда, но никогда не хватало мне красноречия назвать негодяя негодяем, а дурня дурнем». Подобному искусству — заметим вскользь — он мог бы поучиться у своего младшего и не менее именитого современника, доктора Джонатана Свифта: автор «Гулливера» в своем «Экзаминере» не выбирал выражений, причем «галантерейщику» Дефо от настоятеля дублинского собора Святого Патрика доставалось едва ли не больше, чем остальным.

Да, был скромен, незаносчив и в то же время знал себе цену. Вот что напишет он о себе в третьем лице в ответ на обвинения Свифта в невежестве: «1. Французским владеет так же бегло, как и своим родным английским. 2. Обладает достаточными познаниями в области экспериментальных наук. 3. Знаток географии, весь мир у него как на ладони. 4. Искусен в астрономии. 5. Начитан в истории». Чем, казалось бы, не безудержный панегирик самому себе? Вместе с тем каждый «пункт самовосхваления» кончается одной и той же нелицеприятной репликой как бы от имени Свифта, своего рода ироническим, «снижающим» рефреном-комментарием: «А все же человек этот необразован».

Себя судил строго, да и относительно своего окружения особых иллюзий не питал. С самого начала, еще до Ньюингтона и до самой смерти, «недорого ценил громкие права»: знатность, достаток, эрудицию ставил ниже чести и справедливости — если воспользоваться названием одного из лучших его памфлетов «Призыв к чести и справедливости». Об этом же его весьма неприхотливое двустишие из поэмы «Чистокровный англичанин», о которой еще будет сказано:

Хорош не тот, кто знатен и богат,
А тот, кто помощь оказать вам рад[5].

Да, громкие права судил недорого, что, однако, не мешало ему во все времена стремиться к знатности и богатству, считать себя джентльменом — «образцовым джентльменом», как он назовет один из своих последних памфлетов. И обижаться и раздражаться, когда ему в праве называть себя джентльменом отказывали.

* * *

Возглавлял академию преподобный Чарльз Мортон, талантливый, высокообразованный проповедник, человек во всех отношениях незаурядный. Ему Дефо, да и другие ученики обязаны были не только знаниями, но и стойкостью, принципиальностью инакомыслия, глубокой верой, «ясным, — напишет Дефо, — пониманием вещей и столь же ясным выражением своих мыслей». Убежденный нонконформист и пресвитерианин, Мортон привил академии сектантский дух, который Дефо сохранит на всю жизнь. В 1685 году, когда Даниеля в Ньюингтоне уже не было, Чарльз Мортон бежал от преследования сторонников «единой и неделимой» англиканской церкви в Америку, где долгое время читал проповеди в церкви городка Чарльзтаун, а в конце жизни дослужился «до степеней известных», стал вице-президентом Гарварда — блестящая карьера, сказали бы сегодня.

[5] Перевод Д. Урнова.

В Ньюингтоне Дефо слушал проповеди и еще одного незаурядного человека, ныне признанного классика английской литературы. Джон Беньян, сын деревенского лудильщика, солдат кромвелевской армии, несгибаемый пуританин, написал «Путь паломника» в тюрьме, где отсидел двенадцать лет и куда попал за то, что отказался примкнуть к официальной англиканской церкви. Иносказательная, «суровая» (Пушкин) проза Беньяна сразу же нашла своего читателя: «Путь паломника» в одночасье стал бестселлером, многократно переиздавался общим тиражом более ста тысяч экземпляров — такой цифре позавидовали бы и сегодняшние издатели. Сложные аллегории Беньяна тогдашний читатель-диссентер, даже и едва умеющий читать, расшифровывал без труда. В «Пучине отчаяния», к примеру, он угадывал жизнь, исполненную пороков и искушений, а в Христианине, одетом в лохмотья, с книгой в руках, странствующим в поисках Небесного града, — незавидную участь пуритан, своих единоверцев. Это у Беньяна Теккерей позаимствовал название своего лучшего романа. В «Пути паломника» «Ярмарка тщеславия» (или, в старом переводе, «Ярмарка житейской суеты») — одно из тех мест, куда, бежав из Града разрушения, попадает Христианин — житейская суета преследует его повсюду.

Вместе с Даниелем Фо проповеди Мортона и Беньяна слушали многие учащиеся академии, ставшие со временем людьми известными. Одни, сменив гнев на милость, отошли от инакомыслия, сделались правоверными англиканами и кончили жизнь если и не в богатстве и почете, то, по крайней мере, в своей постели. Другие остались непримиримыми раскольниками и вынуждены были скрываться или бежать из страны, чтобы не сесть за решетку, как Беньян, или не подняться на эшафот, как друзья Даниеля по Ньюингтону Баттерби, Дженкинс и Хьюлинг, участники, как, кстати, и сам Даниель, мятежа герцога Монмута. Обратим внимание на двух его соучеников. Первый, пресвитерианин Сэмюэль Уэсли, с возрастом не только отошел от раскольничества, но стал ревностным гонителем инаковерующих. Второй же соученик, в будущем известный пресвитерианский проповедник, примечателен прежде всего своим именем — Тимоти Крузо; Дефо его увековечил.

В Ньюингтоне Даниеля прилежно учили религиозному инакомыслию. Но — не религиозной нетерпимости. Нетерпимым он не станет; протестант, более того — диссентер, он будет приверженцем «золотой середины», лояльным ко всем конфессиям — протестантским, разумеется. И эта золотая середина ему, как мы увидим, боком выйдет, и не раз.

Проповедником, однако, не станет. В 1678 году заявил: «Кафедра проповедника не для меня». И покинул Сток-Ньюингтон, не доучившись и повздорив из-за этого с отцом: Джеймс Фо хотел видеть в сыне священника. Почему младший Фо отказался «идти по проторенной церковной линии», остается только гадать. То ли он не чувствовал в себе призвание клирика. То ли, будучи сыном раскольника, понимал, что пастором англиканской церкви ему, при всех его способностях и знаниях, не быть. То ли ему, человеку с детства азартному, увлекающемуся, хотелось испытать себя в мирских делах, в жизни, которая не ограничена церковной кафедрой и потребует от него способностей куда более разносторонних.

Как бы то ни было, в 1678 году, неполных девятнадцати лет, Даниель покидает Ньюингтон. И в этом же году — вряд ли это случайное совпадение — на корабль впервые в жизни садится его alter ego, моряк из Йорка Робинзон Крузо. И выпускник богословской семинарии, и выдуманный им литературный персонаж вопреки родительской воле подчинились своему природному влечению, толкавшему обоих — перефразируем сказанное в романе — «к злоключениям, которые выпали на их долю».

Виктор ПЕРЕГУДОВ

МЕТЕЛЬ

Рассказ

В шестом часу сырого декабрьского вечера я шел от Никитских ворот к Центральному Дому литераторов. Валил беззащитный обильный снег. Колокольня храма Вознесения Господня, не самая низкая в Москве, не видна была за сплошной белой завесью. Снежные звездочки (звезд очки) бесшумно и бесследно разбивались о тротуар, покрытый пленкой талой влаги. Исчезновение их для меня было обидно, как личная потеря, но зато оно разбудило дремавшее воображение, которое тут же связалось с разумом. Вслед за тем немедленно оживились чувства.

Все мы дорожим дружбой трех этих таинственных стихий. У очень талантливых людей она превращается в творчески продуктивный любовный треугольник.

Я поспешал на встречу с богато одаренным человеком, назначившим в этот день свой творческий вечер в Малом зале ЦДЛ. Поэт Валерий Поручик, дожив до пятидесяти юбилейных лет, выпустил после многих тонких сборников вторую за всю жизнь книгу в серьезной твердой обложке. На титульной странице было ответственное слово «Избранное», а на фронтисписе красовалась черно-белая фотография, на которой Поручику было примерно тридцать пять.

Пятидесятилетие, этот когда-то важный, а теперь лишь условно символический этап, было, однако, законным и достаточным поводом для творческого вечера хорошего, хотя и редко печатавшегося поэта. При советской власти банкет после юбилейного вечера включал в себя, бывало, купание в бокале шампанского нового ордена или хотя бы даже и не самой именитой медали. Но сейчас чего не было, того не было.

Ныне такие собрания имеют камерный, не особо даже торжественный и, уж конечно, не концертно-митинговый характер. В Малый зал ходят свои к своим. Тут все друг друга знают и, что в принципе нехарактерно для творческой среды, даже, бывает, уважают. Всегда все проходит хорошо, без скандалов, которыми знаменит ЦДЛ. И виновник торжества, и его гости-почитатели остаются довольны друг другом. И слава Богу, потому что ЦДЛ за долгую свою жизнь перевидал слишком много мерзостей разного рода, особенно, кстати, идейно-политических. Драки же, преимущественно, кстати, между поэтами разных направлений, происходили и в Нижнем буфете, и в Пестром зале, и в шикарном и знаменитом ресторане ЦДЛ, имеющем независимую от писателей и поэтов собственную замысловатую, с историческими пятнами, репутацию.

Впрочем, рукоприкладство в ЦДЛ осуществлялось во множестве мест. Их скучно перечислять даже.

Виктор Перегудов родился в 1949 году в городе Лиски Воронежской области. Окончил филологический факультет Воронежского университета, работал в воронежских, а с 1980 года в центральных изданиях, издательствах, на госслужбе. Автор книг «Великие сосны», «Сад золотой», «Окна и зеркала», «День и ночь любви» и других. Живет в Москве.

В Малом зале некороткий по времени вечер Поручика прошел, по моему ощущению, быстро. И это означало успех. Окончательно вечер закончился после исполнения певицей трех романсов на стихи Поручика поднесением ему трех скромных букетов и дарением, от духовенства иконы, от казачества великоватой на вид папахи, а от джигитов сувенирного, но убедительно сверкающего кинжала. Были еще дипломы и почетные грамоты.

Когда добрая половина зала отправилась в Нижний буфет на скромный, лучше сказать, бедняцкий банкет, туда же дружно двинулась небольшая компания самых близких друзей взволнованного поэта. Я был в ней по самому что ни на есть законному праву. Из наших лишь прозаик Иннокентий Харитонов задержался за разговором с хозяйкой книжного киоска, но и он не опоздал к третьему тосту, когда у участников застолья, утоливших первую жажду, отрывается дар свободной искристой речи.

Друзья Поручика устроились за двумя предварительно накрытыми, под белой скатертью сдвинутыми столиками. Гости устремились к подобию шведского стола, заставленного закусками и бутылками. От одного из многочисленных ныне писательских союзов его секретарем был оглашен пространный юбилейный тост, отчасти повторяющий его же вступительное на вечере выступление. После этого все занялись долгожданным делом и разговорами.

Нижний буфет я в те времена для себя называл Нижним Новгородом, Пестрый зал был у меня Москва, а Петербургом я именовал вельможный масонский ресторан ЦДЛ. К компании друзей как-то неожиданно подсел один общий знакомый, сценарист одного из трехбуквенных телеканалов Сергей Привалов. За глаза его звали Длинноватый. Я подумал, что сценарист явился не для дружеской попойки (хотя выпить он был, естественно, не дурак), а в качестве коллекционера оригинальных творческих человеческих типов. К несчастью, он был еще и модным блогером, алкавшим лайков (от слова лай, как я трактую этот липкий термин). Скрытую камеру носил на себе. Однажды его, не мы, правда, тщательно побили за такого рода скрытность.

Довольно быстро я да и все мы поняли, по какой непрофильной нужде он прибился к нашему берегу.

Одним из крайне оригинальных типов — потенциальных жертв сценариста-блогера — был поэт и литературный критик Белинский. Это не псевдоним, а настоящая его фамилия. Тут, впрочем, все были оригиналами, ибо других Нижний буфет не принимает. Критик-поэт принципиально критически относился к чистосердечной простодушной водке. В этом было нечто таинственное и даже очаровательное. Удивительным образом он пьянел вместе с нами, ни единой каплей не размыв репутацию успешного трезвенника.

Сидели за столом и другие талантливые люди нашего цеха. И не совсем нашего по ремеслу, хотя ремесло у приглашенной Поручиком красивой Ирины было творчески подходящее: режиссер документального кино. На вечере она снимала видео на телефон, а почему на телефон, а не на камеру, так это, она сказала, для творческой атмосферности. Она в то время делала документальный фильм о Поручике.

Этот одно время никем, как и настоящая литература, не финансируемый род творчества, задавленный глупыми сериалами, ужастиками и прочей дребеденью, востребовался и круто воспрял на теме киевского майдана и всех этих безумных, невозможных, казалось, украинских событий. Ирина в поворот истории вписалась после начала СВО. Она была ранена, но в своем фильме о взятии Мариуполя ни словом об этом не обмолвилась. Я как-то спросил ее почему. Она ответила, что мужчину шрамы украшают, а женщину нет.

Она была очень красивой, по-настоящему проснувшейся, но не голодной женщиной. На тонком ее лице грустили большие, косоватые в разрезе глаза.

Неизбежный и многослойный разговор завязался, естественно, только после третьей по счету, за нашим отдельным столом, рюмки. Первую подняли за нашего друга, только что отстрелявшегося на творческом вечере. Вторую Поручик предложил поднять за тех, кого назвал слугами и повелителями слова, то есть за нас. Мы этому и не противились, порядок есть порядок. Третий тост, за Ирину, неожиданно приватизировал сценарист Привалов.

Не скажу, что это было кстати; я ясно почувствовал некую преждевременность и даже неуместность тоста: резонно было бы услышать его, в честь единственной дамы, от Поручика. Но птичка, однако, вылетела. Как могла.

Тогда я попросил Поручика еще раз прочитать стихотворение о снеге. На вечере он, как водится, читал лучшие свои стихи, а затем и новые, и среди них сразу же запомнившееся стихотворение о снегопаде.

Мы тогда как будто увидели этот снегопад. Снежинки-слова, нагруженные мистическим очарованием, слетали из зари зимнего неба. Из тяжелых сине-свинцовых облаков, подсвеченных по дну мятежным алым светом. В тихом полете слова нежно, тревожно и, как ни странно, музыкально позванивали. В поэзии это бывает.

Я подумал, что, читая стихотворение на вечере, Поручик открывал свою душу. Сейчас он в нее всматривался. То есть он лучше прочитал. С болью.

И тогда я, тонко восхитившись его талантом, сказал, что давно думаю вот о чем: в прекрасные по результатам, хотя и не очень частые и не слишком продолжительные времена своего психического здоровья русская литература была моральной, пейзажной и всепогодной. То есть всерьез нравственной и изобилующей пейзажами и описаниями множества разнообразных природных явлений.

— И смертей-погибелей, — обронил Поручик.

— И их тоже, — согласился я. — У нас ведь все в один узел завязано. Только люди когда умирают, то они совсем умирают. А природа всегда воспроизводится.

— Заканчивай ты с этим контекстом, — сказал Поручик, но я не внял его пожеланию и продолжал: — Согласитесь, — вещал я, — Россия на эти явления богата до избыточности даже. Они зачастую даже жизни угрожают. А меня в отеческой, так, друзья, я хочу ее называть, литературе больше всего привлекают зимние картины, мотивы и настроения. Наглядно драматичные, а вместе с тем иной раз неподражаемо оптимистические. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись»... кто этого не помнит! Из-под пера гения вышло и прямиком в учебники. А оттуда в национальный культурный код.

Так вот, увлеченно повествовал я, из зимних страниц классики мне лично больше всего дороги те, на которых описывается метель. В юности любил про весну. Священную. Весна меня тогда будоражила как таковая, что тут удивляться. Это сейчас она меня всего лишь ненавязчиво веселит. А раньше будоражила.

— А лето? С летом как у тебя? — спросила тогда Ирина.

— Лето, — отвечал я, — ну что, Ира, лето. Пылкое. Страстное. Праздник. Но жарковато. Страшит радиация разгулявшегося солнца. Осень, Ирочка, я тоже люблю, особенно среднюю, когда очей очарованье, но еще сильнее позднюю. Предваряющую морозную и вьюжную зиму.

— Я, Ира, тоже обожаю лето. У меня действие всех сериалов разворачивается летом, — сказал Привалов.

Он был сейчас бестактно напорист, как в своих лентах, которые за отсутствием глубины насыщал громоздящимися проходными эпизодами.

Ира отреагировала мгновенно и коротко:

— Лето — это липкая кожа, Привалов.

Теперь все прояснилось с впечатляющей резкостью. И даже как будто какое-то общее облегчение наступило. Может, даже и Привалову-Длинноватому стало как-то легче после недвусмысленного отпора.

С этого момента встреча обрекла второе и весьма глубокое дыхание. После промежуточного кофе мы как следует выпили водки и стали доказывать друг другу, что в невероятно быстро летящем двадцать первом веке прекрасная литературная традиция исхудала, но не умерла. Ослабла, но не сдается. Выразительно-изобразительно поблекла, но зато теперь наши изголодавшиеся глаза, уши и личное чувство прекрасного сами по себе добавляют ярких красок и музыкальных звуков суховатым небрежным текстам.

Мы говорили, как нам казалось, интересно и искренне, но наверняка излишне пространно, чего в литературной среде, где все говоруны, делать не следует. Тут ведь каждый жаждет высказаться поподробнее. Ирина нас почти не снимала, а в разговоре участвовала лишь короткими, в десятку, репликами да неподражаемо выразительной мимической реакцией, но именно на эту реакцию мы сознательно или подсознательно, то есть по-мужски, ориентировались.

Мы спорили, уважая наш спор. В споре ведь иногда известно, что рождается. Истина, ха-ха. Ее ждут. Интересно же поглядеть на голую! Но чаще в споре всего лишь копится усталость от борьбы мнений. Переубедить все равно никого невозможно. Уж я-то знаю.

Со снегопада разговор перешел на гололед, но тут мы лишь скупо улыбнулись, а я так просто поморщился, а Поручик даже оскорбился в ответ на несмешной анекдот Привалова, вновь вдруг воспарившего на торопливой, проворной водочке. В анекдоте пьяница треснулся головой о новорожденный лед на Тверском бульваре напротив памятника Есенину. Чего тут смешного, спрашивается.

Дальше мы всерьез разговорились о метели. Не за окном, окон в нижнем буфете нет, а о метели у Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова, Державина, Ломоносова, Бунина, Кюхельбекера, Брюсова, Вяземского, Лермонтова, Жуковского, Некрасова, Лескова, Блока, Есенина, Пастернака, Твардовского, Гроссмана, Распутина, Астафьева, Белова...

Это я перечислил, кого запомнил. Поскольку соревновательно беседовали люди всерьез начитанные, то имен было много. Но мы слишком частили. Выигрывая темп, проигрывали качество. Так бывает не только в шахматах, но и в застолье. И в жизни.

Ближе к концу вечера я, полноты ради, вспомнил «Метель» Сорокина, но его повесть только я да Белинский читали; на мое добавление он заметил:

— У этого губа не дура.

Белинский сказал, что Евтушенко предложил на конкурс текстов для гимна России стихотворение «Идут белые снеги», и это был, что ни говори, поступок. Потом поэт-критик сообщил, что исследователи образа метели в русской литературе выделяют метель-страсть и метель-судьбу:

— В метели есть инфернальность. Литература ее обнажает. Смотрите, снег ведь белый, а метель изнутри серая, непроницаемая, без единой искры. Метель обманывает. Зазеваешься — она и судьбу опрокинет, и руки-ноги можно отморозить, и вообще помереть, — я сказал это, чтобы перевести беседу из вспоминательного в осмыслительное русло.

— Точно про инфернальность сказано! В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» кто метель затеял? — в разговор вступил медлительный прозаик Харитонов.

— Черт, — сказал Поручик.

— Гоголь, — засмеялся я. — Он и сам по некоторым признакам мистического свойства не был чужим в тех сферах, куда нам вход заказан.

— А туда пропусков не бывает. Понравиться надо. К нам же ко всем приглядываются, — негромко, но внятно проговорил как будто протрезвевший Привалов.

— Что к тебе приглядываться, тебя за твой блог черти и так своим числят, — засмеялся Поручик.

— Возможно. Хотелось бы, — еще тише обронил Длинноватый.

После этого, от греха подальше, следовало расходиться. У меня, однако, сам собой родился другой план. Я встал с рюмкой в руке.

— Мужики! Послушайте! Ирина, и ты послушай, чего ты улыбаешься! Тебе как режиссеру пригодится. Я был недавно в генеральской бане. Она так называется по традиции, но там, мне сказали, собираются исключительно деловые люди. Знакомый пригласил посмотреть на бизнесменов. Поизучать их. Правда, баня. Хорошая. Пили мы там крайне благородные напитки. Анекдоты были. Разговоры не политические. Без дам, учти, Ирина.

— Жаль, что без дам, — сказала Ирина. — Я бы не прочь.

— Дерзкая! — я сдвинул брови. — Забыла, что к беде неопытность ведет?

— А я бы с мужчиной туда пришла! А что, и я была девушкой юной. Я бы фильм сняла о мужской бане. Ты бы, Поручик, там стихи девушкам читал. Охота мне это снять, не могу какая охота. Или вы им стихи там не читаете? Там же у вас и с девушками не девушки главное. А что тогда?

Поручик отмолчался, а я продолжил:

— Никто тебе, Ириша, не ответит, потому что никто из нас не знает. Хотя мы все, мужчины, по-особому чувствуем баню, честно. Вот. Мы тогда договорились, что через месяц снова соберемся попариться. Деловые люди сказали, что для них, бизнесменов, договор дороже денег. Но никто, конечно, о нем не вспомнил. Кроме меня. Деловые оказались неспособными держать слово. Но мы с вами, слава богу, не деловые. Мы — люди творческие. А творчество — это, между прочим, есть точность высшего рода. Надо в душу прицельно попасть. Встречаемся через месяц? Ну, давайте встретимся! Здесь.

Меня поддержали единодушно. Отчасти чтобы поскорей разойтись, как мне показалось. Ирину, к моему удивлению, вызвался было проводить Привалов.

Ему было тактично, но непреклонно отказано. Ирина посмотрела на часы:

— Меня машина у подъезда ждет, я знаю. Уже семь минут. В ней человек. Саша, мой оператор.

Помолчала для паузы, чтобы Привалов уяснил информацию. Продолжила:

— Он просил тебе, Поручик, и всей честной компании кланяться, — Ирина церемонно поклонилась. — Жалеет, что никак не мог на вечер приехать. Я поэтому сама, за него, следила за тобой. Через камеру телефона. Так что извини. Ребята, я правильно поняла, что через месяц здесь же? С Сашей приду. Поручик, ты меня должен поцеловать и отпустить.

Она подошла к Поручику, сама поцеловала его и ушла.

— Летящей походкой ты вышла из зала, — пропел Привалов.

Я ехал домой в такси, сев вопреки привычке на переднее сиденье. Шел снег. Когда мы останавливались на красный светофор, он падал тяжелыми хлопьями сверху вниз, а когда ехали, он летел навстречу нам, разбиваясь о лобовое стекло. Дворники метались вправо-влево, неустанно смахивая его.

Я задремал.

В дреме ли, во сне ли я подумал, что Малевича прославил «Черный квадрат», а «Красный квадрат» и «Белое на белом» советские искусствоведы как будто и не заметили, рассудив, наверное, что у гениального супрематиста два этих цвета слишком уж напряженно и недвусмысленно взаимодействуют на идейной, а не на художественной почве. Они, два полотна-врага, были побеждены чернотой «Черного квадрата». А жаль. С красным все понятно, это страдание, а белый следовало трактовать как снег. Холодно. Чисто. Честно.

Отрезвляет после красного и черного.

Я вспомнил, как в детстве во внезапную сильную, лучше сказать мощную, метель, затмившую белый свет, мы с другом, ему было двенадцать, мне одиннадцать, наглухо заблудились в сосновом бору. Лыжи проваливались в рыхлый снег. Я ослаб до того, что стал засыпать. Васька тормошил меня, но я засыпал. Он сильно ударил меня по лицу. Разбил нос. Кровь полилась, не остановишь. Красная на белом снегу. Я взбесился. Хотел его тоже ударить, но вместо этого неожиданно для себя решительно показал напряженно вытянутой рукой, куда нам надо идти. Скоро мы вышли, уже не плутая, из бора, увидели дома. Васька потом говорил, что я нас спас. А я ему сказал спасибо за кровь.

Еще в такси пригрезилось мне, как я в шестнадцать лет поехал один, романтично, в меловой подземный храм Рождества Иоанна Предтечи. Это недалеко от города Лиски Воронежской области, где я родился. Храм вырублен в меловой горе. Сейчас туда туристов возят, там ведь, кроме храма, остатки старинной крепости, которую не смогли взять хазары, и вид на Дон и окрестности удивительно красивый и зимой, и летом.

В тот день огромное пространство под горой и до горизонта сияло под ярким полдневным солнцем белоснежным покровом. Контрастно, как на рисунке тушью, чернели на двух берегах безлистные деревья вдоль плавно изогнутой белой ленты реки и маленькие фигурки зимних рыбаков, склонившихся над лунками, похожими сверху на черные точки. Я вошел в храм, подсвечивая себе тусклым желтоватым светом карманного фонарика. Мне хотелось, как я задумал, пробыть в подземном меловом храме ровно полчаса. Во мне духовные процессы тогда бушевали. На двадцатой минуте фонарик погас. Время я узнавал по «командирским» часам со светящимися зелеными цифрами и стрелками. Через десять минут я вышел из пещерного храма на белый свет.

Но белый свет был теперь серый. Метель бушевала. Снежные полотна, клубы и потоки не пропускали солнца. Казалось, наступил внезапно зимний тусклый беспросветный вечер. Смутно стало на душе.

По обледенелой, извилистой опасной тропе я осторожно спускался вниз, к туберкулезному санаторию. Недалеко от него, через дорогу, была остановка моей электрички.

Когда она причалила к перрону и пошипела распахнувшимися дверями, мир уже радостно и обновленно сиял. Солнце торжествовало. Метельный заряд стремительно укатился далеко за горизонт.

Давно, как давно все это было.

Дома, приняв душ и попив чая, я уснул и снов той ночью не видел.

Время зимой идет быстро. Мне однажды позвонил Валера Поручик и сказал:

— Уговор насчет повторной встречи в ЦДЛ помнишь?

— Как не помнить, я же ее предложил. А что, месяц прошел?

— День в день. Приходи завтра к шести в ЦДЛ. Во что бы то ни стало. Я всех обзвонил.

— Кто-нибудь обязательно не придет, хотя мы люди творческие.

— Каждый за себя отвечает. Так что будь.

Мы собрались в Нижнем буфете. Ирина не пришла. Поручик сидел почему-то мрачный. Привалов выглядел как больной.

Еще не налили по первой, когда Поручик требовательно, почти властно, сказал:

— Давай, Привалов.

Привалов на глазах побледнел и стал говорить:

— Мы с Ириной пять дней назад улетали на Донбасс. С военного аэропорта «Чкаловский». Кто летал туда, тот знает. На десантном Ил-76. Самолет огромный, на борту гуманитарка, тюки, какие-то ящики там военные, медицинские сумки и коробки и секретное, наверное, что-то еще. Военные, журналисты, артисты. Чичерина с нами летела петь перед бойцами. Еще группа от «Мосфильма» и группа от телевидения. Я сперва лететь не собирался, но узнал, что Ирина летит, и лоб разбил о порог Министерства обороны. Вымолил себе разрешение. Нас встретили в Ростове-на-Дону. Разобрали по машинам, повезли. Ближе к войне. У Иры был оператор, ну, Саша ее. Он там, на месте, на следующий день снимал Ирину, а я, как умел, их двоих. Не для блога, клянусь. Хотя покажу, наверное, и там. Мы старались, Ирина просила, и я просил, чтобы нас довезли до того места, где война совсем рядом. Как можно ближе. Нас не сразу туда повезли, там же все строго до предела. Нас берегли. Там не так просто понять разницу между близко и далеко. Там снег выпал, все покрыл, все чисто, убитый лес только чернел страшно. Ирина хотела эту белоснежность снять, а потом с того же ракурса, когда и если будет тут орудие работать, или миномет, или танк, то все, она говорила оператору, все, Саша, тут изменится, исказится, все станет страшно. Где белый снег, там как саван он, наверное, будет. А где-то он будет черный, она говорила. И не дай бог, алая кровь на белом снегу. Она этой съемки страшилась, я видел, но она, главное, хотела снять людей на войне перед их работой и после их работы.

Он замолчал.

— Рассказывай, — сказал я.

— Но она ничего этого не сняла. Саша снимал со стороны. Взорвалось что-то! Смерть! На моих глазах. Смерть. Смерть.

Он не кричал. Он шептал.

— Что ты сделал тогда? — спросил Поручик.

— Закрыл ей глаза. Она в небо смотрела. А я ее любил.

Он замолчал.

Я увидел эти глаза. Она смотрела на нас. На меня. С неба.

Татьяна ОКОМЕНЮК

КЛУМБА С ПЕТУШКАМИ

Рассказ

Когда я учился в школе, родители каждое лето отвозили меня к бабушке в поселок Первомайский. Сами же уезжали укреплять здоровье на Черное море. В нашей семье считалось, что проживание с собственным ребенком двенадцать месяцев в году — непосильная нагрузка для родительской психики, поэтому летом отец с матерью «просто обязаны от меня отдохнуть».

Они были педагогами, имели длинные отпуска и могли долго наслаждаться тишиной, покоем и бездельем. Их искренне удивляли семьи с двумя и тремя детьми, с которыми они встречались на морском побережье. «Как можно сознательно портить себе отпуск несколькими отпрысками? — удивлялись мать с отцом. — Да и вообще — портить себе ими всю жизнь». Количество детей в семье, по их разумению, было обратно пропорционально родительскому интеллекту. Поэтому у меня не было ни братьев, ни сестер. Предкам и меня было слишком много.

Если вы думаете, что я был хулиганом, прогульщиком и бузотером, то ошибаетесь. Я был обычным школьным «заучкой» — очкариком, зубрилой и ботаном. Учился отлично, вел себя прилежно. Да и как могло быть иначе, если мамуля была моим классным руководителем, отец — завучем школы, и я собственным примером должен был демонстрировать остальным ученикам действенность их педагогических методов?

Работу свою родители не любили, учеников терпеть не могли. На мой вопрос, почему в таком случае они не поменяют профессию на любую другую, отвечали: «На это есть три причины: июнь, июль и август». Четвертой было местоположение школы. Она была в двух кенгуриных прыжках от нашего дома, что позволяло экономить время, нервы и деньги при достижении «точки Х» в часы пик.

Нулевые годы были теми печальными временами, когда строки Некрасова «Учитель, перед именем твоим / Позволь смиренно преклонить колени» потеряли свою актуальность. Педагоги стали «обслуживающим персоналом». Они больше не воспитывали, не формировали характер и мировоззрение, не были инженерами человеческих душ». Учителя оказывали «образовательную услугу», превратившись в коммерсантов среднего уровня. Таковыми были и мои родители. Они угрюмо отбывали свою «повинность», весь год мечтая о летнем отпуске.

Татьяна Владимировна Окоменюк родилась в 1962 году в Днепропетровске (Украина). Окончила филологический факультет Тернопольского государственного педагогического университета. Публикуется в литературных журналах Германии, Австрии, России, Беларуси, Греции, Бельгии, Франции, Чехии, США, Израиля, Латвии, Украины. Автор 30 книг художественной прозы, изданных в Германии, США и России. Лауреат литературных премий имени: А. С. Грибоедова, А. П.Чехова, А. Т. Твардовского, Л. Н. Толстого, В. В. Маяковского, святого благоверного великого князя Александра Невского. Живет во Франкфурте-на-Майне.

О последнем мечтал и я. У бабушки мне было куда вольготнее, чем дома, где меня все время заставляли писать сочинения и диктанты, читать книжки на английском языке и решать заковыристые задачки. В Первомайском же я мог весь день гонять на улице, являясь домой лишь перекусить, чтобы тут же вернуться к своим дворовым приключениям.

Бабушка жила в двухэтажном, построенном буквой «П» доме, во дворе которого была разбита большая прямоугольная клумба с бордюрными бородатыми ирисами желтого и фиолетового цветов. Местные жители называли их касатиками или петушками. Клумба эта делила внутреннюю территорию на две равные части. И если за мной гнались недруги из соседнего двора, достаточно было добежать до петушков, крикнуть: «Ба-а-а!», и в окне тут же появлялась бабуля, а вместе с ней и остальные бабушки, у которых все лето на кухнях не закрывались окна. Недруги это знали, поэтому гоняли наших ребят не дальше клумбы. Связываться со взрослыми они не решались, да и преследовали нас больше для острастки — чтобы отбить охоту ходить в их двор с «хитрожопой целью посидеть в чужой беседке и покататься на чужих качелях».

Странным образом клумба с петушками трансформировалась в моем сознании в своеобразный символ безопасности. Успел до нее добежать — все, ты «в домике», и никакой враг тебе не страшен. Бордюрные бородатые ирисы часто являлись мне во снах в качестве островка спасения от недоброжелателей, опасных передряг и жизненных невзгод. Они стали для меня настоящим фетишем, олицетворяющим защиту, покой и комфорт. Поэтому я с нетерпением ждал лета, чтобы в очередной раз сфотографироваться по ту сторону желто-фиолетовой клумбы.

Разглядывая в альбоме собрание моих «ирисовых» снимков, родители иронично вздыхали: «Какое-то психическое отклонение. Каждый год, взрослый уже, пацан, как детсадовская девчонка, запечатлевает себя в одном и том же цветнике. Совсем кукушечкой поехал».

Им было невдомек, что для меня, мальчика с низкой самооценкой и повышенной тревожностью, эта клумба стала точкой опоры. Той самой, которой должна была стать семья. Но последняя, увы, никогда не являлась моей крепостью, той пресловутой каменной стеной, за которую можно было спрятаться. Наоборот, она была полем боя, местом осмеивания и обесценивания моих поступков.

Дома я никогда не слыхал похвалы. Родители не замечали моих успехов, зато часто внушали мне чувство вины, не принимая меня таким, какой я есть. Они постоянно читали мне нотации и делали замечания, сравнивая с другими, более успешными, учениками.

Отец с матерью меня постоянно одергивали: «Ну что ты за тупица! Я в твои годы уже столько всего знал и умел!», «Криворукий! Лучше вообще не берись, раз не умеешь!», «Что это за манера ходить ссутулившись? Ты уже на Квазимодо стал похож!», «Почему ты вечно хмурый? Выражение твоей физиономии всегда такое, будто ты полакомился какашками».

Подобные замечания сильно разрушали мою самооценку. После них я становился еще более скованным, тревожным, робким и замкнутым. Начинал еще больше сутулиться и меньше улыбаться. Боялся знакомиться с новыми людьми, считая, что они непременно заметят мои внешние и внутренние недостатки и будут надо мной потешаться.

Я не помню каких-то минут нежности с мамой или разговоров по душам с отцом. Меня никогда не ласкали, не обнимали, не целовали. Между мной и родителями всегда была какая-то эмоциональная дистанция, лишающая меня чувства защищенности.

Отец с матерью искренне считали, что критиканством и муштрой лепят из меня настоящего мужчину, «за поступки которого им не будет стыдно перед обществом».

Отсюда и «железная дисциплина», которая была призвана «сделать из слюнтяя человека». Ложиться спать я должен был ровно в девять и ни минутой позже. Не в младших классах, а вплоть до выпускного. И когда наши ребята обсуждали какой-то сериал или телепередачу, транслировавшиеся после программы «Время», я был единственным, кто «отстал от поезда» и не мог поучаствовать в дискуссии.

Если же я вдруг опаздывал домой, родители могли не открыть мне дверь — «спи там, где гулял». Однажды мне пришлось ночевать у соседей, обнаруживших меня сидящим на холодных ступеньках у лифта. До сих пор не понимаю, как родные не боялись, что я уйду куда-нибудь ночью, и там со мной случится что-то плохое. Видно, были уверены, что такое трусло, как я, не рискнет фрондировать, зато на всю жизнь запомнит время начала «комендантского часа».

В доме у меня был ряд хозяйственных обязанностей, в том числе вынос мусора и выгул нашего пса Буяна. Однажды я совершенно забыл о собаке, и отец, разбудив меня среди ночи, отправил нас во двор. Натыкаясь на лавочки, деревья и столбики, я, сонный, полчаса бродил у дома, пока пес не сделал все свои дела. Уснуть после этого уже не смог, все думал о том, что, воспитывая меня, родители практикуют какие-то странные методы, годящиеся больше для пенитенциарной системы.

А однажды я проснулся ночью от страшной вони и обнаружил у изголовья своей тахты мусорное ведро. Что сие означало, понял сразу: это наказание за не вынесенный вовремя мусор. Матушка решила, что убойное амбре от рыбьих голов и кишок навсегда отучит меня игнорировать обязанности по дому. И она оказалась права: в напоминаниях я больше не нуждался.

Груз ответственности перед родителями всегда давил на меня бетонной плитой. Я никогда не был собой, пожизненно играя роль «образцового мальчика», который не имеет права на ошибку. Мне всегда очень хотелось, чтобы мама с папой мной гордились. Но делала это только бабуля, а дипломированные педагоги, «дабы не избаловать», предпочитали «держать отпрыска в ежовых рукавицах».

Все мое детство и отрочество я слышал произносимые родителями афоризмы: «Каждый сверчок знай свой шесток», «За одного битого двух небитых дают», «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку», «Я — последняя буква в алфавите», «Доверие хорошо, а контроль лучше», «Много хочешь — мало получишь», «Не можешь — научим, не хочешь — заставим», «Чем больше нас бьют, тем крепче мы становимся»...

Но крепче я почему-то не становился. Наоборот, все больше и больше терял чувство уверенности в себе и доверия к родителям. Мои проблемы и чаяния они игнорировали. На любую мою жалобу отвечали: «Не отвлекай нас своими глупостями! Займись чем-нибудь полезным!» или «Что ты все время скулишь? *Настоящие* проблемы у тебя еще впереди!»

И я перестал «скулить», особенно после перенесенного мной предательства. Предал меня мой друг Валерка Обручев, вместе с которым мы отдыхали на каникулах в спортивном лагере.

В день, когда я дежурил по корпусу, кто-то украл из кармана куртки нашего тренера небольшие деньги. Петрович выстроил нас в шеренгу и предложил виновнику самому признаться в проступке. Тот даже ухом не повел, зато мой друг Валерка вдруг произнес: «Это, наверное, Серега их умыкнул, в корпусе, кроме него, никого не было».

У меня земля ушла из-под ног. Это было первое предательство в моей жизни. Я покраснел до корней волос и готов был провалиться сквозь землю. Украсть деньги у своего тренера, хорошего знакомого моих родителей, для меня было немыслимо! Но самым страшным в этой ситуации стало то, что это абсурдное обвинение произнес человек,

которого я считал своим другом. С которым пять лет просидел за одной партой и делился не только бутербродами, но и своими секретами. Какая муха укусила его в тот момент, он и сам не знал. Сказал, что эта чушь вылетела из его рта непроизвольно и была обычной шуткой. К тому же Петрович все равно ему не поверил, покрутив пальцем у виска.

Валерка потом долго ко мне подлизывался, но общаться с ним мне уже не хотелось. Вернувшись из лагеря домой, я поделился своей бедой с мамой, поскольку очень нуждался в поддержке близкого человека. Погладь она меня тогда по голове и произнеси соответствующий моменту афоризм, типа:

И я порой терял друзей,
не потому, что — ротозей,
а потому, что есть друзья,
которых не терять нельзя[1],

я бы успокоился и забыл об этом казусе, как о страшном сне. Но не так судьба велела. Мама вечером рассказала обо всем отцу, и они вдвоем устроили мне «допрос с пристрастием», заставляя признаться в том, чего я не делал. Я, разумеется, не брал на себя чужую вину, но родители мне не поверили. «Не мог твой близкий друг просто так тебя оговорить, — сделал вывод отец. — Не бывает дыма без огня».

Допрос продолжался несколько часов. Родители сидели в креслах, я же стоял перед ними, как подсудимый. На часах уже была полночь, болели спина и ноги, слипались глаза, но условием прекращения экзекуции было мое признание. И я... признался — уж очень хотелось спать. Мне уже было плевать на то, что они обо мне подумают — лишь бы поскорее добраться до постели. В этот момент я чувствовал себя Галилео Галилеем, признавшим себя еретиком и покаявшимся перед судом инквизиции, но, выйдя за дверь, произнесшим: «И все-таки она вертится!» Увы, по натуре своей я не был Джордано Бруно, отправившимся за свои убеждения на костер. Я был героем стихотворения Евгения Евтушенко, который «знал, что вертится Земля, но у него была семья».

Была семья и у меня, и именно она преподала мне хороший урок: чтобы избежать родительского гнева, нужно держать язык за зубами. С тех пор я стал подавлять в себе все значимые эмоции и переживания. Перестал делиться со старшими проблемами и подробностями своей жизни, отгородился от них, потеряв доверие к их авторитету. Но это не всегда уберегало меня от очередной психотравмы.

В студенческие годы со мной произошел такой случай. Учился я тогда на третьем курсе. Учился на отлично, за что и получал повышенную стипендию. Моим любимым предметом был сопромат, люто ненавидимый всеми поколениями студентов. Преподавал его друг нашей семьи доцент Загорский, знавший меня с детства. Несмотря на близкое знакомство с преподавателем, к его предмету я готовился очень добросовестно. Каково же было мое удивление, когда на экзамене он стал вдруг меня сбивать своими замечаниями: «Молодой человек, вы льете воду. Переходите к сути», «Не сотрясайте воздух, отвечайте конкретно на вопрос!», «Не хитрите, признайтесь честно, что не подготовились к экзамену!»

Я растерялся и сильно расстроился. Загорский всегда обращался ко мне по имени и на «ты». Перейдя на «вы» и «молодой человек», доцент демонстрировал свою от-

[1] Поэт Владимир Карпеко.

чужденность и решимость поставить мне низкую оценку. На «неуд» он все-таки не решился, но «удовлетворительно» поставил с легкостью, бросив мне в спину: «К экзаменам, юноша, нужно готовиться, не уповая на былые заслуги».

Сказать, что я был убит этим событием, ничего не сказать. И дело было даже не в том, что, получив тройку, я лишился стипендии. Хотя деньги эти были для меня совсем нелишними. Самым страшным была непонятка: «Что же все-таки произошло?» К экзамену я был готов, отвечал по сути. Почему Загорский постоянно сбивал меня с мысли, не давая пояснить тезис? Как могло случиться, что я, отличник и перфекционист, в мгновение ока стал троечником? Что скажут на это родители, привыкшие к моим успехам?

Родители же повели себя странно. Узнав о результатах экзамена, отец, не глядя мне в глаза, процедил сквозь зубы: «Он прав — к сессии нужно тщательно готовиться», а мама привычно спряталась за пословицу: «Не все коту Масленица, будет и Великий пост!» Странным было то, что они ни разу не вспомнили об этой тройке и в дальнейшем всячески избегали разговора на эту тему.

Я же считал себя неудачником и продолжал страдать. Так же сильно, как и после ложного обвинения в краже. Переживания эти сказались на моей дальнейшей успеваемости: повышенной стипендии я больше не получал.

И лишь спустя десять лет мне стало известно, что виновником произошедшего тогда, был мой отец. Накануне экзамена по сопромату он здорово поссорился с Загорским на почве репетиторства, переманив к себе на занятия сыновей-близнецов известного в городе предпринимателя. Вот доцент и отыгрался на мне, парне, считавшем себя все эти годы тупым валенком и позором семьи.

А ведь этой психотравмы можно было избежать, скажи мне мама после экзамена: «Не переживай, сынок, это не твоя вина. Тройка — месть Загорского папе, перехватившему у него жирный кусок. Отец близнецов здорово помог нам материалами при постройке загородного дома».

Ведь могли же мне это сказать, но не сказали, побоявшись уронить свой родительский авторитет. Предпочли проигнорировать мои переживания, хорошо зная, как близко я принимаю к сердцу совершенные мной ошибки и промахи.

Свои детские травмы я несколько лет прорабатывал с опытным психологом. Узнав об этом, родители были неприятно удивлены.

— А тебе твой психóлух не сказал, что человек, который не может простить и отпустить прошлое, не имеет будущего? — нахмурил брови отец. — Оно и понятно: его задача — паразитировать на таких обиженках, как ты. Зачем вспоминать хорошее? Проще превратить клиентов в жертв родительского садизма и продолжать доить их кошельки.

— Какие травмы? Ты что, из семьи алкашей, бомжей или наркоманов? — закатила глаза мама. — Да у тебя в детстве было все: кружки, секции, репетиторы! Благодаря нам ты получил высшее образование, достойную профессию, хорошо оплачиваемую работу, необходимые навыки самообслуживания, позволяющие тебе прекрасно обходиться без мамок-нянек, свинья ты неблагодарная! А кто помог тебе защитить диссертацию? Кто купил тебе первую квартиру, когда ты надумал жениться? Плохие родители! Да если б не наши методы воспитания, ты давно б уже качался по наркологическим больницам, как твой одноклассник Петька Вахрушев. Или сидел в тюрьме, как Вадька Пастухов. Или лежал в могиле, как Санька Каморзин. Сваливать свои внутренние проблемы на родственников — эгоистичная позиция инфантильной личности. Игорь Губерман о таких, как ты, сказал:

Не стоит скапливать обиды,
Их тесный сгусток ядовит,
И гнусны видом инвалиды
Непереваренных обид.

Мы с отцом сделали все от нас зависящее, чтобы ты стал достойным, уважаемым членом общества!!!

Да, с этой целью родители и в самом деле справились: я не стал ни алкашом, ни наркоманом, ни уголовником. Сегодня я — ценный специалист, руководитель научной лаборатории, обладатель нескольких авторских свидетельств, хороший муж и, надеюсь, хороший отец.

Своих сына и дочь я воспитываю совершенно иначе — в обстановке уважения к личности и взаимного доверия. Отпуска мы проводим только вместе. Я в курсе всех их проблем и чаяний. Мы с супругой никогда не повышаем на них голос, часто обнимаем и говорим о своей любви. Мы отмечаем каждый, даже самый незначительный успех отпрысков, не скупимся на похвалу, гордимся ими, даем им право выбора. Для нас дети всегда — на первом месте, и я изо всех сил стараюсь дать им то, чего в свое время не получил сам: безусловную родительскую любовь и принятие, доверие, понимание, ощущение безопасности и поддержки.

А свою квартиру в «доме с петушками» мне завещала моя бабуля. Именно на деньги, вырученные за ее продажу, мы с женой и купили потом однушку в областном центре. Родители тогда дали нам лишь несколько «ценных» советов.

В Первомайском я не был со дня похорон бабули, но этот поселок остался со мной навсегда. Я заказал знакомому художнику картину в полстены «Клумба с петушками», и как только в моей жизни что-то происходит не так, я представляю себя в зоне безопасности, по ту сторону цветника с огромными бархатными ирисами, и в моей душе тут же воцаряются гармония и полный дзен.

Алексей САВЧЕНКО

ПТИЦАМ ТЕСНО В НЕБЕ

Повесть

ПРЕДИСЛОВИЕ

Живущий в бывшем Кёнигсберге, а ныне Калининграде А. Савченко (1970 года рождения), что называется — бывалый человек. Окончил «мореходку», филфак университета, Высшие сценарные курсы ВГИК. Работал на рыболовецких траулерах, предпринимателем, строительным реставратором, сценаристом и продюсером игровых короткометражных фильмов. Лишь потом поступил на ВЛК Литинститута.

Он талантливый прозаик, великий выдумщик сочинил эту замечательную авантюрно-фантастическую повесть о чудесах, страстях и трагикомедиях, вершащихся в городе с характерным названием «Ка», бывший «Ке».

Прекрасно выписаны и индивидуально поданы ВСЕ персонажи этого текста, начиная со Святого Пьяницы и заканчивая незадачливым мэром удивительного города, полного тайн и несуразностей. Лихо закручен сюжет с гигантским астероидом, чуть было не погубившим нашу планету, чью смерть предотвратили смышленые граждане города. Почти все здесь выдумано, и почти всему веришь. Благодаря таланту и писательской пластике А. Савченко.

Я считаю, что эта повесть вызовет несомненный интерес у читателей, которых у нас в стране до сих пор полным-полно, как бы маловеры ни утверждали обратное.

Евгений ПОПОВ

...Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря...

Иосиф Бродский. Письма римскому другу

ЧАСТЬ 1

В глухой провинции у моря, в городе Ка, кипели две страсти от двух новостей. Вторая сильнее, а первая «слабже». Горожане сходили с ума. Разные социальные страты сходили с ума по-разному...

Первая новость: к Земле приближался огромный беспризорный астероид. Пользователи соцсетей прозвали его Мухаммед[1] — в честь кулака покойного ныне боксера, размозжившего немало челюстей. А вторая... Фракция депутатов от Ка под названием «Единатория» подавляющим большинством голосов продавила нормативный акт

[1] Мухаммед Али (при рождении Кассиус Марселлус Клей-младший, 1942—2016) — американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, один из самых известных боксеров в истории мирового бокса.

«О запрещении трамвайного движения на территории Ка» — всенародно избранный мэр Икар Оскарович Фройзман был против.

Мы как раз успели к финалу решательного закрытого голосования в помещении мэрии. День, лето, а докладчик-депутат завершал скучную речь скучным голосом:

— ...Итак, резюмирую... Опосредованные социологические опросы[2] жителей выявили, что трамвайное сообщение есть архаизм двадцатого века. А вот высвободившиеся от трамвайных путей земельные участки и снятые с них обременения охранных зон в случае подачи на публичные торги пополнят городскую казну денежными средствами для решения острых социальных проблем и разгрузят дороги от автомобильных пробок. Это есть прогресс, инновационный рывок и ощутимые инвестиции частного капитала в городскую инфраструктуру. Одним законом мы решаем три насущные вещи, согласные последнему посланию. Сметы нами просчитаны и утверждены. Регламент ликвидации убыточного трамвайного депо принят всеобщим собранием трудового коллектива. Закон «О запрещении трамвайного движения в городе Ка» рассмотрен депутатами и принят в трех голосованиях сразу. Мы последний регион, который не имеет подобного законоположения. Это позор. Это недопустимость несусветная. Надо честно признаться в своих ошибках и срочно исправить их. Дело осталось за подписью мэра. Если это будет сделано им сегодня, то уже ночью информация о ликвидации транспортного предприятия появится в официальном телеграм-канале мэрии и нормативно-правовой акт мгновенно вступит в законную силу. Следующим утром на улицы города из депо не выйдет ни единого транспортного средства, а мы сможем приступить к демонтажу трамвайных путей и продаже на публичных торгах земельных участков, что благотворно скажется на счетах городской казны. План наш весьма прагматичен, реалистичен и скор в исполнении. А к чему тянуть-то? Правда, наша фракция встречает сопротивление со стороны всенародно избранного мэра Икара Оскаровича Фройзмана, но мы считаем его противостояние принятию нашего прорывного акта банальной местью за упрощение выборности первого лица города с первого января следующего года, когда вступит в силу закон, принятый областной думой и также поддержанный нашей фракцией. Посему из уважения к последнему мэру мы согласились оставить и последний трамвай. Маршрут номер восемь! — засмеялся депутат, а следом за ним и зал. — Простите... Исключительно для туристов, отдавая дань «европейскости» нашего горячо любимого города. Но только до конца текущего года. А зачем нам эти трамваи, коллеги? Ведь правда же? Спасибо за внимание, коллеги. Хорошего вам дня, коллеги.

Под выступление спикера трудно было удержаться, чтобы не вздремнуть. Что и делало большинство народных депутатов — они спали.

Их разбудил всенародно избранный мэр! Мэр поднялся на трибуну и колотил о тумбу собственным ботинком от «Армани», отстаивая трамвайное сообщение. Будил остатки совести в солидных дяденьках и паре тетенек-депутаток, сидящих в зале.

— Зачем трамвайное сообщение? — Фройзман побагровел, а когда он багровел, то начинал говорить на украинском языке, поскольку родился и вырос под Житомиром. — Щоб було![3] — закричал мэр города депутатам. — Як в Чехії!

— Двадцать первый век на дворе! Вы еще конки по городу пустите! И что это вы, господин мэр, на украинской мове заговорили? — послышался окрик одного из депу-

[2] Опосредованный (заочный) соцопрос может осуществляться по телефону, через сеть Интернет, почтовые письма и т. д. Для его проведения, как правило, составляется специальная анкета с вопросами, которую заполняют респонденты. Результаты этого анкетирования интерпретируются для получения нужных социологу данных.

[3] Чтобы было! (укр.).

татов «Единатории». — Мы осведомлены, откуда вы родом, но теперь это недружественное нам государство, хоть и с братским народом. Говорите на китайском, узбекском, зимбабвийском на худой конец — не надо нам тут «гыкать»! Городу нужны нанотехнологии и стартапы, а не ваше допотопное трамвайное сообщение. Время на раскачку вышло! Все!

Смех, аплодисменты и улюлюканье раздались с мест зала голосования.

— Так що ви, хлопці?! Хіба народ не розуміє?[4] — взял себя в руки мэр на трибуне и перешел на русский: — Ликвидация депо производится ради земельных участков для точечной застройки в центральных районах города! За кого вы горожан принимаете? Земля теперь стоит миллионы! Да когда вы наедитесь землей-то этой? Все мы смертны — рано или поздно в нее и уйдем! Жри ее потом от пуза, лопай! Что ж вы работников депо безработными делаете-то? Что ж вы их на улицу выгоняете? Там женщины и бабульки пред- и пенсионного возраста! А тебе-то, Гаврила, не стыдно? — обратился он к руководителю предприятия. — Ты ж этот законопроект поддержал! Своих акционеров облапошил! Сам, своими руками, давишь собственное предприятие! Алену, бабу свою, придуши, если руки чешутся! Небось участочек присмотрел себе под застройку? Где? Поделись секретиком? Никому не скажу!

Гаврила Гаврилович, генеральный директор трамвайного депо, покраснел и, задохнувшись от возмущения, вскочил с депутатского кресла:

— Я, Икар Оскарович, не посмотрю, что вы еще мэр! Не позволю! Оскорблять себя публично! Сами-то, поди, не святой!

— А непублично, значит, можно? — завелся с пол-оборота мэр. —Морду тебе набить не публично, а? Ты же мне обещал, Гаврила! Уверял, что на моей стороне! Да, я не святой! І горілку люблю, і дівок за сиськи потискати! А що?[5] Холост и в расцвете сил, как Карлсончик из мультика! За это народ меня любит и выбирает третий срок подряд! По земле хожу, с народом не брезгую обниматься! И старых друзей не предаю! А разрушать коллективное предприятие, коему семьдесят восемь лет, а если считать от славных имперских времен, когда наш город был еще не гордым Ка, а бюргерским, мещанским по-нашему, Ке, то и все сто двадцать с хвостиком — не позволю! Костьми лягу, а не позволю! А за выборность мэра мы еще поборемся! Посмотрим, чья возьмет, иуды...

Ударил в последний раз по трибуне изящным ботинком и покинул зал.

Гаврила Гаврилович, пунцовый от подскочившего вмиг кровяного давления, ерзал в своем депутатском кресле и шипел: «Ну это мы еще посмотрим, кто кого, Карлсончик... Ляжешь еще костьми...» После окончания заседания он отошел от товарищей-депутатов «Единатории» и кому-то позвонил по мобильному телефону.

— Привет, это я. У меня вопрос: кто утвердит закон, в случае... если мэр... м-м-м... не способен утверждать? Вице-мэр? Он же наш, так? Хорошо. Пусть подписывает, я все решу... Зуб даю. Достаточно? Ну и ладушки...

* * *

А по улицам и зауличью провинциального города Ка в шесть двадцать утра следующего дня, переваливаясь, курсировал трамвай номер восемь. Старый. Чешский. Разбитной. Семидесятых годов «Tatra T2SU» — не разобрать уже названия, стерлось.

В те же шесть двадцать две дворничихи, старшая бабка Катря и молодая узбечка Феруза, приступили к инспекции подконтрольных им территорий от улицы Каштановой до Фестивальной аллеи. Обе в красивых кислотно-желтых, светящихся от света

[4] Да что вы, ребята?! Разве народ не понимает? (укр.).

[5] И водку люблю, и девок за сиськи потискать! А что? (укр.).

фар проезжавших машин безрукавках, выданных им клининговой компанией. Толкали перед собой бэушные детские коляски с пакетами мусора, вениками, метлами и ведрами. У бабки по старшинству коляска была от двойни. Останавливались и мели на разворотном кольце, где трамвай номер восемь стоял и жужжал электрическими трансформаторами, заполняясь пассажирами.

Пожилая дворничиха кивнула на вагон:

— Последний.

Молодая недоверчиво буркнула:

— Первый же?

— Дура! Посмотри на окна! Последний трамвай в городе.

Феруза окинула лобовое стекло взглядом.

— Восьмой.

— Все трамваи на иголки пустили. Не слыхала, что ли? В телеге, на «Клопсе» в полночь прописали: «Этот — последний!» Понаехали тут-мана... Паспорта понаполучали, а городских новостей читать не хотят. Запретили трамваи, дурында!

— Как курение в общественных местах? — спросила Феруза.

— Типа того...

Вагон был полон народом. Не трогался. В открытые двери по ступеням поднялся бородатый и волосатый мужик неопределенного возраста. Протиснулся к схеме трамвайного маршрута, приклеенной к стеклу за спиной вагоновожатой. Водил пальцем по истертой временем карте. Путь следования по городу был схож с восьмеркой — мужик удовлетворенно хмыкнул: «Тот самый».

Кондукторша, женщина с противным высоким голосом, дернула его за рукав:

— Мужчина, платить будем?

Тот обернулся на визг, поморщился от него — сумка-мошна, живот, протянутая в его сторону ладошка-лодочка. Набрал воздуха в легкие и зычным, хорошо поставленным голосом произнес:

— «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним...»

Кондукторша, прищурилась, сбитая с толку, переспросила:

— Чи-и-и-во? Ну, работала я в налоговой... деньги давай!

— «И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим...» — продолжил мужик.

— Ты мне зубы не заговаривай, плати двадцать восемь рублей или покажи пенсионное удостоверение!

— А «когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его», ибо «не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».

Пассажирка-бабушка с медицинской маской на лице перекрестила маску:

— Юродивый. Точно. Их святыми делают. Грешно с такого билет требовать, женщина.

— Вышло время! Время последнего кредита! Послушайте, братья и сестры, — истину глаголю! Ибо погряз в грехах, аки в шелках, род человеческий! — говорил юродивый.

Кондукторша заверещала, перебивая, мужика:

— Это куда ты меня возлежать с утра зовешь, порядочную женщину, а? Нарезался? Пьянь беспробудная! Зи-и-и-н! — завопила она вагоновожатой. — Не закрывай двери! У нас безбилетник! Платить отказывается, святой пьяница!

Мужик смерил женщину взглядом:

— «Встретил даму неописуемой красоты, очень нарядную: в пальто джерси, глаза подбитые. Уронила свой милый газовый шарфик под мои ноги. Могла бы завязаться любовь, но не было денег»[6].

Кондукторша задохнулась от гнева в замешательстве, ощупывая серыми от монет подушечками пальцев веки.

Из будки водителя вышла суровая лицом, полногрудая, с лишне расстегнутой пуговкой в декольте Зина:

— Что еще за безбилетник святой?

Бабушка-пассажирка в маске перекрестила салон и проговорила:

— Может, он батюшка или дьякон? Святым отцам можно без билета — президент разрешил — приравнял к детям...

Мужик, улыбаясь, окинул глазом вагоновожатую с головы до ног:

— «Почка сочила кровь на блюдо с рисунком из ивовых ветвей: последняя. Он стоял у прилавка следом за соседской прислугой. Возьмет ее или нет? Она вычитывала по пунктам, держа в руке списочек. Руки потрескались: от стирки. И полтора фунта сосисок Денни. Взгляд его приковали мощные бедра...»[7]

Зина покачала головой удивленно:

— Ничего себе святой!

Мужик откровенно уставился на ее грудь, талию и ниже:

— «...Свежая кровь. Ухажеров не разрешают. Руки крепкие. Выбивала ковер на веревке. Серьезно выбивала, я вам скажу. Юбка сбилась на сторону, взлетала с каждым ударом...»[8]

Дама оглядела себя — и правда! Смущенно поправила на крутых бедрах сбившуюся юбку.

Кондукторша — бабушке-пассажирке в маске:

— Да какой он батюшка, бабушка? Охальник он. Возлежать предлагал! Мне! Я на Доске почета депо вишу четырнадцать лет!

Бабушка-пассажирка в маске:

— Ну а что? Батюшки сейчас и «Мурку» поют — наш президент одобрил...

А мужик продолжил цитировать Джойса сбитой с панталыку женщине, застегивающей пуговку на груди:

— «...Догнать и пойти за ней, если недалеко еще, следом за колыхающимися окороками. Недурно, как первая утренняя картинка. Да поживей ты, тьфу. Куй железо, пока горячо...»[9]

Пальцы Зину не слушались — проклятая пуговичка на груди! Пассажиры с пронизывающими улыбками следили за пальцами вагоновожатой.

Кондукторша заорала на Зину:

— Да зачем ты бомжа этого слушаешь? Да какой он, к чертям, дьякон, Зин?! Он твою задницу окороками обзывает — а Зина краснеет! Ща мы тебе все сосиски Деннины твои оторвем, кобелюга проклятый!

Вопль кондукторши вывел вагоновожатую из словесного гипноза.

Экипаж принялся выталкивать взашей упирающегося пьяницу, прорицавшего на весь вагон и округу свои откровения:

— В день, когда на улицы выйдут лыжники с палками, но без лыж, когда столетние девы постигнут заокеанскую избирательную систему, а с небес посыплются мэры, аки

---

[6] Евгений Попов. «Каленым железом».

[7] Джеймс Джойс. «Улисс», перевод В. Хинкиса, С. Хоружего, комментарии Е. Гениевой.

[8] Там же.

[9] Там же.

прошлогодние листья, — попомните тот день, ибо он последний! И остановится земля, и врежется в твердь ея камень вселенский, скоростью в одиннадцать махов, и погубит род человеческий! Уверуйте! Матерь Спасительница сбережет вас, окаянные! Та, о которой рек святой Венедикт! Та, у которой много имен, белые глаза и косица до попы! Покайтесь! Пока... есть время... Доверьтесь! Я есмь проводник ко спасению! Приведу к ней! Ибо писано в скрижалях утерянных: «Потеряют облик человеческий, тела в шары, перекати-поле превратятся, из голов антенны будут торчать, а на пузах экраны дьявольские!» Станут они вспомогателями-спешниками! Откройтесь! Услышьте меня, черствые люди! Трамваи крутят землю вокруг ее оси! Трамваи!

Пассажиры вагона расхохотались до слез от слов проводника ко спасению.

— Иди-иди! К дружкам своим, пьяницам святым, безбилетник! — прогорланила кондукторша.

— Смейтесь, смейтесь! Смех никому не вредит! От него шишки на лбах вырастут, как грибы! — голосил бородатый.

Кондукторша и Зина вытолкали пьяницу из вагона. Тот упал на тротуар к ногам двух дворничих — бабы Катри и Ферузы, перевернув коляски с ведрами и метлами. Двери трамвая закрылись.

— Жилистый какой попался...— натужно дышала Зина.

Пассажиры притихли.

— Ты смотри, какой упертый! Понажрутся бояры, а после норовят в тепле отоспаться. На халяву. Пьянь. Терпеть их не могу! Сколько мой нервов истрепал, покуда не выгнала обормота в подвал. Бог уберег, хучь не прибила! Сам помер от пьянки. А ведь руки чесались... Я теперь их за версту чую, — не умолкая, бормотала кондукторша, вытирая носовым платочком пот со лба и в ложбинке между грудей.

А пьяница надсаживался, размазывая ладонью юшку под носом:

— Солнце мертвых зазвучит над градом! Вернетесь еще ко мне, склочные дамы! С «Зубровкой» в руках! Умолять будете! А стервозность у баб от недосыпа с мужиками!

Кондукторша на весь вагон аж загоготала.

— Ну я не могу от такой наглости, Зин! Ваще, оборзели городские святые! То возлежать, то сосиску, то окорока. А теперь, еще и «Зубровку» ему подавай! Распустили мы мужиков! Услышьте меня, добрые женщины! Встарь они с нас пылинки сдували: «Пожалуйста, мадемуазель! Будьте любезны, мадам!» Прежде мы их вот где держали! — кондукторша сжала пальцы в кулак. — Нынче-то что происходит? Ща отвечу ему! Вода не держится в одном месте — язык чешется!

Высунулась через форточку трамвайную, заорала в ответ мужику, которого поднимали и отряхивали от земли две дворничихи:

— Слышь, алкаш, а?! Анекдот про перспективку слышал?

Дядька ухмыльнулся:

— Знаю, знаю сию экономико-эротическую историю. С Шариком в главной роли? Промолчи, женщина. А то сбудется...

— Ах ты ж... проныра! — поперхнулась, клокоча в бешенстве, кондуктриса.

— Шарик на тебя не позарится! В отличие от меня... — и подмигнул ей.

Кондукторша фыркнула и захлопнула форточку! Трамвай медленно поехал, искря, по городу. В вагоне стало совсем тихо. Про переполох уже и подзабыли...

* * *

Две старушки заняли места для инвалидов — на двоих лет двести. Одна поправила слуховой аппарат и во весь голос обратилась к соседке:

— Марь Санна, телевизор вчера смотрела?

— Смотрела, смотрела... — так же громко ответила Мария Александровна.

— Так кто победил — Трамп или Хиллари? Кто президентом-то у них теперь будет? У меня давление скакнуло — корвалолу напилась, задремала и пропустила данные экзитпола. Как там мои республиканцы?

Мария Александровна гаркнула подружке в слуховой аппарат:

— Дура ты, Римка! И всегда ею была, Римма Андреевна! Оттого, что за республиканцев! То-то и Федька тебя замуж не взял. Так в девках и помрешь!

— Ой-ой-ой! А сама-то, сама — Магдалина, поди?.. Много ли у тебя с Федюней было? А я отвечу: ни разика! Федюня мне клялся! В телевизоре узнала, даже записала, что у тебя с ним было... — возмутилась Римма Андреевна.

Порылась в карманах, достала мятый тетрадный листок в клеточку — на нем старческим почерком было выведено: петтинг[10].

Мария Александровна обиделась во все горло:

— Не Магдалина, а было. Дура! В нижнюю палату конгресса победили мои демократы! Республиканцы твои проиграли!

— Поди ж ты! — сокрушенно и расстроенно протянула Римма Андреевна. — Я давеча на Дональда свечку поставила. Сорокарублевую. Значит, не ту? А любил Федюня меня... — и высунула язык, дразня подругу.

Мария Александровна отвернулась к окну.

— Господи, дура дурой! Дурой и помрет... — прошептала она стеклу.

Кондукторша, Зина-вагоновожатая, а также все пассажиры вагона, слышавшие беседу двух старушек, недоуменно переглянулись.

— А что, правда демократы выиграли? — послышались вопросы в салоне.

— А-а-а-а! — внезапно вскрикнула кондукторша на весь вагон.

Все с испугу дернулись от пронзительного крика.

Зина обернулась от «руля»:

— Ты чего, мать?!

Кондукторша трясущимся пальцем показывала на что-то за окном.

— Л-л-лыжники... — дрожащим голосом произнесла она.

Пассажиры повернули головы в указанную сторону. По вагону прокатился изумленный говор:

— Без лыж... — Сквозь стекла была различима группа идущих куда-то пожилых женщин в смешных вязаных шапочках, с палками для скандинавской ходьбы в руках.

Бабушка-пассажирка перекрестила медицинскую маску, прикрывающую ее рот:

— А может, мы зря... его... того... батюшку-то...

ЧАСТЬ 2

На последнем этаже кирпичной двадцатиэтажки — роскошный пентхаус Икара Оскаровича. По его стеклам били блики светомузыки. Окна были раскрыты. Навстречу восходу из колонок выливались на еще спящий город киловатты рэпа. Вечеринка в квартире близилась к финалу. Пьянющий к утру мэр приветствовал новый день красным сухим, грузинским — тянул руку с бутылкой к светилу, ловил ею первый лучик.

— Сейчас поймаю его, ребята! Сейчас напою вас солнцем!

Позади раздались нетрезвые выкрики многочисленных гостей:

— Солнцеед ты наш! Солнцеликий ты наш!

[10] Петтинг — форма сексуальной активности между партнерами без непосредственно полового акта.

— Первый мне! — раздался вкрадчивый, бархатистый, как цветы на могилке, женский голос.

Мэр, стоя перед открытым оконным проемом, огороженным от бездны французским балконом, поперхнувшись, оглянулся:

— Зараз, зараз, моя солоденька... Перший промінчик для тебе![11]

Уперся в ограждение коленями.

— Лучик, лучик, ловись... — бормотал усталым голосом мужчина.

Внезапно из темноты угла, из-за ночной шторы, чья-то злая рука толкнула мэра в спину. Фройзман закачался, опираясь руками за воздух, и... перевалившись через французские перила, полетел с двадцатого этажа навстречу тротуару. Гости ахнули! Подбежали к балкону и, свесившись через оградку, следили, словно завороженные, за падением хозяина квартиры. На расстоянии двух этажей от земли мэр упал на рекламные растяжки, и его подбросило снова вверх, как на батуте.

— Парит наш Икар! — не удержался от комментария один из гостей.

Затем тело снова полетело вниз, прорвало баннер, рухнуло на покатую, натянутую барабаном маркизу над входом в элитный подъезд дома и было отброшено ею к трамвайным путям.

Музыка в пентхаусе стихла. В тишине послышались звуки падающей мебели, звон разбитых бокалов, топот и цоканье торопливых каблуков башмаков и туфель — это гости разбегались, как тараканы от травли...

* * *

— Да чтоб тебя! — резко вдавила тормозную педаль до упора в пол вагоновожатая Зина, примагнитив вагон к рельсам силой в двадцать тонн.

Стоящие пассажиры попадали на пол. Сидящие ударились головами о передние сиденья. У обеих категорий граждан на лбах моментально выросли шишки.

— Убил-и-и-и! — пронесся истошный крик по вагону.

Зина в истерике закрыла лицо руками:

— Невиноватая я! Он сам на рельсы звезданулся!

Торопливые пассажиры, толкаясь, выбежали из вагона. Обступили человеческое тело, лежащее рядом с рельсами...

— Это ж наш мэр... Сбили трамваем орлика! А мог бы еще летать и летать, — зашептали.

Послышался вой полицейской сирены. Через толпу протиснулся младший лейтенант, с повадками лейтенанта старшего[12].

— Расступитесь, расступитесь, горожане! Руками ничего не трогать, граждане! О мой бог!.. — младший лейтенант, зажав рот ладонями, забежал за трамвайную остановку: его вырвало.

Перед вагоном в луже вина, как в крови, лежал мэр. В осколках бутылочного стекла переливался бликами первый солнечный луч.

Младший лейтенант, вернувшись из-за остановки, склонился над телом и начал прощупывать пульс на сонной артерии двумя дрожащими пальцами, отвернувшись от потерпевшего.

Раздался рингтон его мобильного телефона куплетом из рэп-песни: «Катали ваше солнышко шкалик да хлеба корочка, пела песню соечка — клевала с подокон-

[11] Сейчас, сейчас, моя сладенькая! Первый лучик для тебя! (укр.).

[12] Дорогой мне читатель! Не удержался и вставил в свой текст замечательную фразеологическую находку Довлатова из повести «Ослик должен быть худым». Чтоб ты не забывали (прим. автора).

ничка, лунный мотылек, ты лети на костерок — там, где лысый бережок сыпет пьяненький дьячок...»[13]

Полицейский с трудом выудил смартфон из кармана форменных брюк:

— Скважин! Да, товарищ генерал! Умер мэр. Рельсы в крови... — Прослушал приказ и нажал отбой.

Поднялся с колен. Сфотографировал тело и отправил фото кому-то по вайберу.

По толпе пронесся рокот:

— Сбылось. Все сбылось, что волосатый говорил! Святой, значит. Да? Пророк?

Зина, в истерике заламывая белые руки в синяках, запричитала:

— Он сам упал! Что теперь со мной будет, товарищ милиционер? У меня дитя. Несовершеннолетнее! Ипотека! Потребительский кредит за матрас! Мать лежачая! На матрасе.

— Да заткнись ты! — гаркнул на нее полицейский, стараясь не смотреть ни на труп, ни на Зину. — Он рядом с рельсами лежит. Не видишь, что ли? Идиотка? И не милиционер я — полицейский! Когда вы все привыкнете? Твою мать лежачую...

Зина посмотрела на труп мэра другими глазами.

Действительно. Мэр, рухнув из окон многоэтажки, не долетел до ее рельсов с полметра. Зинаида перестала истерить душой. И от души радостно высморкалась в угол оранжевой трамвайной жилетки.

Младший лейтенант снова зачем-то присел на колени, что-то рассматривая на земле преступной, — и все пассажиры тоже присели и стали изучать плитки тротуара. Он поднялся — и все поднялись вслед за ним. Задрал голову кверху — и все задрали. Над ними и трамвайными путями в небе полоскались на ветру и хлопали драные рекламные растяжки, точно простыни на итальянских бельевых веревках.

И тишина...

Ее вновь разорвал звонок телефона младшего лейтенанта: «Катали ваше солнышко шкалик да хлеба корочка, пела песню соечка — клевала с подоконничка, лунный мотылек, ты лети на костерок — там, где лысый бережок сыпет пьяненький дьячок...»

Зина, заикаясь, толкнула кондукторшу локтем, кивая в сторону молоденького полицая:

— «Солнце мертвых». Гнойный. Оболтус мой его слушает. Все, как безбилетный говорил. Ты, это... Мать... Где алкашку[14] купить в такую рань? Знаешь?

Кондукторша еле шевелила помертвевшими губами.

— У хачей. В «Сове». На Фестивальной. Там круглосуточный. Менты крышуют. Мой туда ходил ночами, пока не... — она вдруг замолчала.

Младший лейтенант, переговорив по телефону, сел в белый «рено-мобиль» и приляпал рукой через водительское окно магнитную мигалку на железную крышу. Автомобиль завелся.

Люди в недоумении переглянулись. Кто-то прокричал из толпы в спину отъезжавшей с места происшествия полицейской машине:

— Труп! Труп забыли!

— Оставьте себе! Хороняки! — огрызнулся младший лейтенант.

* * *

Пассажиры и не заметили, что труп давно открыл глаза и уже взирал ими в самую высь поднебесную. Там в вышине над ним летали две хищные птицы — чайка и воро-

[13] Рэпер Гнойный, песня «Соечка» из альбома «Солнце мертвых» (2017). Источник: http://main-lyrics.ru/slava-kpss-soechka-tekst-pesni-slova-pesni.

[14] Алкогольная продукция (жарг. и разг., собир.).

на... Порыв ветра снес чайку, и она врезалась в ворону. Обе кувыркнулись, недовольные, сцепившись в воздухе: не поделили небо. Перья летели, клевали друг дружку в кровь, не замечая, что сами падают на... А опомнившись, разлетелись в разные стороны на хромых крыльях.

Заговоривший труп мэра произнес меланхолично:

— Птицам тесно в небе...

Все резко обернулись к говорящему. Тот уже пытался подняться на ноги. Но это ему не удавалось: сломанные ноги не слушались. Бабушка-пассажирка натянула медицинскую маску на свои глазницы и повалилась в обморок около городского главы.

Зина, губы и руки которой тряслись, как от озноба, скомандовала пассажирам на фальцетной ноте, заикаясь:

— По вагонам, м-марамойки!

Пассажиры, пятясь от мэра, в точь телевизионного зомби, залезли в вагон, оглядываясь.

— Бабку тащите в салон! — приказала Зина срывающимся голосом.

Но ни один даже не сдвинулся в бабкину сторону, опасаясь сидящего на земле Икара Оскаровича, словно чумного.

— Все и всегда надо делать самой! Мать! Где ты там? Хватай старую за ноги! — Зина с кондукторшей закинули обморочную бабульку в вагон, как если бы двадцатипятикилограммовый мешок с цементом, и запрыгнули в него сами. Двери закрылись.

— Меня возьмите с собой! — слабым голосом попросил Фройзман.

Но его никто не хотел слушать.

— Иди на ... — запнулась. — В мэрию! Гад! — проорала Зина.

Трамвай медленно тронулся с места. Мэр, вот же гадский гад, переполз, волоча ноги, с пешеходного тротуара к рельсам и улегся на них. Перекрыв движение многотонной махине своей шеей на железной рельсе. Электрический транспорт встал.

— Каренин! Ночная бабочка мужецкого пола! Прочь с дороги! — в сердцах потребовала учившаяся еще в советской школе Зина.

— Пустите! — жалобно проныл Икар.

— Не пускайте, Зина! Этого! Восставшего из ада! — умоляли вагоновожатую пассажиры с мифологическим мировосприятием еще от советской средней школы. — Давите его, Зина! Как Каренину!

— Мамочки мои! Что ж вы такое несете, добрые пассажиры? Неправославненько, как-то... Давить пьяных мэров в двадцать первом веке! Сами ж, поди, выбирали его? — по громкой связи процедила охрипшим голосом Зина.

— Ага! Из двух сортов дерьма — лучшее! Три срока, пятнадцать лет сосал нашу кровушку — клещ проклятущий! Давите его! — поднялся градус возмущения общественности.

Зина вылезла из своей кабины.

— Кто за то, чтоб колесами мэра переехать? А? Садись на мое место! Я покажу, какие педали нажимать. И рядом постою... Руку подними! — прохрипела она.

Ни единой поднятой руки. Установилась тишина, нарушаемая только мольбами мэра.

Фройзман протягивал обе руки к трамваю, жалобно хныча:

— Не бросайте меня — я не из ада. Меня хотели убить... Я единственный голосовал за трамваи, а все те гады гадские были против!

Зина, вернувшись в водительскую кабину, дернула за рычаг, и передняя дверь, скрипя, раскрылась. Мэр по ступенькам вполз в вагон, словно дачный слизень.

— Спасибо, добрые люди! — И уснул пьяным сном в тепле и прохладе прохода между сидений.

— Намаялся, соколик, — проговорила дева Римма Андреевна деве Марии Александровне.

* * *

С задней площадки трамвая к храпящему телу мэра подошла белокурая женщина, похожая на новогоднюю Надю из фильма «С легким паром!»[15], и пустила из глаз слезы...

— Ты знала его, деточка? — сочувственно спросила Римма Андреевна.

— Знала.

— Близко?

— Близко, — ответила женщина.

— Близко-близко? — спросила старушка.

— Близко-близко.

— Близко-близко-близко — как?

— Он меня в кабинете в угол зажал и за лобок трогал, — разрыдалась пассажирка.

Римма Андреевна повернулась к Марии Александровне.

— Ну куда уж ближе, Маш? Федюня мне лубочную шкатулку с осетрами на щечке в молодости подарил. Я аж расцвела!

— Не лубок, а лобок! Дура старая! У тебя между ног не расписной самовар и не чайный прибор на шесть персон, — объяснила подруге Мария Александровна.

— Ах ты ж. Вона про чего, — восхитилась Римма Андреевна, посмотрев на свой пах.

Пассажиры расселись в вагоне. Зина дала сигнал. Двери закрылись. Трамвай тронулся. Вагоновожатая по громкой связи сделала объявление:

— Состав возвращается! К пьянице. Нравится вам это или нет. Мне лично по фигу. Надеюсь на ваше понимание!

Большинством вагон одобрительно хмыкнул. А две старушки, увлеченные спором вокруг давних событий в школе «Колумбайн», ничего и не расслышали...

Некоторое время Зина вела вагон, потом остановилась, открыла переднюю дверь, соскочила с подножки трамвая и ломом перевела стрелку.

— Это заброшенная ветка. Мы разворачиваемся, — вернувшись, объявила она в микрофон.

Трамвай действительно пошел дугой по высокой траве — трудно было даже предположить, что в зарослях, оказывается, скрывались рельсы и вагон способен в этом месте развернуться на обратные.

Кондукторша похлопала Зину по плечу, гордясь вагоновожатой:

— Голова!

— Никаноровна, первый водитель «татры», наставница моя, тайным трамвайным тропам научила, царствие ей небесное... — благодарно заметила Зина.

— Трамвай идет с одной остановкой — «Фестивальная аллея»! — объявила кондукторша пассажирам.

Две трети покинуло вагон, посылая экипаж в адовы дыры.

* * *

Трамвайная дверь распахнулась, из нее выбежала кондукторша — и прямиком в круглосуточный винно-водочный магазин «Сова». Через пять минут она выходила из ларька, отягощенная звенящими на весь квартал пакетами, полными бутылок.

— Что так много купила? Мать? Он только одну просил. Или я чего-то не понимаю? А курево зачем?

---

[15] «Ирония судьбы, или С легким паром!» — советский двухсерийный телевизионный фильм режиссера Эльдара Рязанова, впервые показанный 1 января 1976 года. Стал символом предновогоднего вечера.

— Между... первой и второй... перерывчик небольшой... — взбираясь по ступенькам, не своим голосом ответила кондуктриса. — Как выпью... закурить хочется...

Оказавшись в вагоне, она и сама недоуменно оглядела тяжеленные авоськи в своих натруженных, мозолистых руках. И «Зубровка», и «Перцовка», и пиво, и водка, и вино. И две пачки сигарет «LD»[16].

— Не врубаюсь, Зин. С ума, что ли, сошла? «Зубровку» вроде только брала... На кассе сознание помутилось. Муж бывший привиделся. Встал за спиной кассира. Слышу его голос: «С покупками помогу, мое ожерелье, в этом я ас!» Дальше — как в тумане... Гад ползучий! Он меня и оттуда достает!

И вдруг плюхнулась грудьми на пакеты, заплакала, зарыдала по-человечески, по-детски...

— Ах ты ж, мой-перемой Володенька! А не слушалась тебя, окаянная! Прогнала тебя в стужу студеную! В могилу свела сиза голубя! А ему бы летать еще соколом, да под солнышком, да над небушком! Я ж гадючьего яда напилася да на взлете в орлика стреливала! А прости ты, прости меня, мой Волушечка! Ты ж любил меня, дуру, дюже и баловал — при тебе я ходила гулечкой! А ноне? Насквозь скурвилась, слова доброго не смекаючи! А сосцы-то мои скорбеючут по ладоням твоим заскорузлым, Володенька... — запричитала кондукторша.

Жуткая сцена признания в любви к покойному мужу потрясла окружающих салона трамвая. Пассажиры, как могли, успокаивали кондукторшу — прикасались к ее волосам и дрожащей широкой спине.

— Где мы святого выкинули? — спросила Зина. — Приди в себя, мать! Прекрати стонать! Что сделано — то сделано! Владимира не вернешь! Верь теперь в чудо! Молчать! Я сказала!

— У палатки с бывшей «Млековитой»...[17] — сквозь слезы проговорила кондукторша. — Не успеем... А-а-а-а...

Зина остановила трамвай.

— Иди сюда, что покажу... — железной рукой подняла с пола коллегу Зинаида. — Не успеем, блин.

Та подошла к кабине.

— Смотри! — Вожатая подняла красную крышку на торпедо, а под ней — кнопочки, датчики, все светилось и мигало.

— Это че? — поинтересовалась кондукторша, утирая сопли с носа.

— Через левое плечо! Очнись от горя, мать, твою мать! Это ноу-хау! Еще до китайцев и меня, Никаноровна электромотор турбировала — страсть как любила по ночному городу погонять, божий одуван. А после я довела до ума систему. Благо с авиадеталями не было проблем по старым связям.

— И че?

— Руль на правое плечо! Понятно объяснила? Увидишь! — Зина включила тумблеры один за другим, лампочки на панно ожили, рев двигателя нарастал.

— Отключить сотовые телефоны! Держитесь! Взлетаем! — объявила Зина.

Трамвай стал стремительно набирать скорость. Ехавших вдавило в сиденья. Кондукторша двумя руками вцепилась в турникеты и, извиняясь, рассказывала своим уже перепуганным ртом:

---

[16] Название сигарет «LD» является сокращением от названия табачной фабрики «Лиггетт-Дукат», основанной в 1891 году в Москве.

[17] Mlekovita — компания по производству молочных продуктов, базирующаяся в городе Высокое Мазовецкое на северо-востоке Польши.

— Зиночка в наше депо из летной эскадрильи пришла... лет пятнадцать назад. Она на Су летала — испытывала. Ту, Су. Потом забеременела от начальника интендантской службы, ее списали — женатый, оказался. Пожалуйста, не волнуйтесь! А-а-а-а-а-а!

Пассажиры вцепились в поручни и друг в друга. Вагон полетел по городу так, что «Сапсан» завидовал! У Марии Александровны кровь пошла ухом.

— Это от перегрузок, это не страшно, это пройдет. — успокаивала старушку подползшая к ней по проходу кондукторша — промокнула участливо бабушкину кровь мятыми трамвайными билетами.

— Это ничего, спасибо, внучка, бабушка и не в такие передряги попадала, — бормотала Мария Александровна, закатив глаза.

Наконец скорость стала спадать. Все вздохнули с облегчением.

— Вот он! — победно вскрикнула Зина.

Попутчики сгрудились у кабины пилота. Через ветровое стекло было видно, как дворничихи катали волосатого мужика в детской коляске для двойни. Неслись, как черти, по тротуару вдоль трамвайной линии и смеялись, аж заливались!

Зина обогнала трамваем веселую компанию метров на двести и, затормозив, открыла двери. Хмурые пассажиры высыпали из вагона и перегородили дорогу веселью. Вышли Зина и кондукторша с бутылкой «Зубровки» на расписном хохломой подносе.

— Где надыбала поднос? — через зубы спросила Зина, кивнув на хохлому.

— На неделе забыли в вагоне. Еще не спрашивали. Вот и пригодился, — прошипела кондукторша.

Дворничихи, заметив толпу, с разбегу начали тормозить. Медленно подошли к перегородившей дорогу торжественной процессии, толкая впереди себя «дворняжный» транспорт.

Зина подняла руку:

— Стоп, земляки!

Мужик бросил взор на Зину, на поднос с «Зубровкой», кондукторшу. Обернулся к дворничихам.

— Что я вам говорил? Хлебом-солью будут встречать! Говорил же? А? — залихватски спросил он.

Дворничихи, переглянувшись, кивнули ему и друг дружке.

Кондукторша плаксиво затянула:

— Ай-ай-ай, наш батюшка! Не вели казнить, позволь слово молвить! Неразумные, пред тобою стоим. Все пророчества твоя посбывалися! С лыжниками повстречалися, мэры падали на рельсы, как осиный лист, а над городом звучал проклятый рэп! Ты прости пассажиров незрячих своих, что не сразу в тебе расспознался, а ты чуда свершаешь мгновенные, и теперь пред тобою мы каемся, и волосья мы рвем изо всяких мест: из подмышек, с голов, гениталиев — режь язык мой за мысли о Шарике! Во спасение и для прощения... Уж прими ты от нас сей подарочек, не побрезгуй бутылочкой дареной!

И с глубоким поклоном протянула расписной поднос с бутылкой «Зубровки». Глубоко поклонились в пояс и все пассажиры. Мужик вылез из детской коляски, оглядел поднос в руках кондукторши, поднял с него бутылку, вскрыл зубами алюминиевую крышку и отпил пару глотков. Поморщился. Хрюкнул. Запрокинув емкость, глотнул еще.

— Прощены! Зовите меня, как сами хотите, — хоть Святым Пьяницей. Мне понравилось. Или коротко — дядя Паша. Так и быть, спасу вас. Было хотел только этих, — кивнул на дворничих, снова сделал глоток из бутылки. — Ну... и вас скопом. Уговорили. Кстати, сейчас тебе позвонят, Зин, и прикажут вернуться в депо.

В кармане Зининой оранжевой куртки зазвонил телефон. Она ответила:

— Алло... да, это Зинаида... на «Млековите».

Зыркнула на дядю Пашу — глаза ее округлились.

— Приказали вернуть в депо трамвай. С сегодняшнего утра я уволена — железные пути разбирают, шпалы пилят, электростолбы валят...

Дядя Паша хлопнул в ладоши:

— Вот он! Последний день! Тьма вышла на охоту! Устала ждать и притворяться светом! Дай сюда телефон, Зинаида.

Зина отдала мобильник дяде Паше, и тот разбил его о чугунное колесо трамвая.

— Все! Рубикон перейден! Кто со мной — тот спасен. Кто не со мной — тот будет. Кондукторша меня понимает, — подмигнул женщине. —Граждане пассажиры, принимайте решение прямо сейчас!

Зина зычно возвестила:

— Трамвай сообщением маршрут номер восемь отправляется через одну минуту! Провожающих просим покинуть вагон!

Треть от трети пассажиров загрузилась обратно. Баба Катря и Феруза тоже залезли с колясками и метлами. Остальные остались в нерешительности топтаться на остановке. Электрическая машина дернулась. Провожающие замахали отъезжающему транспорту белыми платочками.

— Дорогие мои! Мы рады приветствовать вас на борту замечательного, времен «оттепели» в СССР, лайнера «Tatra T2SU»! — заговорила глубоко проникновенным голосом Зина по селекторной связи. — Нам приятно, что вы воспользовались услугами расформированного МКП[18] «КаГорТранс», и в благодарность за приверженность нашей компании мы объявляем день открытых дверей! Проезд в нашем комфортабельном трамвае сегодня и до конца света абсолютно бесплатный! Кондуктор уже раздает все принятые деньги обратно. Экипаж нашего корабля приложит все усилия к тому, чтобы поездка врезалась в память каждого пассажира на всю его оставшуюся жизнь!

Кондукторша пошла по салону, раздавая из мошны мелочь направо и налево, словно хлебороб-сеятель.

— Хорошо сказала! — подивился дядя Паша и поклонился ей. — Вот можем же, друзья? Если захотим!

Зина крикнула в микрофон громкой связи:

— Куда ехать-то, дядь Паш?

Святой Пьяница прикончил «Зубровку», крякнул, закинул стеклотару под сиденья.

— По часовой стрелке, Зин, по часовой! И не останавливайся. Притормаживай, двери открывай — кто заскочит, тот спасен. Держи скорость проваливания льда на Ладожском озере[19] — тридцать пять километров в час. Что делать дальше — будем посмотреть. Глядишь — притопим... Или... Не парься! Ты меня поняла?

— Хорошо, босс! Еще как поняла! — проговорила Зина.

Дядя Паша разбирал пакеты со спиртным, купленным кондукторшей.

— О! И пиво! И «Агдам»! «Столичная». Зачет! — ласково засмотрелся на кондукторшу дядька. — Волуша передает тебе привет с того света, говорит: «Горжусь тобой, бусинка».

Лицо кондукторши вдруг посинело, будто она только что заглянула в преисподнюю. Она зажала рот руками, ноги ее подкосились, и она села в проходе — на храпящего мэра.

---

[18] Муниципальное коммерческое предприятие.

[19] 35 километров в час — недопустимая скорость движения по льду Ладоги во время эвакуации из блокадного Ленинграда. При движении с этой скоростью вибрации автомобиля создавали гидроудар, который ломал лед.

Озабоченная Зина посмотрела в зеркало заднего вида:

— Дядь Паш, что происходит?

— Ничего, ничего, Зин, в первый раз всегда так происходит. При встрече с инфернальным миром. Натрите ей виски «Перцовкой». Пройдет.

Пассажиры принялись натирать кондуктрису настойкой, и она заговорила:

— Волушины слова. Располнела я после родов до ста десяти килограммов, а он назвал меня бусинкой! Да-да. Ни единая душа об этом не знала. Я сковородкой его огрела чегунявой. Думала, смеется надо мной, оскорбляет! Чуть не убила... А он любил меня, оказалось, даже если я — центнер! Знайте все — прощения мне нет и не будет на этом свете! За дядей Пашей пойду — он меня из тьмы выведет и к Володеньке моему приведет, — лепетала женщина.

Дядя Паша тем временем перемешал все спиртное по собственному умению.

— Из этих прекрасных ингредиентов, любезно предоставленных нам экипажем, приготовил я, братья и сестры, коктейли. Окормлю ими! Рецепты ведь, друзья, пишутся сплошь святыми! О, этот сказочный мир технологов-рецептологов — заслушаешься мастеров! Благородного, знатного в переводе с древнегреческого Евгения или Анатолия — восход-солнышко! А рецепты трех Василиев — голова кругом идет и дыханье спирает, ровно от стакана медицинского спирта! Пил кто чистый спирт? Нет? Вот уж учителя! Вот же племя! — бормотал дядя Паша, разливая в одноразовые стаканчики мутноватую жидкость. — У всех полно?

— Да! Да! — прокричали пассажиры хором.

Дядя Паша прокашлялся. Поднял стаканчик и басом, растягивая слоги, как на церковной службе, возвестил тост через «Так вот»:

— И сказал святой Венедикт на горе Мытищинской: «Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах...»[20] Аминь.

Выпили все. И повеселели! Подобрели! А оттого стали красивыми...

ЧАСТЬ 3

По городу петлей ходил трамвай восьмого маршрута. На остановках притормаживал, и те, кто желал, на ходу выскакивали из вагона, а кто хотел — вскакивали в него.

А между тем тучи сгустились над электрическим транспортным средством: из припаркованной у тротуара машины ДПС по радиосвязи раздалось трескучее сообщение:

— Всем постам, всем постам! Угон трамвая! Повторяю — угон трамвая! Поступило заявление от руководства трамвайного депо! С сегодняшнего дня трамвайное сообщение в городе Ка — вне закона! Вне закона! Угнан трамвай номер восемь! Повторяю — трамвай номер восемь! Связи с вагоновожатой нет. По версии следствия — трамвай захвачен! Пассажиры взяты в заложники! Необходимо пресечь перемещение незаконного транспортного средства во что бы то ни стало! Во что бы то ни стало! Соблюдать меры предосторожности — в вагоне граждане! Повторяю — в вагоне простые пассажиры!

* * *

Трамвайный разворот на аллее Смелых. Перед мостом напротив мясокомбината полицейские дорожно-патрульной службы перекрыли автомобильное движение, перегородив пути двумя мусорными тягачами, а сами с пистолетами наизготовку спрятались за ними в ожидании угонщиков. Дядя Паша еще издали почувствовал засаду. Так и сказал:

[20] Из поэмы Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки».

— Чуйка меня не обманывает — ждут нас, Зина! Сбавь скорость, не тарань, но и не останавливайся.

— Что делать-то будем, дядя Паша? — спросила Зина.

— Импровизировать. В заложники тебя возьму — пойдешь? — хихикнул он.

— Ну, раз замуж никто не зовет — пойду! — рассмеялась Зина. — Цветы будут?

— Роза, — почесал бороду дядя Паша.

— Обожаю! — ответила Зина. — Дядь Паш, у тебя выдержка летчика-истребителя!

Дядя Паша потрепал вагоновожатую по волосам:

— Истребители и выдержка? Ты смеешься надо мной, Зин! Тебя же саму истребили. Где ты? А где голубые небеса? Истребители — не вино, коньяк и не виски, которым нужна выдержка. Они — безудержанные. Пару годков назад «был на именинах. Там случился забавный случай. Один гость пукнул. Все смутились, а я — нет!»[21] — вот что значит выдержка, понимаешь, Зин?

— Теперь да... — задумчиво произнесла Зина.

Мужчина выловил из-под сиденья катающуюся по полу бутылку, схватил ее за горлышко.

— А теперь включи репродуктор на крыше вагона!

Полицейские при приближении трамвая разглядели через лобовое стекло, как дядя Паша взял в одну руку микрофон, а второй разбил пол-литровую стеклотару о железную приборную доску и поднес «розочку» к шее вагоновожатой.

— Товарищи! — ораторствовал дядя Паша. — Еще пару десятков лет назад все мы были товарищами, а вы милиционерами! Товарищи полицейские! Просьба освободить трамвайные пути от мусорного автотранспорта, и совесть ни единого не пострадает сегодня! Повторяю: совесть ни единого не пострадает сегодня! Трамвай идет без тормозов! Повторяю! Без тормозов! Обеспечьте беспрепятственное прохождение вагону по его родным рельсам! В этом случае все пассажиры останутся в бодром здравии, а я, дядя Паша, освобожу одного из тех, который захочет. Никого не держу, блин! Полковник Васнецов! На вашей даче в СНТ «Сокольники» у моря прямо в этот самый момент из искры возгорелась баня! Специально для полковника Васнецова! Возгорание бани! Прием! Товарищ полковник, срочно! Займитесь тушением бани! Пламя банит[22] баню! Прием?

Полковник Васнецов кому-то позвонил. Держа трубку у уха, побежал к КамАЗам с «кесками»[23] на раме, семафоря им руками: мол, уезжайте! Уезжайте! Уезжайте! Сам же уселся в служебный «лексус» со спецсигналами и со «спецвоем» упылил от мясокомбината. Тягачи съехали с рельсов — путь был свободен. Дядя Паша опустил руку со стеклянным цветком от шеи Зинаиды и обернулся в салон трамвая.

— Кто-то желает сойти на остановке «Мясокомбинат»? — спросил он.

— Я! Я хочу! — подняла руку молодая белокурая женщина, похожая на Надю из кинофильма «С легким паром!». — Мне на работу пора. Я опаздываю!

Двери вагона распахнулись, и женщина выпрыгнула на тихом ходу. Но подвернула ногу на высоком каблуке и упала на тротуарную плитку, порвав колготки ниже правого колена. К красивой пострадавшей подбежали двое вежливых сотрудников ГИБДД, усадили на заднее сиденье патрульной машины и довезли к месту работы. В благодарность она назвала им номер своего мобильного телефона.

---

[21] Евгений Попов. «Плешивый мальчик. Проза P. S.».

[22] Происходит от английского ban — запрет. Банить или забанить — это значит запретить пользователю доступ к ресурсу, лишить его права комментировать материалы и т. п. Синонимы: блокировать, запрещать доступ.

[23] Емкости для бытового мусора, выпускаемые немецкой фирмой «Keske».

Выйдя из машины ДПС, женщина на высоких шпильках, торопливо прихрамывая, подошла ко входу в административное здание с вывеской «Мэрия». Вбежала в вестибюль, косясь на огромные настенные часы — на часах семь пятьдесят пять, а в холле полицейская охрана, гардеробная и два лифта. Женщина улыбнулась полицейскому охраннику, тяжело дыша и кокетничая:

— Слава богу, успела. Бежала. Трамваи у нас теперь разворачиваются прямо по траве и не везут в центр. Ужас какой! Что происходит?

— Трамваи с восьми ноль-ноль — вне закона. По всей территории Ка. Отныне проезд в трамваях — преступление, — чеканил слова симпатичный полицейский. — От шести до десяти... лет.

Белокурая женщина удивленно вскинула брови и с интересом глянула на молоденького охранника.

— Надо же — как за убийство? Господь, видно, уберег! До восьми из вагона выскочила... Спасибо! Всегда восхищалась юридически грамотными людьми. У меня накопилось столько вопросов к ним. Жуть! Может, вы... как-нибудь... проконсультируете меня? — проговорила она, оглаживая мятую прозрачную блузку на талии.

— С превеликим интересом... — ответил полицейский, оглядывая линии талии под мятой блузкой женщины.

Тем временем женщина уже протягивала плащ пожилой гардеробщице с заплаканными глазами.

— Теть Клав, а что у вас опять глаза на мокром месте? Илюшу снова посадили? — спросила она участливо.

Тетя Клава повесила легкое пальто на плечики и вернулась с пластмассовым номерком, протянула его белокурой женщине и, борясь с приступами рыданий, замахала ладошкой перед своим лицом.

— С Илюшей все в порядке, Светочка. Второй месяц котик в завязке. По Икар Оскаровичу плачу... — показала пальцем в центр зала между двумя лифтами.

— А что случилось? — удивленно приложила ладошки к щечкам Светлана.

— Помер, соколик... — вконец расплакалась тетя Клава.

В холле на постаменте, драпированном бархатом цвета спелого граната, стояла золотая рама, а в ней фотография Икара Оскаровича с черной ленточкой наискосок. Пьедестал был завален алыми розами на метровых стеблях.

Светлана разглядывала свои туфли и бормотала:

— А я и цветов не купила...

— Так и я без букета, — сокрушалась гардеробщица. — Прям неудобно перед Икар Оскаровичем. Пришла в пять утра кабинеты мыть, а он уже в розах! Когда успел? Ночью, что ли, помер?

Светлана сняла по очереди туфли, рассматривала каблуки — на каблуках были сколы, а на красной подошве зеленели свежие глубокие порезы.

— И лабутенам моим пипец...[24] то-то еще будет... — прошептала она.

Надела обувь, а на глаза навернулись слезы. От стойки гардеробной медленно подошла к постаменту, склонилась над ним, поцеловала фотографию мэра в ленточку наискосок и перекрестилась три раза. Постояла минуту. Сделала селфи на фоне траурной композиции. С третьего раза получилось красиво — со слезинкой печальной на реснице.

Лифт поднял Светлану на третий этаж. Она открыла ключом кабинет с табличкой «Архитектурный надзор. Специалист I категории Карнаухова С. С.». Села за стол и разулась. Бережно поставив лабутены за оконные шторы со словами «Кто мне за

[24] Конец (сленг).

них заплатит?», надела мягкие, как домашние тапочки, мокасины. Включила компьютер. Рассматривая странички в Интернете, выписывала номера телефонов. Думала. Крутя белокурый локон на указательном пальце... И наконец позвонила.

— Алло, это телекомпания «АрТиВиОй»? Отлично! Могу я поговорить с главным редактором новостных программ Эверестом Борисовичем Молчановым? Специалист первой категории Карнаухова Светлана Сергеевна, архитектурный надзор. Если что! Эверест Борисович? Здравствуйте! Боже, какой голос! Я владею ценной информацией. Это новостная бомба...

ЧАСТЬ 4

На остановке «Фестивальная аллея» трамвая дожидалась съемочная группа одного из первейших телевизионных каналов. Молодой репортер работал на камеру напористо и агрессивно.

— Я, Олег Скобкин, а это самые последние новости канала «АрТиВиОй» из самого западного региона! Тема сегодняшнего дня в городе Ка — угон трамвая номер восемь! По мнению нашего проверенного источника, он может быть захвачен религиозными фанатиками, которые уверовали в то, что, цитирую: «Трамваи крутят нашу планету вокруг собственной оси». С раннего утра транспортное средство без остановок следует по своему маршруту, напоминающему о символе бесконечности, притормаживая всякий раз только на Фестивальной аллее. И неудивительно! Только в этом месте можно приобрести крепкие алкогольные напитки ранним утром, ибо, согласно городскому закону Ка, «торговля спиртными напитками ограничена во времени с одиннадцати и до двадцати одного часов вечера». Куда смотрят местные власти? Почему молчит общественность? Рядом школы и детские сады! Как такое может происходить, остается для нас загадкой! Однако вернемся к нашему трамваю. Сектанты удерживают группу пенсионеров без предъявления требований, но мы наверняка и почти достоверно предполагаем, что, очевидно и скорее всего, они же и повинны в смертельном наезде на последнего мэра города Ка, выпавшего из окна собственной квартиры с двадцать второго этажа, повредившего муниципальные рекламные растяжки, что нанесло департаменту связи с общественносью мэрии мегаполиса значительный имиджевый ущерб. Предводитель этой компании, так называемый дядя Паша, величает себя пророком и Святым Пьяницей. Ха! Ха! Ха! Мы еще не получили подтверждения сведений о святости этого российского гражданина из профильных православных источников, но нам почему-то доподлинно кажется, что именно он, своими предсказаниями и пророчествами одурманив экипаж, направил муниципальный трамвай — транспортное средство, кстати запрещенное с сегодняшнего утра на всей территории Ка! — на выпавшего из оконного проема пентхауса всенародно избранного и любимого всеми горожанами мэра и хладнокровно переехал многотонным вагоном беззащитное тело, втащил окровавленные части его в кабину угнанной муниципальной электромашины. Дьявольское стечение обстоятельств! Фатальная встреча холодного железного трамвая и теплой человеческой плоти. Минутой бы раньше или позже — мэр, возможно, был бы еще жив! Прямо в эти мгновения моего безудержного стрима жестокий дядя Паша, находясь в трамвае (транспортном средстве, запрещенном на территории Ка), удерживает в стокгольмских цепях десятки наших соотечественников, добропорядочных граждан, наводя на их души леденящий ужас. Страшный, чудовищный человек, дядя Паша — это русский бен-Ладен. Мы видим, как трамвай номер восемь приближается к остановке. Замедляет ход... — Журналист бежит рядом с трамваем (коммментирует). — Транспортное средство, запрещенное на территории Ка, не останавливается. Снимай,

снимай, — командует Скобкин оператору, — окна снимай! Передние двери открылись... Из дверей выскочила старушка и засеменила в магазин «Сова». — Журналист прижал наушник к правому уху. — Мне сообщают из студии, что личность старушки установлена — это Мария Александровна Герц, девяноста восьми лет, физик-атомщик в прошлом, работала еще в «шарашке» с Королевым... Отсидела пятнадцать лет на пляжах Индигирки и Колымы за антисоветскую пропаганду и шпионскую деятельность в пользу разведок Эритреи и Мозамбика — двойной агент. Движение железной машины продолжает замедляться. Я попытаюсь взять интервью через открытую дверь у пассажиров салона. Главного террориста я не вижу через окна, возможно, он прикрывается дохлыми телами заложников.

Олег Скобкин протягивал микрофон в сторону открытой двери вагона:

— Вы можете прокомментировать слухи о вашем захвате в заложники религиозной сектой дяди Паши? Дядя Паша — это имя вам что-нибудь говорит? Дядя Паша пытал вас электрическим током? Вставлял бутылки из-под «Советского» шампанского в физиологические отверстия? Или стеклотара была другая? Тогда сразу вопросы: «Что за напиток? Страна — производитель? Из-под слабых или сильных алкогольных напитков?» Расскажите зрителям нашего телеканала — это им ой как интересно! — Скобкин поворачивается к камере: — Я обращался к вагоновожатой. Она не ответила. Возможно, оккупанты вагона запретили ей разговаривать со свободной прессой. Но вот от ларька выбегает милейшая Мария Александровна — в руках у нее четыре «Зубровки» и одна «Просекко»! О-о-о! — Журналист шипит оператору: — Бабку снимай! И бутылки! Бутылки! Бабушка, а вам можно «Зубровку»? По сведениям вашей медицинской карты, мы точно знаем, что у вас артрит, артроз, аритмия... Мария Александровна, скажите хотя бы пару слов телеканалу «АрТиВиОй» — как с вами обращаются захватчики? Что вы чувствуете под дулом пистолета у виска? Стокгольмский синдром — какой он? Вас били кувалдой? Куда? Есть ли жертвы в вагоне? Если да, то кто и сколько? Они отрезали вам головы? На террористах пояса шахидов? А на вас взрывчатку надели?

Старушка, пробегая мимо корреспондента, не смогла смолчать:

— Я таких крыс, как ты, на дубовом паркете жарила и клеем обойным запивала в блокадном Ленинграде! Своим передай, что конец света для них пришел! А мы — в рай!

Из дверного проема вагона подружке уже протягивала руку Римма Андреевна, и Мария Александровна, схватившись за ее ладошку, заскочила в трамвай.

— Маша, кто обидел? На тебе лица нет! — Римма оглядела компаньонку взволнованно.

— Да тот, с микрофоном — перепутал меня с тобой... — задыхаясь от гнева, проговорила Мария Александровна.

— Ах ты ж, гадский гад! — расслышав только четыре первых слова из ответа, воскликнула Римма Андреевна.

Затащив подругу в вагон, она спрыгнула с подножки и подбежала к журналисту, который вальяжно стоял с мохнатым микрофоном в руке, широко расставив ноги, на тротуаре и искрил новой бабульке приветливой улыбкой. Бабушка подсобрала до колен длинную крепдешиновую[25] юбку и ударила правым острым коленом корреспондента в пах. Тот, скорчившись от боли, осел на землю.

Старушка догнала вагон, двери закрылись, пассажиры встретили отважную женщину аплодисментами, трамвай набирал крейсерскую скорость.

Журналист с глазами больной промежности провожал удаляющуюся железную машину и выл:

[25] Крепдешин — вид шелковой креповой ткани с умеренным блеском, плотной и относительно тонкой. Одна из самых распространенных шелковых тканей в СССР начиная с 1952 года.

— Ничего не понимаю... Камеру выключи, осел! Все записал? Это же прямой эфир...
А оператор гоготал:
— Стонешь, как будто у тебя Фаберже между ног. Красиво же, братан!
—Я тебе не брат, идиот!
— Ну и иди тогда на фиг... Не брат!

* * *

Трамвай несся с бешеной скоростью по городу. Пассажирка Анна Ивановна, воспитатель и преподаватель музыки, со своим подопечным Сашей Пистолетовым сидели в середине вагона. На коленях у Саши лежал футляр со скрипкой. Учительница ежеминутно нашептывала Саше в самое ухо наставления. Саша, отвернувшись, смотрел в окно и, не оборачиваясь, отвечал женщине:

— Да, Анна Ивановна. Я понял, Анна Ивановна. Больше не буду, Анна Ивановна. Это было нечаянно, Анна Ивановна. Я готов к конкурсу, Анна Ивановна. Но я же имею право поиграть в футбол с ребятами во дворе? Нет, я не сломаю руку, Анна Ивановна: в футбол играют ногами...

Мальчик Саша вдруг вскочил с сиденья и, тыча пальцем в стекло, завизжал от восторга:

— Телепузики! Телепузики! Видите? Видите?! Анна Ивановна?! Настоящие! Они есть! Вы мне не верили!

— Неприлично показывать пальцем, Александр! — укоризненно произнесла Анна Ивановна.

Но Саша, уже не слушая ее, с упоением и взахлеб рассказывал всем пассажирам о телепузиках:

— Тот, что фиолетового цвета и с треугольной антенной на голове, — это Тинки-Винки! У него еще красная сумка должна быть, а не эта пластмассовая штуковина. Зеленый в черно-белом пушистом цилиндре — Дипси. Желтая с мячиком — Ляля, а красная на самокате — По! Я помню их всех! Я их обожаю! Мы с мамой смотрели все-все передачи по телевизору! Тогда, когда мама еще не уходила от меня...

Саша вдруг осекся, уселся обратно на сиденье трамвая и беззвучно заплакал в ладошки. Анна Ивановна оглядела вагон, как бы извиняясь, и стала ласково, по-женски, оглаживать кудрявые волосы мальчика своею мягкой, теплой рукой. Собственно, для того Господь и придумал женщин. Чтоб оглаживать мужчин.

А из окон было видно, что наперерез трамваю бегут плюшевые куклы в человеческий рост в смешных разноцветных костюмах. У фиолетового под мышкой торчал бампер от черного автомобиля, зеленый был в пушистом цилиндре, желтый с большим мячом, красный мчал на самокате. За телепузиками гнались два армянина — один пузатый и мускулистый, второй лысый, высокий и жилистый, он держался за голову правой рукой. Оба в белых расстегнутых рубахах, христиане — на волосатых грудных клетках обоих подпрыгивали золотые кресты размером с ладонь, на толстых цепочках. Вслед за армянами, но несколько отстав, догонял отряд русской полиции из трех сержантов с резиновыми палками в руках, словно это были сабли. У одного из стражей порядка на плече болталась красная женская сумка.

Две столетние девы следили за происходящим на улице. Римма Андреевна ахнула от восхищения:

— Кавказские мужчины, Маш, — это что-то! Безобразные, как орангутанги, но посмотри, сколько страсти в глазах, сколько ярости и страсти!

Мария Александровна чокнулась с Риммой Андреевной пластиковым стаканчиком и, как всегда, очень громко заговорила в ответ на реплику подружки:

— Ты, как выпьешь, Римма, начинаешь сама говорить по-человечески, а не по-орангутангски — сколько тебя знаю, столько тобою и поражаюсь. Риммочка, тебе надо чаще пить! И ты ничего не знаешь о ярости и страсти! Летом тысяча девятьсот сорок седьмого года, Риммуля, в военном госпитале близ городка Розуэлл, что в штате Нью-Мексико, я ассистировала при вскрытии одного из пяти сбитых американцами пришельцев. Мужчина, кстати. Так-то вот...

Римма Андреевна поразилась:

— Ты что? Голого инопланетянина видела?

— Видела. Хирург отсек скальпелем его гениталии и передал мне!

Римма ошеломленно выдохнула:

— И ты взяла?

— Да, Риммочка! А куда мне было деваться? Приняла. И он шевелился в моей руке, точно червяк в твоем огороде, рассеченный лопатой. Он жил отдельной жизнью от хозяина! Никогда не забуду тот взгляд одноглазой змеи, извивающейся в моей пятерне. Он был прямым. Честным. И грустным. Он не обещал ничего, кроме телесного удовольствия. Зато искренне. Он мне подмигнул, Риммусь! Ты знаешь, я даже разглядела его ресницы — густые и иссиня-черные, как у испанцев... Или цыган... Мохнатый шмель. Только не жужжал. Еще бы минута такого гипноза, и я бы забыла про своего Федюнечку. Спасибо, у меня отобрали часть тела пришельца. А для чего я это все говорила?.. А-а! Вот где была страсть, Римма Андреевна! Вот где была ярость! А не в тех барыгах за окном чешского трамвая! Те — понторезы и тиктокеры, а ты — создательница мифа о уже не существующих кавказских мужчинах. Что? Опять обидишься? Сломала картинку мира почитательнице волосатых кожных покровов?

— Вот же гадюка! Гадюкой была, гадюкой и помрешь, Марь Санна! И молчала столько лет о пришельцах... — искренне обиделась Римма.

— Подписки о неразглашении давала. И не один раз. Сама со счета сбилась сколько. Запуталась. Но сегодня срок давности истек. На все. На все тайны. Тебе первой рассказываю — цени, Риммочка, а не обесценивай нашу дружбу. Хотя... я уже и к этому привыкла. Валяй, подруга!

— И я привыкла... Прости меня, Маш. Ты меня еще не разлюбила? Скажи?

— Дура ты, Римка! — Маша обняла и поцеловала ее в лоб и в обе щеки и залпом выпили коктейль дяди Паши.

— Инопланетяне прям, а не бабки. Охота ж была всякую заразу руками трогать? — Старшая дворничиха баба Катря покачала головой, слушая старух.

Молодая ее напарница прыснула в кулачок:

— Чья б корова мычала? Дворничихи мы, забыла? По помойкам всякую гадость руками месим. Каждый день. Лучше уж, как она: скальпель, ресницы на члене и городок Розуэлл в штате Нью-Мексико...

— Тормози, тормози! Прими! — приказал дядя Паша Зине.

Зина нажала на тормоза — телепузики подбежали к вагону.

— Зинаида! Двери! — приказал дядя Паша.

— Есть двери! — засмеялась Зина по селекторной связи, на ходу открывая их.

Старшая дворничиха осенила себя крестом:

— Товарищи, может, не надо? Что-то мне боязно. Алкаши, урки — не боюсь. Они мне понятны. Живу с ними. А тут... Вроде и употребляете наше, народное, а разговоры инопланетные ведутся! Страшно становится. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, а мы не знаем, что это такое![26] Теперь вот телепузики какие-то. Рука так и тянется донос написать куда-нибудь.

[26] Мем, отрывок из сюжета телеканала «Тульский-1»: «Тульскую область атакуют снежные блохи». Источник: https://vsekidki.ru/479-my-ne-znaem-chto-eto-takoe.html.

— Надо, бабка, надо! — ответил ей дядя Паша. — Совсем страшно станет — сойди. Просто сойди. Только, сдается мне, не сойдешь.

— Да не хочу я! Настолько все душевно тут, у вас! По-домашнему![27] Но страшно, дядь Паш!

— Это панические атаки, женщина. Вы не одиноки. Сама ими измучилась. Только, знаете ли, я уже и не ведаю, где безумнее — с атаками здесь или за дверью трамвая, — проговорила учительница музыки.

В костюмах телепузиков оказались двое парней и две девушки. Они ввалились в последнюю дверь, помогая друг дружке, двери закрылись, и вагон стал вновь набирать скорость.

Преследователи остановились, потные от погони, поняли тщетность ее. Тяжело дыша, упершись руками в свои колени, согнулись, будто биатлонисты после эстафеты.

Юноши и девушки, разгоряченные, корча смешные рожицы загонщикам, громко и заливисто смеялись через заднее стекло трамвая.

Фиолетовый телепузик с бампером БМВ под мышкой обернулся к пассажирам:

— Спасибо вам, добрые трамвайные люди! Вы нас спасли! А то эти, — кивнул в сторону эстафетчиков, — загоняли бы нас до смерти...

— Что стряслось, пионеры? — поинтересовался дядя Паша у ребят.

Фиолетовый телепузик засунул черный бампер от X5 под трамвайные сиденья:

— Сейчас я коротко представлю себя и моих друзей и все расскажу. А вы рассудите, правы мы были или нет. Итак, я Тинки-Винки. Тимофей мое настоящее имя. Выпускник Ярославского театрального училища, заводила, хохмач, бабник, говорят. Ненавижу слово «долг» и бегаю от военкомата. Правдолюб. Неискренность не переношу физиологически — она вызывает у меня рвотные позывы. Мечтаю сняться в оскароносном фильме и прославиться на весь мир.

Представив себя, Тимофей поклонился трамвайной публике. Обернулся к зеленому телепузику.

— Это Димон — Дипси! Двадцать два года, студент технического вуза. Куча хвостов и неоплаченный семестр — ему грозит отчисление, потому как все свободное время он проводит в боксерском зале или спит. Здоров, накачан, упрям. Но с чувством юмора, любитель впрячься в авантюры, придуманные всеми нами. А еще не дурак подраться. Дима кивнул.

Тимофей обнял за плечи желтого героя:

— Лола... — Лола сделала книксен. — Наша Ляля. Студентка экологического факультета, — улыбнулся Тимофей. — Любит собак и кошек. Соседу, мучившему котенка, сожгла балкон. После окончания универа мечтает работать в «Гринпис», спасать бездомных китов. Не любит ходить в джинсах. Платья, сарафаны, на ногах казаки. Летом не носит нижнего белья и ездит на велосипеде — женатые таксисты сходят с ума и нарушают правила дорожного движения!

— А это Полина... — Тима кивнул девушке в красном. — По. Девятнадцать лет. Фотограф, художник, начинающий писатель и блогер. Или блогерка? Как правильно, Полин?

По склонилась перед зрителями в глубоком реверансе, а Тимофею показала средний палец[28].

— Дикая, но очень милая обезьянка, — в отместку подколол Тимофей. — Автостопом проехала всю Европу. Задумала подсобрать деньжат и пуститься зайцем наутек на сухогрузе в Новый Свет.

---

[27] Интернет-мем, вирусное видео из влога на канале «Супермуж», дата опубликования 9 августа 2022 года.

[28] Средний палец, или фак (от англ. fuck), — неприличный жест, заключающийся в том, что средний палец вытягивается вверх или вниз, а остальные четыре пальца прижимаются к ладони.

— В нашей компании есть еще и пятый член. Его зовут Николай. Обычно он присоединяется к нам в самую трудную минуту — значит, она еще не настала. И это радует! Николя — это, можно сказать, наш пылесос Ну-Ну. Он окончил юрфак и уже работает помощником адвоката. Всегда выручает друзей. Близорук, носит очки, имеет второе израильское гражданство и не понимает наших шуток. Не обижаясь на них. Предан всем нам, но тайно влюблен в Лолу — ее фотография в синем бикини, скачанная из ВК, стоит заставкой на его смартфоне! Думает, что мы ни о чем не догадываемся... А мы такие догады!

И Тимофей принялся рассказывать историю, из-за которой за ними была устроена погоня...

Директор аниматорской фирмы Ара Георгиевич Бадалян был большим выдумщиком в деле задержки гонораров и изобретения предлогов для штрафов. А еще он очень любил смотреть телевизор и был в курсе всех последних политических, экономических и социальных процессов, происходящих в стране и мире. Лето. Жара. Каникулы. Ребята устроились к нему на работу с зарплатой по тридцать тысяч рублей. В месяц. Честно отпахали месяц на детских праздниках в кафе и ресторанах, открытиях магазинов и Дне города, раздали тонну рекламной полиграфии по улицам. Когда наступил день выплат, Ара Георгиевич приехал с охранником Гамлетом на своей БМВ. Достал блокнот из бардачка автомобиля и показал ребятам свои записи на армянском языке напротив каждой фамилии, после чего сам же и перевел написанное. Это были экономические санкции. Которые он ввел для каждого из них: за опоздания на работу и ранние уходы с нее, перекуры, жалобы детей, их родителей и т. п. И заплатил друзьям по пять тысяч. Прибавив, что отдает из своих, по доброте сердечной, потому как, по его расчетам, они ему остались еще и должны.

Молодые люди возмутились подобным обвинениям, хотя бы потому, что ни один из них не курил. Мольбы, взывания к совести и справедливости, жалобы о том, что надо платить за взятый в кредит айфон, за семестр в университете, за съемную квартиру, не возымели никакого эффекта.

Ара Георгиевич цедил через зубы с кавказским акцентом:

— А кому сейчас легко? Кризис, санкции, белорусские мидии... — Потом поднял правый мизинец в небо и произнес с придыханием: — Волатильность[29], одним словом.

Ара умиротворяюще подавал надежду, но не зарплату. Уговаривал «подождать», «потерпеть», говорил про «вы держитесь» и про «еще чуть-чуть», а сам тем временем продолжал выскабливать из зубов застрявшие кусочки шашлыка длинным отполированным ногтем мизинца правой руки.

Палец в деснах произвел на телепузиков неизгладимое впечатление! Особенно на Дипси. Дима, который числился на экономическом факультете, хоть и не посещал занятия, но точно помнил, что «волатильность» — это изменение цены. А когда о ней заговорил работодатель с хребта Арарата, парень догадался, что свои жалкие, но честно заработанные тридцать тысяч рублей никто и никогда не получит. Будучи боксером, он обладал и боксерской логикой.

— Друзья... Я жил ожиданиями, которые превратились в моем сердце в сомнения...— начал было, но сразу перестал рассуждать Дима. — Вы как хотите, а я... — и апперкотом в челюсть вырубил охранника Гамлета, который сразу рухнул на землю.

Ну и понеслось! Ара побежал так быстро, что не догонишь. Тинки-Винки ухватился за бампер его автомобиля и зарычал, как лев, отрывая его. А вот Ляля догнала Ару, вцепилась в ненавистную рожу, как кошка, и начала его, это отвратительное кавказское лицо, расцарапывать!

[29] Волатильность (англ. volatility — изменчивость) — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо.

По, тем временем «пилила сторьку»[30] куликовского побоища и выкладывала в сеть происходящее со своего айфона...

Ара вырвался-таки из лап Ляли и припустил по улице, крича на бегу: «Милиция, милиция! Хулиганы зрения лишают!»[31] Тимофей оторвал передний бампер БМВ X5. Этой запчастью он последовательно разбил все стекла автомобиля. Пнул с досады все еще лежавшего в нокауте Гамлета, который от пинка пришел в себя и поднялся на ноги, держась за голову.

Потом за всей компанией помчался, вереща сиреной, белый «бобик» — УАЗ-«патриот». На переднем пассажирском сиденье Ара указывал правым мизинцем водителю-сержанту на убегающих в сады, к трамвайной линии, обидчиков-телепузиков. Орал в открытое окно: «Вон они, проклятые „навальнята“! От Араика Бадаляна еще никто не уходил!», а шофера просил, умолял: «Старшина-джан[32], быстрее можешь? Сделай приятное Араику — Араик не забудет, по-братски!» «Бобик» остановился, упершись в сады, и из него вывалились Ара, Гамлет и три служащих правопорядка. Они почти догнали телепузиков, которые уже еле передвигали ноги от усталости. Тинки-Винки развернулся и бросил в преследователей красную сумку со страшным криком: «Ложись!» Полицаи и армяне, приняв телепузика за бомбиста, попадали на землю ниц. Взрыва не последовало... Ребята оторвались. Полицейские повытаскивали из ножен свои резиновые спецсредства и «поскакали» за телепузиками с палками наголо, словно буденновская конница. Один из бюджетных служащих сферы правопорядка подобрал женскую сумку в качестве вещдока, а из-за угла в это самое время вывернул восьмой трамвай и распахнул гостеприимные двери... Вот такие пироги... — выдохнул, закончив рассказ, Тимофей.

— Мда... — покачал головой дядя Паша. — Бампер зачем оторвал-то?

— А фиг его знает... Для компенсации украденной зарплаты, наверное. Сколько он может стоить? — ответил вопросом Тима.

— Тысяч двадцать. На «Авито» надо глянуть. Может, и больше, — проговорила старшая дворничиха баба Катря.

— Ну, если двадцать... пять тысяч добавить — и хватит на оплату Димкиного семестра. Слышишь, Дим? Неплохо! Значит, не зря оторвал, — довольно заулыбался Тимофей.

Вагон грохнулся от смеха, глядючи на довольного.

— Молодцы! Так им и надо! А-ха-ха-ха! А с сумкой-то, с сумкой как ловко получилось! А-ха-ха-ха! Ай, молодцы!

— Не сомневайтесь, ребята. «Правда за вами», — произнес дядя Паша, когда все отсмеялись. — Пассажирская общественность поддержала! Предлагаю дружить трамваями! Смотрю на вас, молодежь, и любуюсь. Ведь прямо сейчас, вашими руками, творится история! Эти ваши интернеты[33], «ютубы», «сторьки», «рилсы», «блоги», «влоги», «мемы»[34] — вот же она, задокументированная правда происходящего во време-

---

[30] Пилить сторьки (разг.) — записывать короткие видеоистории.

[31] Фраза из советской кинокомедии «Джентльмены удачи», снятой в 1971 году режиссером Александром Серым на киностудии «Мосфильм». Авторы сценария — Георгий Данелия и Виктория Токарева.

[32] «Джан» — независимо от обращения (к мужчине или к женщине) в армянском чаще всего употребляется в значении «дорогой», «милый».

[33] «Эти ваши интернеты» — мем. Возник от частых высказываний людей (обычно пожилого возраста), которые считают, что все зло идет из Интернета, компьютера, игр и т. д.

[34] Мем (англ. meme) — единица значимой для культуры информации. Мемом является любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. Термин «мем» и его понимание были введены эволюционным биологом Ричардом Докинзом в 1976 году в книге

ни без прикрас! А как мы жили? Нам что напишут в «Правде» — в то и верили. Мда... И грамоте-то обучали, чтобы могли считывать ложь, напечатанную на бумаге. История как наука начинается с вас! С появления в ваших руках самого передового средства производства — смартфона! Все, что было до вашего поколения, — это не история. Это переписанная много-много раз в угоду каждому следующему режиму, до красивости криво склеенная «сторька», как вы говорите. Только современные «сторьки» удаляются через двадцать четыре часа автоматом, а провластные копролиты[35] каменели и бронзовели, превращаясь в бюсты у Кремлевской стены. История до вас — это изучение жизни и поступков в большинстве своем извращенцев и идиотов от власти с их безудержной страстью пошалить, хотя бы самую малость, с судьбами живых людей...

— Тихо всем! — крикнула Зина и переключила радио на громкую связь. Из репродукторов в салоне трамвая раздался голос радиоведущей:

— Срочная новость! Предсказания Святого Пьяницы из города Ка о конце света сбылись!!! По сообщениям в твиттере[36] одного из высокопоставленных сотрудников космического агентства НАСА, к Земле приближается огромный астероид, прогнозируемый ранее учеными, но не принятый во внимание! По расчетам аналитиков, космическое тело должно было пролетать на расстоянии шести миллионов километров от нашей планеты. Но что-то пошло не так. И в эту самую минуту тело приближается к нам! Скорость вращения нашей планеты вокруг своей оси замедлилась. Мы стали мишенью для космического удара. Не случилось ли это из-за отмены трамвайного движения?! Моему сыну три годика!.. — радиоведущая зашмыгала носом в эфире, голос ее задрожал. — Политики уже заговорили о новом вызове... Меня уже тошнит от «новых вызовов»... Мой сын в часе езды от меня по пробкам! Один! С сиделкой-узбечкой! Которой я плачу пятьсот долларов — на эти деньги она содержит мужа, ставшего инвалидом на подмосковной стройке, своих троих несовершеннолетних детей и престарелую мать в Бишкеке! Мой малыш сейчас без матери! Без меня! Потому что я здесь, в этой гребаной студии, с охеренной зарплатой, вчихляю[37] вам, дорогим моим радиослушателям и зрителям ютуба, повседневную ложь по выданной методичке! С... я! А не «яжемать»![38] А можно навсегда увернуться от новых вызовов и следующих за ними ударов? Можно ли жить без потрясений? Я носила в себе мечту. Свое дитя. Девять месяцев. Ее отец ушел. Да и хрен с ним. Я ползала по полу от токсикоза заблеванная — знаю каждую дощечку в коридоре. Меня сшивали после родов. Потом он болел — я лечила. Кормила, учила, жалела, успокаивала, читала сказки на ночь... И после всего того — он не со мной! Я собственноручно отдала его чужой женщине! Еще и плачу ей за это! Да что ж с нами происходит, бабы, коли мы своих кровинушек передаем сиделкам? И неважно, с акцентом ли они или с красным генеральским носом! — она разрыдалась... А прорыдавшись, собралась и продолжила новостную программу четким дикторским голосом.: — Я опять в эфире. Место падения астероида неизвестно и неотвратимо. Совет безопасности ООН созван на экстренное совещание. Отброшены все условности и вза-

«Эгоистичный ген». Докинз предложил идею о том, что вся значимая для культуры информация состоит из базовых единиц — мемов, точно так же как биологическая информация состоит из генов. И так же, как гены, мемы подвержены естественному отбору, мутации и искусственной селекции. На основе этой идеи Докинза возникла дисциплина меметика, в настоящее время имеющая спорный научный статус.

[35] Копролиты (от др.-греч. κόπρος — помет и λίθος — камень) — ископаемые окаменелые экскременты.

[36] Соцсеть запрещена на территории России.

[37] Вчихлять (разг.) — обманывать, «втюхивать», «впаривать».

[38] Термин «яжемать» появился относительно недавно, 5—8 лет назад. Обычно его используют по отношению к женщинам, которые, с точки зрения окружающих, слишком агрессивно защищают своих детей или требуют для себя особых привилегий из-за статуса матери.

имные упреки, прекращены все вооруженные конфликты. Власти стран в спешном порядке расконсервировали все имеющиеся в наличии трамваи, какие только можно было найти в собственных депо, и выгоняют их на старые маршруты, дабы увеличить скорость вращения нашей планеты, по примеру трамвая номер восемь из провинциального городка Ка. Но по мнению экспертов, времени ничуть не осталось. В крупнейших городах планеты уже царит паника. Люди в спешном порядке покидают насиженные места. Мегаполисы захлестнули беззаконие и мародерство. Мир на пороге вселенского хаоса и погибели. Трамвай номер восемь — это единственная надежда на спасение нашей цивилизации! Не останавливайтесь ни на секундочку, ребята! Богом прошу!

— Я ж предчувствовал катастрофу! — взволнованно вскричал в проходе проснувшийся мэр на чистом русском языке.

В репродукторе раздались вновь всхлипы, скрипы, и тот же голос радиоведущей, опять сквозь слезы и горловой спазм, произнес:

— Дядя Паша, миленький, спаси нас! — И эфир оборвался...

Пассажиры воззрились на Святого Пьяницу, а он на пассажиров.

— Ну вот и пробил наш час, братья и сестры мои... Кто-то еще не верит? — тихо спросил он. — Знаете, как я пришел к вере? Просто. Сейчас расскажу. Мне было лет двенадцать — переходный возраст. Мы во Фрянове жили... Дядька мой, дед Коля, в церкви служил еще при Союзе. Набожный, странный. Единственный, по его словам, кого батюшка не брезговал: «Миску со щами, бывало, несу, а тот любил, чтоб как кипяток и до самых краев с бугорком, а пальцы мои во щах полощутся. Ничего — ел...»

Я тогда смотрел на его пальцы — толстые, как сардельки, сведенные артритом, а под ногтями с пятикопеечные монеты[39] — черным-черно — и представлял эти ногти в супе. «Фу, какая гадость», — подумал я, меня аж передернуло. Дед Коля глядел на мое лицо и улыбался, причмокивая вставной челюстью:

— Ишь. И тебя выворачивает. Не веришь, поди.

Я замотал головой. А он и говорит:

— Сам посуди, Пашка, в церквушке я единственный и служка, и прихожанин. У батюшки руки ампутированы еще с магаданских лагерей: ироды, вывели его в поле крест из деревянных палок в сорокаградусный мороз держать — веру проверяли. Он и держал... Службу ведет — я от него по правое плечо стою. Он читает — я крещу его своей правой. Веришь?

— Верю теперь, — ответил тогда я.

Все поднялись со своих мест после слов дяди Паши. Мария Александровна и Римма Андреевна, кондукторша, старушка в маске, которая очнулась, обе дворничихи, Анна Ивановна, маленький Саша Пистолетов, Тимофей, Дима, Лола и Полина. Только мэр остался лежать в проходе с переломанными ногами, но и он поднял руку. Лица у всех — серьезные и решительные.

— Веди нас за собой, отец родной! —прошептала за всех кондуктриса.

— Пошли... — прошептал дядя Паша в ответ.

ЧАСТЬ *5*

По трамвайным шпалам шагала молодая женщина. Зина сигнализировала ей звонком, похожим на школьный, чтобы убралась с рельсов, но та не реагировала. Шла себе, а длинная коса о попу билась. В такт шагам. Зина остановила трамвай, не доезжая пары метров до женщины, и высунулась наружу:

[39] Монета 5 копеек в СССР образца 1961 года имела в диаметре 25 миллиметров.

— Ты что — полоумная? Смерти ищешь?

Женщина обернулась на голос, а глаза ее были белые-белые.

— Мне в роддом надо. Воды отошли. Довезете?

Дядя Паша выскочил из вагона и упал на колени перед слепой беременной:

— Матушка! Все как в моем сне! Спасительница! Идем! — и под руку завел русую девушку в вагон.

Та обвела всех немигающим белым взглядом.

— Здравствуйте, добрые горожане! Здравствуйте, трамвайные люди! Меня Евой зовут! Бабушки, дворничихи, мэр со сломанными ногами, телепузики, мальчик Пистолетов... Вот ныне из кого апостолов выбирают? Занятно.

— Зиночка, жми! — попросил дядя Паша.

— Да куда жать-то, дядь Паш? В роддом рельсы вроде есть, а столбы электрические все уже спилили, — с обидой в голосе произнесла Зина.

— На аккумуляторах!

— Ну, с десяток километров проедем, а дальше? Толкать?

— Да что ж это такое, товарищи! Мы полдня мир от большого взрыва спасаем, да неужели ж силища русичей в нас не возгордится, али мы все пальцем деланы? — взорвалась кондукторша.

— Дело говорит констриктор! — поддержал Тимофей. — Мы эту «татру» на руках перенесем, если надо! Езжайте, Зинаида, тайными трамвайными тропами, а за нами не заржавеет!

Зина повела трамвай по заросшим травой и мхом рельсам, пока были мощи в аварийных аккумуляторах. Долго ли, коротко ли так ехали, но вагон все же остановился на подъеме: электрических сил не хватало. Телепузики, дядя Паша, кондукторша, все, кто поживее остальных, толкали вагон трамвайный по рельсам вверх. У Евы уже и схватки начались. Заорала благим матом, словно докер в порту:

— А-а-а-ть! Если б я только знала, как это больно, бабоньки!

Бабушки, запричитав, крутились вокруг нее, как наседки. Откуда-то нашлись и ванночка, и ведро с чистой водой, и простынка, которой отгородили Еву от внешнего мира.

Зина взмолилась перед «толкателями» трамвая:

— Ребятушки, миленькие, вы только на горочку меня закатите, а с нее мы как на планере! Вмиг до перинатального долетим! Если рельсы еще не разобрали...

— Сделаем, Зин, ты только рули!

Уперлись, толкнули, а он, вагон, норовит обратно сползти. Устали, сил нет. Кирпичей под колеса подложили, разлеглись на траве — перекур.

— Да где ж Николай-то наш?.. — измученным голосом проговорила Лола.

И тут же явился пылесос Ну-Ну.

— Еле нашел вас, друзья! — обрадованный, глянул на Лолу. — Чего сидим? Стоп перекур! Подъем! Покатили!

И... стал двигать и двигать железную машину, ради Лолы, вверх, в горку. И вагон поддался ему. И ребята повскакивали с земли, и дядя Паша, и кондукторша, и как будто сил у всех прибавилось во сто крат. А Зина высовывалась из кабины и смеялась, подбадривала толкачей:

— Вы ж мои богатыри, вы ж мои орлики!

Мария Александровна и Римма Андреевна захлопали в ладоши, наблюдая за Николаем через стекло на задней площадке. Марь Санна, вытирая набежавшую слезу, обняла Римму Андреевну и произнесла, кивая на Николая:

— На Федюнечку-то нашего как похож, Римм?

— Правда, Маш... — произнесла ее растроганная подружка в ответ. —Прям мурашки по коже.

Затолкали-таки «татру» на вершину холма!

— Ты мой герой! Ты приходишь тогда, когда нужен мне больше всего! Ты надежный! — Лола поцеловала Николая в губы, а тот от смущения опустил глаза. И незаметно вытер слезинку.

Зина выскочила из вагона и перевела путевые стрелки.

— Ну, с Богом! — произнесла она и перекрестилась ломом.

Села за приборную доску. Открыла красную крышку на панели, включила все кнопочки и тумблеры. По громкой связи отдала приказ:

— Теперь главная я!!! Все заняли свои места! Пристегнули ремни! Форсаж?!

Кондукторша:

— Есть форсаж!

Зина:

— Закрылки?!

Кондукторша:

— Есть закрылки!

Зина:

— Бортовые огни?!

Кондукторша:

— Есть бортовые!

Двигатель «Татры T2SU» взревел и затрясся на остаточном электрическом топливе, будто прокачанная «мазерати»[40].

Кондукторша вышла в салон с микрофоном в руке и, как заправская стюардесса, зачитала инструкцию для пассажиров во время полета в трамвае:

— Дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера, носящего отныне имя великих русских технологов-рецептологов Евгения и Анатолия! Командир корабля, летчик-испытатель первого класса Зинаида Витольдовна Крант, бортпроводник — обер-кондуктриса Эмилия Студебеккер. Во время полета не рекомендуется подниматься из кресел и открывать форточки, санитарные пакеты находятся в кармашках впереди сидящих пассажиров. Желаем вам приятного полета!

Зина с умилением оглянулась на кондукторшу:

— Во дает! Я ее «мать» да «мать» кличу, а она... Эмилия!

С горки стало видно, как старые трамвайные пути, заросшие крапивой и кустарником, стало заволакивать густой хмарью[41]. Дядя Паша посмотрел сквозь лобовое стекло на стену тумана, схожего по цвету с глазами Евы.

— Вот ОНО. Накрывает землю-матушку... — прошептал он.

— Этого еще не хватало! А-а-а-а-т винта! Пое-е-е-е-е-ехали! — заорала Зина.

Трамвай тронулся медленно и плавно, а потом, пересилив холм, вмиг кивнул вниз с горы, и начались настоящие «американские горки». Пассажиры вопили! Кричали! Голосили! Горланили! Выли! Рыдали! Кто от страха, а кто от восторга. Кого-то рвало, один требовал открыть двери, другой бился об окна, как муха, свет в салоне загорался и гас, искрило, трясло, скрежетало, вагон наполнился дымом, и все одновременно подумали, что это и есть конец света! Трамвай, дребезжа, несся вниз, словно в пропасть. Пассажиры в ужасе вцепились в поручни и друг в друга.

---

[40] Maserati S. p. A. — итальянская компания, производитель эксклюзивных автомобилей спортивного и бизнес-класса. Основана 1 декабря 1914 года в Болонье, Италия. Эмблемой компании является трезубец Посейдона, элемент фонтана Нептуна в Болонье. Штаб-квартира находится в городе Модена, Италия.

[41] Хмарь — пелена тумана.

Дядя Паша бубнил озабоченно:

— Чего-то не хватает, чего-то не хватает... никак не могу вспомнить свой сон... что-то не так...

Рожающая Ева обернулась на бормотание дяди Паши, взглянула на него прекрасными белыми глазами, погладила по косматой голове ладошкой и тихо прошептала:

— Музыка...

Дядя Паша огрел себя по лбу ладонью:

— Евочка! Точно! Вот дубина стоеросовая! Весь ум уже пропил!

Обернулся в задымленный салон, перекрикивая корчи пассажиров и скрежетания вагона, вскричал:

— Саша, играй! Сашенька Пистолетов! Мальчик мой, играй!

Вагон кидало из стороны в сторону, а над этим хаосом, над всем этим адовым кругом, в эпицентре его, в трамвае — зазвучала скрипка!

Дядя Паша заплакал.

— «Шторм». Вивальди. Божественно! Саша — умничка! — сжав кулаки, прошептал он. — Проскочим, проскочим, проскочим... Я все правильно рассчитал...

— Дядя Паша! — нечеловеческим голосом завопила Зина, показывая на «нечто» через лобовое стекло кабины.

Взоры пассажиров устремились в направлении ее руки — огромный астероид размером с две башни «Империя» из Москва-Сити летел с космической скоростью прямо в трамвай номер восемь. В салоне раздался вой обреченных. Кромешная тьма накрыла вагон, послышался дикий лязг, вагон тряхнула неземная сила — его накренило, он сошел с рельсов, а скрипка Пистолетова не умолкала ни на мгновение!

Метания трамвая вдруг прекратились... Подымок в салоне и мгла снаружи начали рассеиваться. Вагон остановился. Зина, обессиленная, упала головой на панель, успев выдохнуть в микрофон:

— Остановка «Роддом».

Двери трамвая растворились. И все увидели слева от себя здание областного перинатального центра. Саша Пистолетов заиграл «Тишину» Бетховена.

Телепузики обступили Еву, радостно загалдели:

— Евочка, побежали! Хочешь — мы тебя донесем!

Ева, взирая на молодежь счастливыми белыми глазами, тихо промолвила:

— Родные мои! А я уже родила... — отпахнула простынку, а под ней — розовый младенец, сосущий Евину грудь.

— Девочка, — прошептала Ева. — Зиной назвала.

Спина вагоновожатой затряслась над торпедо...[42]

* * *

На стене родильного учреждения висел огромный светодиодный экран — передавали последние новости. Пассажиры вагона повернули головы к нему:

«Мы спасены! Мы спасены! Мы спасены! Космический астероид по непонятным для ученых причинам отрикошетил от Луны, изменил траекторию полета на полградуса и пролетел над поверхностью нашей планеты на расстоянии трех метров, не причинив Земле ни йоты ущерба! Пострадал только пантограф[43] трамвая номер восемь

[42] Торпедо — название приборной панели транспорта, ставшее нарицательным по названию компании-производителя «Torpedo».

[43] Пантограф (токосъемник типа пантограф, пантографный токоприемник) — токоприемник с подъемным механизмом в виде шарнирного многозвенника, обеспечивающего вертикальное перемещение контактного полоза трамвая.

из городка Ка. Пресс-секретарь администрации губернатора заверил, что ремонтная бригада уже выехала на место аварии...»

Пассажиры захлопали в ладоши, стали обниматься, плакать и кричать «Ура!».

В открытую дверь трамвая, из которой раздавались аплодисменты, заглянула красивая грустная женщина и тихо спросила:

— Я ищу мальчика. Сашу Пистолетова. Вы его не встречали? Он еще на скрипке играет...

Саша вскочил с сиденья.

— Мама! Мамочка! Это моя мама! Она вернулась ко мне! — завороженно выпалил он и побежал к ней между сидений салона, споткнувшись о мэра.

Женщина, присела на корточки в проходе, поймала и крепко обняла Сашу:

— Мой любимый! Я за тобой! Пошли?

Саша звонко засмеялся, обернулся к Анне Ивановне, а та кивнула ему головой. Мама Саши помахала воспитательнице: «Адью», а губами произнесла: «Мерси!»

Саша с мамой спустились из вагона и медленно побрели, обнявшись, в сторону закатного солнца...

P. S.

Слепая Ева сидела на ступеньках трамвая и кормила дочь грудью. Дядя Паша в окружении двух дворничих — бабы Катри и Ферузы, кондукторши Эмилии, вагоновожатой Зинаиды Крант, Марь Санны, Риммы Андреевны, Тимофея, Димона, Лолы, Николая, Полины, Анны Ивановны, мэра и женщины в медицинской маске, которая всю дорогу причитала то за провал, то за победу, чокались коктейлями — пили и веселели.

— Так ради чего все это было, дядь Паш? — спросила Зина.

Дядя Паша пластмассовым стаканчиком «тыкнул» в сторону уходящих по аллее обнимающихся Пистолетовых, но не успел ответить.

— Ради этого, Зин, ради этого... — произнесла за него Ева, целуя кряхтящую маленькую Зинку в лобик.

Около дружной компании остановился автозак. Из него выбежали омоновцы, похожие на космонавтов в черных скафандрах, и окружили с автоматами наперевес пассажиров трамвая. Старший из них, единственный без маски на лице, устало улыбнулся.

— Ну что, Павел Григорьевич, спасли мир от астероидной чумы? — ласково спросил офицер у дяди Паши. — Всех задержанных мы через пару часов отпустим, а вот Павел Григорьевич поедет с нами дальше...

— Куда уж дальше — дальше некуда, — пробормотал дядя Паша.

— Найдется куда. До самой сути... — ответил офицер.

Кивнул подчиненным, и те лихо затолкали всех в грузовик и увезли в ближайшее отделение полиции. Через минуту прибыла ремонтная бригада. Ремонтники в телогрейках прицепили вагон к тягачу, и тот потащил трамвай с цифрой бесконечности на лобовом стекле неизвестно куда, почему и зачем...

Алексей БОЛОТНИКОВ

На юге Красноярского края есть старинный город Минусинск. А неподалеку, минут двадцать на машине, не менее старинное село Тесь. Въезжаешь в него, и сразу понятно: люди любят и уважают место, в котором живут. Чистые улицы, ухоженные усадьбы. Быть может, потребность в чистоте привили ссыльные — отправляли сюда и декабристов, и народников, и марксистов. Взрастала здесь и местная интеллигенция — не раз бывали (а точнее — живали) молодыми людьми Геннадий Юдин, известный красноярский библиофил, художник Суриков...

Сейчас живет в Теси барабанщик всемирно известной (надеюсь, не преувеличиваю) музыкальной группы «Ят-ха» Евгений Ткачев, ну и вот писатель Алексей Болотников.

Мы познакомились около трех лет назад, когда собирали первый номер альманаха «Енисейская Сибирь», объединивший литераторов трех регионов России, расположенных по берегам Енисея: Тувы, Хакасии и Красноярского края. Но стихи Алексея Константиновича я встречал давно в сибирских журналах, в альманахе «Тесинская пастораль» — явления редкого для села в две с небольшим тысячи жителей. Но не число людей важно, а их качество. В Теси много тех, кто занимается творчеством. Пишет, рисует, режет по дереву...

Рад, что подборка стихов Алексея Болотникова выходит в одном из лучших российских «толстяков». Знаю, что от поэзии сейчас многие требуют оригинальности в плане формы; стихи сюжетные считаются дурным тоном, проникновенность и душевность у так называемых специалистов вызывает ухмылку. Уже и рифму не жалуют.

Стихи Болотникова в основном традиционны по форме, во многих есть сюжет, они берут за душу. По крайней мере, меня и моих знакомых.

В Красноярском крае и окрестностях читатели Алексея Болотникова знают. Надеюсь, публикация в «Неве» прибавит ему читателей и здесь — на земле западнее Урала.

Роман СЕНЧИН

ФЛЮИДЫ ДЕРЕВЕНСКИЯ

Кочегарит зима,
Подпирая полнеба столбами.
Деревенский дендрарий дымов
На канун Рождества.
Ах, деревня моя!
Моя связь с родовыми гробами,
Признаю за тобой
Свои древние корни родства.

Алексей Константинович Болотников родился в 1950 году в селе Тесь Минусинского района Красноярского края. Окончил Иркутский политехнический институт. Работал геологом, старшим геологом и старшим геофизиком, начальником отрядов и участка, с 1996 года работал на Минусинском радио (корреспондент радио, диктор). Начал печататься в студенческие годы. Публиковался в местных и центральных периодических изданиях. Автор книг стихов и прозы «Очарование розой ветров», «Поэты местные — мессии», «Гать», «Экспедиция называется...». Его произведения размещены на литературных порталах в Интернете. С 2000 года живет в селе Тесь.

Попаду на гулянье,
Под гулкую блажь самогона
Забреду в сеновал,
Как корова, сломавшая жердь.
Отпусти меня, город, сюда!
Отпусти на полгода...
Только на ноги встать,
Только вспомнить земельную твердь.
Провалившись в сугроб,
Обнимаю мохнатое рыло...
Я люблю этот снег,
Это тканое чудо плетня...
...Зацепило меня дрекольем,
Как гвоздем зацепило.
Неужели, деревня,
Ты все еще помнишь меня?

* * *

— Ты Ленька? Ты правда вернулся?
И снова сюда... насовсем?
— Сорвался с таежного курса?
— С маршрута сошел, Алексей?
«Наверно... возможно... посмотрим...» —
Я вам отвечал невпопад.
И рад был тому, что усмотрен,
И узнан, и принят назад.
Какое счастливое чувство:
Открыть интерес земляков
К себе, не к персоне искусства,
Не к автору беглых стихов,
К тому деревенскому Леньке,
Из прежних односельчан,
Уехавших в город давненько
Учиться конкретным вещам...
Вернулся не рваным, не пьяным,
Не конченным вечной нуждой.
Возможно, немножечко странным
И... обремененным виной.
Виной — не виной... Сожаленьем
За четверть — вторую — годов,
За службу до самосожженья
У лживых идей и богов.
Вернулся обросшим телесно
И отягощенным душой.
Я дома. Сельчане, мне лестно:
Вы интересуетесь мной.

* * *

Новый статус пробую: сельчанин.
Сено, сани, печь... Иконостас.
Через тын февральскими ночами
Шуберт вьюжит, громыхает Брамс.
Облачаясь в шубу, за ограду
Выхожу я, сельский человек.
В меру пьян, куражлив до упаду.
И влюбленный в этот лунный снег.
Гей, мороз, щипни меня за щеки,
Испытай на дюжесть сизый нос...
Думал, городские человеки
Задохнутся от лихих угроз?

Думал, городские сопли жиже?
А душа затравлена постом?..
Э, пойду в гумно, надену лыжи!
Или, может быть, еще... грамм сто?
Отчего ж не выпить яд столичный,
Как бальзам от моровой тоски?
От судьбы общественной и личной
Отчего ж не покусать куски...
Жжет студеный хиус с Енисея.
Зычным «Енисеюшком» поет...
«Я твой хор! Услышь меня, Расея?!»
Ан не слышит... Дремлет. Или пьет.

* * *

...Вот пришкольный амбар,
Где пришкольная мудрая лошадь
Обитает, как призрак из шестидесятых годов.
— Но-о, Пегас деревенский! —
Трусит по осенней пороше.
Вдохновению служит и бздит заготовками дров.
Вот и кузня и двор, где ковали коней златокудрых,
Где и мы, пацаны, наковальням обмяли бока.
Кузнецы тех эпох были зело и обло премудры:
Доверяли и нам, пацанам, хлеб и соль ремесла.
Ничего уже нет: кузнеца, наковальни и кузни.
Пацаны и девчонки по клавиатуре стучат.
Мир их стал безграничен. А жито, а запах Отчизны
Не заменит, увы, виртуальный, бесчувственный чат.

* * *

Собираются люди на сход.
Сход, конечно, не инаугурация.
И вопрос на повестке не тот,
И не время теперь собираться,
И не любит собранья народ:
За него решено — полагает он,
Демократия — хитрый урод:
Жрет у бедных. А служит богатым.
Дел домашних невпроворот:
То штаны залатать, то заплот.
По весне распочать огород...
Ну а сход?.. «Формализм и трепло!»
Впрочем, власть отчитаться должна.
По уставу положено ей.
Ни язык не болит, ни спина.
Да к тому же ей, власти, видней,

Как спасать умирающий бор,
Куда мусор накопленный свезть.
Почему, наконец, до сих пор
Не обрежут тарифы на свет?!
...Собираются люди на сход.
Надо телку пристроить в табун.
И идут: тетя Маша, Федот,
Гаврилюк, неуемный трибун,
Председатель, и зам, и пастух,
Как всегда, дядя Ваня Сахно...
До других не дошел пока слух:
«После схода покажут кино».

* * *

Тары-бары-растабары...
По Теси бродили пары
И полночные Стожары
За околицей их ждали.
По Теси блудили парни
Мимо кузницы и почты,
В поисках любовной почвы
Обмочив углы амбара.
Парни Болкины, лихие,
С тыквой в полночи торчали.
Звезды падали стихийно.
В клубе шло кино о Чарли.
По Теси бродил Натыра
Санька, с фермы старожил.
Узкоглазый сын батыра,
Сельских девок сторожил.
Савин младший, старший Савин
(по прозванию Бандит) —
Тоже с ферменских окраин,
Как с космических орбит.
— Савин Ленька?
— Ленька Савин!
Леонид Георгиич...
— Эка личность!.. Парень славный
В череде тесинских лиц.
Даниленко, чижик-пыжик,
Разрешавший все сплеча.
Зайцев... тот, который выше,
Морда просит кирпича...
Где вы, парни золотые?
Где те годы молодые,
Ночи, дни и вечера,

Отшумевшие вчера?
Где курчавый тот теленок?
Где вы, нежности телячьи?!
А друзья мои с пеленок,
Что ж, старее старой клячи?..
Ах, о чем, о чем печали...
Что печалиться, друзья!
Кончилось кино о Чарли.
Брезжит новая заря.

ФЛЮИДЫ СИБИРСКИЕ

Вот она, провинция! И море...
Морю рукотворному не верь!
Умный кот бредет по лукоморью,
Строчкой побирающийся зверь...

Идет направо — истину оспорить:
«Провинция — поэма перепевов»...
— Провинция — надежда и опора!..
(И, проиграв суды, идет налево...)

Идет-бредет по городам и весям,
И хвост задрав, и вознося ученость,
По лукоморью в гордом равновесии,
Провинцией на веки обреченный.

ВЕСНА

Голые кустятся долы степи,
В заветерьях распускаясь цветом.
Теплит солнце их, и камни теплят,
Распуская по полянкам лето.

* * *

Дар березы — березовый веник,
Чага, или сувельный кап...
Под ножом из березовой вены
Кровь зеленая кап... кап... кап...

* * *

Березочка, тонкое деревце,
Как струна под пальцами ветра,
Ты звучишь, западая в сердце
Мне — молитва новозаветная.

Уже не на кого надеяться.
Уже реки ржавеют и ветры,
Ты, березочка, девушка-деревце,
Отведи волжбу и наветы.

Березочка, милая девушка,
В пору утреннего вставания
На тебя одну уповаю я —
Мое деревце воскрешения.

Расцветая весенней прелестью,
Зашуми, разбуди Расею...
На тебя лишь одну надеюсь,
На святое деревце-деву.

ОСЕНЬ

Кто там?.. Гости. Хлябь и слякоть.
Мнется осень в кожушке.
Выходи, мол, небо пахнет
Хмарью, ссохшейся в мешке.
Выхожу на панихиду
По поникнувшим богам...
Хор ли плачет... гром ли ропщет —
Трубных плакальщиц орган.

* * *

Тратит осень за окном
Утлые пожитки,
Прибираясь перед сном,
А уже не жить ей...
А уже костер пожух
Из рябины красной.
И пророчит гиблый дух
Ворон громогласный...

* * *

Тычется пестик в соцветье тычинок,
Топчутся парни в альковах девичьих.
Тупо поэты взирают на тропы.
Кошки исходят стихами на случках.

Пестики тупятся самозабвенно.
Девичьи слезы цветут по обличью.
Сонно поэты кошачие бродят.
Ночью плодятся стихи.

ФЛЮИДЫ *СТИХИ*ЙНЫЕ

Опалите мне душу до смертного пала.
Цинизм — как напалм, как бесстыдство — беда.
Не пашней — водой океанского вала —
Душа умерла средь пустыни стыда.

Ирина МУХИНА

РОЖДЕНИЕ СТАЛИНОЧКИ

Рассказ

Николай переступал с ноги на ногу, хлопал в ладоши, тер уши, но все равно мерз страшно: ни старые валенки, ни потертый полушубок не спасали от декабрьского мороза. Окна на втором этаже деревянного дома, переделанного в родильное отделение больницы, были ярко освещены. Жена Николая, Рая, рожала уже десятый час. Будущий папа весь извелся. Николай несколько раз заходил домой, чтобы немного согреться, но не выдерживал и бежал обратно нести вахту под окнами больницы. Мрачная женщина-вахтер у входа не пускала Колю даже на порог.

— Вишь, вздумал. Все мужья сидят себе по домам. Утром приходи. — На все просьбы пойти узнать, как Рая, только плевалась. — Все рожают, и твоя родит. У нас дохтора хорошие. А я чё тебе, дверь тут без охраны оставлю и твою Райку искать пойду? Да ей не до тебя небось. Видывали таких, кобелей. Детей наделают, а потом продуху всем не дают. А если роженицу привезут? Ей на морозе рожать, что ли?

— Да я посторожу, дверь открою, если кто приедет.

— Знаю я вас. Сопрешь тут у меня чего. Иди лучше.

Приходилось прыгать под окнами. Николай взглянул на часы: первый час ночи. Решил еще раз быстренько сбегать домой, погреться. Пока бежал темными улицами, мечтал о каше, которую Рая оставила в печке. Вошел в сени, зажег лампочку. Тусклый свет осветил скупо обставленную избу. Без Раи было не по себе. Коля достал из остывшей печки горшок с кашей, поел. Разжег самовар, заварил чая. Глаза слипались...

Проснулся, как от толчка. За окном слабые лучи солнца пробивались сквозь зимнее ватное небо. Коля вскочил, набросил тулуп, схватил шапку и рукавицы и побежал в больницу.

На входе дежурила уже другая женщина, Марья Ивановна, соседка Волиных. Она не только пустила Колю, но и спросила у мимо проходящей санитарки, как там Раиса.

— Родила уже, все хорошо, обе живы. Дочка. — Коля заплакал.

— Да что плачешь, папочка? — спросила Марья Ивановна. — Всем бы таких мужей, — вздохнула. — Ну ладно, ты тут посиди, пойду погляжу на твою, привет передам. — Марья Ивановна, грузно переваливаясь на кривых ногах, пошла вверх по лестнице.

Ирина Анатольевна Мухина родилась в 1973 году в Москве. Окончила Художественное училище имени 1905 года по специальности «художник-оформитель», Институт имени Гёте, Московский государственный лингвистический университет по специальности «специалист в межкультурной коммуникации. Переводчик. Преподаватель. Лингвист. Немецкие и английские языки». Публиковалась в литературном сборнике «Весна Анфисы» (М.: Литературный институт имени А. М. Горького).

Через десять минут вернулась: — Все хорошо, спят они. А дочка дюже на тебя похожа: и глазки, и губки такие же. Сразу признать, чья такая. — Слезы опять навернулись на глаза Коли...

Пока жена с дочкой лежали в больнице, Коля бегал по базарам, покупал Рае мясную вырезку и творог, как велел врач. Варил борщ, вареники, бегал с дымящимися кастрюльками в больницу. Сам сделал люльку, а Марья Ивановна отдала детское одеяльце. Через недельку врачи выписали Раечку с дочкой. Соседка обещалась заглядывать, подсобить чем молодой мамочке: а та слабенькая еще была, а ребенок кричал и день и ночь. После работы Коля бежал сразу домой, дюже за жену и дочку переживал. А как оклемалась малек Раечка, так выправили свидетельство о рождении. Дочку Сталиной назвали. Дата рождения: 23 декабря 1937 года.

— Сталина Николаевна — красиво, правда? — хвастался Коля.

Товарищи по исполкому согласно кивали.

— Как же, правильно назвал, так и надо.

Тяжелое время было. Партийные собрания затягивались. Каждый раз все дольше и дольше. То одного товарища прорабатывают, то другого, то заговор раскроют. А Коля как на иголках: домой пора. И отпрашивался уже сколько раз, а что делать? Дома малыш, плачет все время. Надо дров принести, печку топить, у жены грудница — не может сама, ей бы выздоравливать спокойно и младенчика выкормить. Хорошо, что Марья Ивановна помогает, а то совсем тяжко было бы.

Незаметно для Коли пролетела зима. Днем работа, поесть некогда. А как до дому добежишь, то домашние дела наваливаются. Ночью ребенок кричал, надо укачивать, дать жене поспать. От недосыпа Коля похудел, глаза ввалились. Вася и Саша, коллеги Коли, сидящие напротив него, понимающе переглядывались. У самих по двое детей. Брали на себя тяжелые инспекции, а Коле оставляли отчеты составлять, благо что писал без ошибок. Но все равно, зима тяжкая выдалась. Свинцовые зимние ночи сменялись короткими днями. Сядешь, напишешь нужную бумагу, а уже ночь. И бесконечный снег за окном, а то и вьюга, с ног сбивает. А дочка дома кричит, Рая еле ходит, за стенку держится. Наконец наступил февраль, потом долгожданный март. Дни стали длиннее, ночи короче. У дочки перестал болеть животик, Раечка поправляться стала, уже и легче.

Очередным весенним утром Коля открыл глаза. Будильник, купленный по случаю, уже не врезался в мозг, как ржавый гвоздь, а звенел трелью. Коля вылез из-под одеяла, заботливо подоткнул его под бок Раечки, поцеловал дочку, спящую под грудью мамы. Пошел в сени, умылся ледяной водой. Затопил печку, засыпал углей в самоварную трубу. Пока грелся самовар, оделся, присел пару раз с гантелями, отжался. Заправил брюки галифе в сапоги, пошел на работу.

В здании исполкома стоял тревожный гул.

— Что такое? — спросил Коля у Ивана Сергеевича, старого коммуниста.

— Твоих соседей по кабинету арестовали.

— Как арестовали?

— Антипартийный заговор.

— Да я их знаю. Они убежденные коммунисты. Какой антипартийный заговор?

Иван Сергеевич наклонился к нему.

— Ты тихо. Тебя не взяли, потому что ты сразу после работы домой к жене и новорожденной убегал. А твои коллеги после партийных собраний еще долго на работе были, чай пили: заговор плели, оказывается. Наши доблестные чекисты их раскрыли. Так-то.

Коля ошарашенно проводил его глазами.

— Как так-то? Это Вася, Женя и Саша плели заговор? Мои родные, дорогие товарищи. Кто меня всю эту мучительную зиму прикрывал и помогал? Они допоздна сидели, потому что выполняли задания партийных собраний. И за него работали, когда я домой раньше их уходил. И защищали меня всегда. Какой же заговор? Нет, это ошибка. Они настоящие, верные друзья, мы вместе огонь и воду прошли. Такого просто не может быть.

Николай поправил волосы, отдернул потрепанную гимнастерку. Побежал к начальству. Кабинет Олега Ивановича, начальника исполкома, находился на третьем этаже. Пока добежал, уже составил в голове речь, что скажет в их защиту. К счастью, секретаря Олега Ивановича, крупной женщины сорока лет, не было на месте. Коля постучал.

— Войдите. — Коля открыл дверь.

— А, ты, — протянул Олег Иванович. Коля начал было приготовленную речь про своих арестованных товарищей, но Олег Иванович его прервал: — Николай Григорьевич Волин, подождите. Давайте так. Что вы сейчас мне сказали, я не слышал. — Коля замолчал.

— Вы отсутствовали на многих партийных собраниях. И наверно, не поняли, насколько серьезна сегодняшняя ситуация. Вы, вообще-то говоря, Родину любите?

— Родину? – растерянно переспросил Коля.

Но Олег Иванович продолжал не останавливаясь:

— Враги Советского Союза оказались даже у нас, в исполкоме, в сердце советского общества. Вы сидели в одном кабинете с предателями, и как партийный работник вы должны были догадаться и донести куда следует. Сегодня на партийном собрании я доложу о ситуации.

Олег Иванович подошел вплотную к Коле и уже шепотом сказал:

— Вы зайдите в отдел кадров и напишите заявление об увольнении по семейным обстоятельствам. Напишите, что ваша жена больна. Что вам надо ехать на юг по советам докторов. Или что угодно. Вы же понимаете, что сегодня-завтра придут за вами?

Коля вышел из кабинета на ватных ногах. Вся его жизнь в одно мгновение полетела под откос. Перед глазами стояли лица Василия и Александра. Коля ни на секунду не сомневался в невиновности своих друзей, как и не сомневался в том, что ему дали лишь небольшую отсрочку и скоро придут за ним. Все намеки, которые он слышал этой страшной зимой, все тревожные слухи об арестах коммунистов, о «Золотой горе», куда везли арестованных, сложились за минуту в одну общую картину.

Коля зашел в кадры, написал заявление. К его удивлению, трудовую книжку ему отдали тут же, не задав ни одного вопроса.

Коля не помнил, как дошел домой, что говорил Рае. Не помнил, как ходил по проселочной дороге вдоль дома, как хотел наложить на себя руки. Также совершенно стерлись из памяти поспешные сборы и отъезд. Собрали два чемодана с самыми необходимыми вещами, остальное отдали Марье Ивановне. Ехали на перекладных, на прямые поезда садиться боялись. К концу четвертого дня добрались до Коврова.

Коля устроился на фабрику простым рабочим, Рая занялась хозяйством.

Через десять лет, уже после окончания войны, Рая написала письмо Марье Ивановне. Через месяц пришел ответ от ее дочери. Добрейшая женщина умерла от воспаления легких во время войны. А в избу, где они жили, на следующую ночь после их поспешного отъезда приезжали чекисты.

Вячеслав РЫБАКОВ

ВРЕДНО БЫТЬ БОГОМ

Чем дольше живешь — тем сильнее начинаешь чувствовать благодарность тем, кто помог тебе, когда ты был молод.

Может быть, поэтому — во всяком случае, отчасти поэтому — я пишу этот небольшой текст не к юбилею того, о ком пишу, а в год моего собственного семидесятилетия.

К сожалению, по горячим следам, в молодости, чужая поддержка то ли почти не ощущается, то ли воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Возможно, как продолжение еще памятной родительской заботы. Я же такой умный и обаятельный, такой работящий и старательный — разве можно этого не оценить? Только много позже, частенько — когда уже некому сказать «спасибо», начинаешь осознавать, что именно все эти замечательные качества способны подвигнуть окружающих скорее не на то, чтобы, как выразился один из персонажей «Щита и меча», протянуть тебе руку, а на то, чтобы подставить тебе ногу. Из читанных в отрочестве книг мы, конечно, знаем о том, что в мире существуют нечестные, неумные, завистливые, злорадные, трусливые, спесивые люди, но в реальности не очень-то верим в их существование, во всяком случае, в существование их в нашем непосредственном окружении; они для нас что-то вроде Бармалея. Только годам к тридцати, набив положенное растущему организму количество шишек и синяков на душе и теле, можно по-настоящему прочувствовать, что фея-крестная — куда более сказочный персонаж, чем злая мачеха и ее дочурки.

И вот именно по мере того, как до тебя это доходит, растет твоя благодарность тем, кто оказался для тебя все-таки феей.

Мой научный руководитель в аспирантскую пору, великий русский востоковед Евгений Иванович Кычанов родился в Сарапуле 22 июня 1932 года. Девятью годами позже очередные двунадесять языцев, на сей раз с Гитлером во главе, вломились в нашу страну именно в этот день, и из-за них Евгению Ивановичу в течение многих десятилетий невозможно было открыто — и тем более официально — праздновать свой день рождения в день своего рождения.

Не могу не вспомнить, как неутомимо наши прогрессивные историки подсчитывали количество германских и советских потерь, чтобы, сравнив, удовлетворенно потереть ладошки: бездарный Сталин немцев трупами завалил. Как будто все эти сотни и сотни тысяч итальянцев, румын, мадьяр, финнов, испанцев, французов, чехов, словаков, голландцев и прочей околофашистской мрази тут только цветы собирали...

Но это к слову.

Впервые я стал ходить в библиотеку нашего питерского отделения Института востоковедения Академии наук — ныне самостоятельный Институт восточных рукописей РАН — на четвертом курсе. В то время студентов-синологов ориентировали больше на перипетии становления Компартии Китая да на критику маоизма, а я темами курсовых и диплома ухитрился выклянчить все ж таки девятнадцатый век, истинный им-

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил восточный факультет ЛГУ, работает в Институте восточных рукописей, доктор исторических наук. Прозаик, публицист, киносценарист. Лауреат нескольких литературных премий и Государственной премии РСФСР по кинематографии. Живет в Санкт-Петербурге.

перский Китай, хоть и на закате. Нужные мне книжки оказались только в достославном ЛО ИВ АНе, как сокращенно звался в ту пору институт.

Тогдашняя сотрудница библиотеки Изольда Эмильевна Циперович, сама прекрасный китаист, видимо, приметила, сколько времени я проводил в читальном зале, изучая книги отнюдь не студенческого набора, и, когда в 1976 году подошел урочный час моих выпускных экзаменов, познакомила меня с Кычановым. То есть просто привела к нему в маленький отдельный кабинетик, который он занимал как заместитель директора института, да сказала пару теплых слов. И после нескольких собеседований Кычанов сам предложил мне попробовать поступить к нему в аспирантуру, а там на материале уголовного кодекса танской династии «Тан люй шу и» заняться темой «Правовое положение чиновничества при династии Тан».

Как он угадал? Как сработала его поразительная интуиция? Да, исследования китайского традиционного права в те годы еще только начинались, были в зачаточном состоянии, и надлежало срочно латать эту брешь в тематике российского (тогда — советского) китаеведения, но... Чиновники! Эта была тема на всю жизнь.

Я возвращался домой после беседы с моим будущим учителем, и сердце у меня пело от сладостного предвкушения. Уже тогда я соображал или, скорее, чувствовал, что бюрократия — это не только про средневековый Китай. Рожденный в СССР, я отлично понимал, что и моя страна тоже управляется громадной бюрократической машиной, и управляется не очень, мягко говоря, хорошо, ибо бюрократия раздута, раскормлена и неэффективна. Многие века успешного, хотя, разумеется, далеко не беспроблемного существования Китая уже тогда наводили на мысль, что там как-то научились повышать эффективность и добросовестность своих управленческих кадров. И мной овладела совершенно детская мечта открыть в китайской истории их китайский секрет, который затем поднести на блюдечке с голубой каемочкой Отчизне, и тогда жизнь наша изменится к лучшему, потому что управленческая машина заработает, как работала в первые десятилетия каждого успешного династийного цикла в Поднебесной.

Мечта была детской, однако, похоже, именно теперь, десятилетия спустя, я начинаю понемножку ее осуществлять...[1]

Но тогда, осенью 1976-го, решилось все в одночасье — короткой фразой будущего руководителя моей диссертации: «А тема у тебя будет такая...»

Можно очень по-разному вспоминать о Евгении Ивановиче.

Можно, например, вспомнить его стиль руководства.

Теперь я понимаю, что оно было как воздух. Пока воздуха хватает и он чист — ты его и не замечаешь вовсе, дышишь себе, делаешь, что хочешь, и летишь вперед, если тебе это интересно и ты на это способен. О воздухе вспоминаешь, только когда начинаешь задыхаться.

Поначалу раз, а то и два в неделю мы с руководителем вместе сидели над текстом тогда еще едва понимаемого, не паханного у нас в стране никем Танского уголовного кодекса, и Кычанов учил меня тому, что успел к тому времени понять в нем сам. Потом я нашел в библиотеке института рекомендованный опять-таки самим же Кычановым микрофильм докторской диссертации американского синолога Уоллеса Джонсона, которую он защитил по переводу первых трех глав «Тан люй шу и» — в Штатах исследования китайского традиционного права тогда тоже еще только начинались. И я стал просиживать за аппаратом для чтения микрофильмов буквально с рассвета до заката, пришлось даже выклянчить у пожарной охраны института разрешение работать вечерами, после окончания рабочего дня; кстати сказать, без помощи Кычанова такое разрешение я вряд ли бы получил. Буквально пофразно, пословно я сравнивал китайский

[1] См., напр.: Рыбаков В. М. Образ желанного мира и бюрократия // Россия в глобальной политике. 2023. Т. 21. № 4. С. 22—43.

текст и его английский перевод, где-то хлопал себя по лбу («как же это я сам не догадался!» или «так вот же что оно значит!»), кое-где недоверчиво крутил носом — главным образом по поводу модернизаций, уже тогда казавшихся мне недопустимыми; скажем, иероглиф в тексте значит «ответ закона на такое-то действие должен быть таким-то и таким-то» (изначальный смысл иероглифа — эхо), а у американца он переведен как «имеет право» (have a right). Это в средневековом-то Китае! И одновременно — уже начал как-то анализировать прочитанное, набрасывать свои соображения... К руководителю я ходить совсем перестал. Недели две Кычанов терпел, потом забеспокоился — заподозрил, что я бью баклуши. Настоятельно пригласил отчитаться. И я принес ему свою первую статью. Он прочитал и сказал только: «Ну, работай, а если что-то понадобится — заходи».

Или вот несколькими годами позже, буквально накануне предварительного обсуждения моей кандидатской. В ту пору я уже и писанием литературных трудов занимался, причем, как водилось в 80-х годах прошлого века, инфантильно вольнодумных. И конечно, давал читать всем друзьям и знакомым. Кто-то из них, может быть, и не один — не утерпел. Потом, судя по обмолвкам беседовавших со мной сотрудников КГБ, я подумал даже, что в «телеге» повесть была представлена куда более крамольной, чем на самом деле. Я тогда подумал, что донос мог накатать человек, вообще текста не видевший, опиравшийся, скажем, на пересказ. Кто-то из моих приятелей, гордый тем, что читал рукопись, в дружеской беседе излагал, набивая цену уже самому себе: «Ну, Рыбаков их приложил! Ну там такое!..» А уж один из слушателей дал делу ход. Возможно. Я так думаю, потому что, как мне показалось во время бесед, чекисты были явно разочарованы: антисоветский градус оказался слабоват, слабее ожидаемого. Но это было позже, а началось с того, что Евгений Иванович вдруг поймал меня в коридоре института и в лоб сказал: «Говорят, у тебя антисоветская повесть есть, а я и возразить не могу. Дай посмотреть». Через несколько дней вернул, пробурчав нечто вроде: «Совсем с ума посходили... Ну теперь если спросят, отвечу: читал и ни черта крамолы не обнаружил...»

Сколько мужества от него затем потребовал простой ответ «не обнаружил», и сколько раз, в каких вариантах ему пришлось его произносить, в каких инстанциях и для кого, он мне не говорил, и я этого не узнаю уже никогда. Но защитить свою диссертацию — опять-таки с его помощью, по его рекомендации — я на всякий случай смог подальше от райотдела питерской Конторы (который, чтобы два раза не вставать, в конце концов мою повесть все же конфисковал), в Москве, на ученом совете, которым руководил тогда Ким Владимирович Малаховский.

А можно вспоминать сугубо бытовые детали.

Скажем, где-то в конце первой половины 80-х, в начале лета, получилось так, что почти одновременно защитили кандидатские диссертации сразу два наших талантливых аспиранта. И на квартире одной из сотрудниц был по тогдашней практике учинен роскошный сабантуй. В ту пору институт был единым маленьким самостоятельным мирком, там не только работали, там жили, взаимодействовали, взрослели, там складывались и распадались товарищеские и романтические отношения... Конечно, без общих праздников такая жизнь не могла обойтись. А общие праздники — это, помимо прочего, и общие возлияния. Помню, вдвоем с товарищем и коллегой мы, как сотрудники наиболее молодые и проверенные, обеспечивали спиртное; на такси, за ее неподъемностью, привезли на праздник характерно позвякивавшую здоровенную сумку напитков, и долго потом все смеялись, эта легенда жила в институте годами, потому что на счетчике, когда машина остановилась у подъезда, было ровно 3,62 — цена тогдашней пол-литры...

Потом я проводил Евгения Ивановича до дому, мы оба были навеселе, но, клянусь, не критично и не катастрофично. Это в 90-х, когда россиян поголовно, невзирая

на профессии и таланты, принялись травить водкой «Распутин», спиртом «Роял» и прочими дарами высшей цивилизации, праздники выродились в пьянки, и, увы, не все мои коллеги смогли выжить во время этой химической атаки. В пору моей молодости такого еще не было и не могло быть, все хотели общаться, веселиться, шутить и подтрунивать, флиртовать, в конце концов, а не завивать русское горе импортной веревочкой. Однако когда мы поднялись к учителю в квартиру, его супруга, решив, что это именно я его напоил и вот попался ей наконец под руку, накинулась на меня, как на последнего злодея и погубителя. И я, ошеломленно скатившись с лестницы на улицу, подумал тогда, что она его очень любит...

Хотелось бы сказать и о другом, совсем небытовом. О чем совершенно не принято говорить.

Году этак в 1982-м — не помню, в каком контексте — один из старших коллег, сам блестящий ученый, вдруг огорошил меня фразой: «Пример вашего учителя, Слава, показывает, что не боги горшки обжигают».

Кого же он полагал богами?

О, я отлично понимаю, в чем критерий. И уже тогда понимал.

Помню, лет двадцать назад на одной из встреч со своими читателями я упомянул, что в детстве, еще до школы, в деревне в деревянном корыте рубил лопатой крапиву для бабушкиных утят. И как это было смешно: мелкое крошево попадало мне на штаны, и когда мама-утка приводила свой выводок с речки домой, голодные мягкие комочки своими клювиками меня едва не раздевали, выщипывая травинки из штанин и стараясь стащить их к себе вниз, на землю, чтобы удобней было подкрепляться после трудового дня. Ведущий встречи, петербуржец то ли в пятом, то в шестом поколении, во всяком случае с царских еще времен, вскоре не преминул заметить, породисто грассируя «р»: «Не всем выпало счастье в детстве задавать отруби поросятам...» За какую-то четверть часа он никак не мог забыть, что именно я сказал, и перепутать поросят с утятами. То была сознательная и не очень-то добрая ирония. Мол, это ваш уровень — «Свинарка и пастух». А наш уровень, уровень настоящих интеллигентов — ну, скажем, «Жертвоприношение». Или на худой конец «Скорбное бесчувствие».

А ведь Евгений Иванович провинился еще пуще. В детстве он пас гусей! И рассказывал об этом с удовольствием.

А когда я поступил в аспирантуру, он был заместителем директора по науке. На общественных началах, насколько я помню. Ведь ни единицы такой, ни ставки в штатном расписании института не было. Волок всю институтскую текучку просто так. Потому что кто-то же должен. И еще потому что, как он однажды проговорился, иначе было не пробиться.

Не имею на сей счет никаких достоверных данных, но сильно подозреваю, что именно многолетним, явно систематическим усилиям кого-то из московских богов мы обязаны тем, что Евгений Иванович, опубликовав более трех сотен научных работ, будучи почетным членом венгерского Общества востоковедов имени Чома де Кереши, почетным профессором университета Нинся и университета Ланьчжоу в Китае, почетным членом Центра по изучению государства тангутов при Академии общественных наук КНР, умер, так и не став российским хотя бы членкором.

Зато он оставил целую библиотеку нестареющих книг, и строго научных, и научно-популярных, но равно фундаментальных.

Зато он оставил целый сонм учеников, которые сами стали далеко не последними людьми в науке. И я вовсе не себя имею в виду, поверьте.

Пасти в детстве гусей — отличная прививка от божественности.

Потому что в начале было дело.

Евгений БЕРКОВИЧ

ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ АКАДЕМИКА АРНОЛЬДА ОБ ЭЙНШТЕЙНЕ И ПУАНКАРЕ

Капица и Арнольд

Вряд ли еще какая-то передача популярной некогда телевизионной серии «Очевидное — невероятное» столько раз просматривалась в записи, как передача с вполне академической темой «Математика и физика». В этот день ведущий передачи Сергей Петрович Капица принимал выдающегося математика современности академика Владимира Игоревича Арнольда[1]. Почему же передача вызвала такой бешеный интерес у зрителей, не утихающий спустя десятилетие? Объяснение простое: сенсация! Владимир Игоревич привел факты, свидетельствующие о том, что великий физик Альберт Эйнштейн «позаимствовал» свою специальную теорию относительности у другого великого ученого — математика француза Анри Пуанкаре, нигде на него не сославшись. На юридическом языке это называется плагиат, хотя и рассказано все было с заразительной улыбкой, с какой обычно рассказывают веселую байку или смешную охотничью историю.

Эта версия не новая, ее с разными вариациями любят повторять многие из тех, кто уже более ста лет выступает против Эйнштейна, часто с антисемитских позиций. Академик Арнольд определенно не из их числа, поэтому важно понять, что же именно сказал Владимир Игоревич, что из сказанного происходило в действительности, а что сказано «для красного словца», что придумано для большей убедительности, а где просто оговорка. И что не менее важно, как правильно интерпретировать различные высказывания по тому или иному аспекту физической теории? Интерпретация опытных фактов и выводов теории играет в физике не меньшую роль, чем разработка формального аппарата, что хорошо видно на примере квантовой механики. В вопросе о приоритете в открытии теории относительности та же картина. Важно не только, кто, что

Евгений Михайлович Беркович — публицист, историк науки и литературы, издатель. Окончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор естествознания (Германия). Создатель и главный редактор журнала «Семь искусств» и ряда других сетевых изданий. Автор книг «Заметки по еврейской истории» (М., 2000), «Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории холокоста» (М., 2003), «Революция в физике и судьбы ее героев. Томас Манн и физики XX века» (М., 2017), «Революция в физике и судьбы ее героев. Альберт Эйнштейн в фокусе истории XX века» (М., 2018), «Альберт Эйнштейн и „революция вундеркиндов“» (М., 2021) и др. Публиковался в журналах «Нева», «Новый мир», «Знамя», «Иностранная литература», «Вопросы литературы», «Человек» и многих других изданиях. Дважды лауреат Беляевской премии за просветительскую деятельность.

[1] Передача называлась «Задачи Арнольда» и состоялась 26 декабря 2009 года.

и когда что-то сказал, но и что именно он имел в виду, в каком контексте справедлива его мысль. Короче: состоялась ли намечавшаяся в телевизионной передаче сенсация?

Чтобы не заниматься стенографированием устной речи Арнольда, я буду цитировать опубликованный рассказ «Принцип относительности» в его книге «Истории давние и недавние» [Арнольд, 2005], повторенный в книге «В. И. Арнольд. К восьмидесятилетию» [Арнольд, 2018]. По сути, и передача, и опубликованный рассказ Арнольда говорят об одном и том же, только в рассказе слова более выверенные. Кроме указанных источников, Владимир Игоревич повторял ту же байку и в других местах, например, в журнале «Успехи математических наук» [Арнольд, 2006].

Историю о том, как «недооцененный Пуанкаре» за 10 лет до Эйнштейна открыл принцип относительности, Владимир Игоревич начинает с такого сообщения:

> В 1895 году Пуанкаре опубликовал (в философском журнале без формул) статью «об измерении времени» [Арнольд, 2018, с. 170].

К сожалению, и в напечатанном рассказе, и в прозвучавшей потом телевизионной передаче присутствует опечатка-оговорка: статья «Измерение времени» была опубликована не в 1895-м, а в 1898 году [Poincare, 1898]. Перевод этой статьи на русский вошел в прекрасный сборник «Анри Пуанкаре. О науке» [Пуанкаре, 1983, с. 169—180].

Продолжая разговор об этой статье, академик Арнольд совершенно справедливо подчеркивает заслуги Пуанкаре:

> Он ясно объяснил в ней, что «абсолютное пространство» и «абсолютное время» Галилея и Ньютона не имеют никакого эмпирически-экспериментального определения (так как зависят от способа синхронизации часов в удаленных местах). Пуанкаре указал, что единственный научный способ избежать этого неудобства состоит в том, чтобы постулировать полную независимость всех истинных законов природы от произвола в выборе системы координат, используемой для описания экспериментов [Арнольд, 2018, с. 170].

Гениальный математик и смелый философ Анри Пуанкаре часто высказывал такие мысли, справедливость которых становилась очевидной спустя десятилетия. О смысле этих высказываний и отношении их к теории относительности мы еще поговорим, а пока посмотрим, как академик Арнольд продолжил защищать «недооцененного Пуанкаре» в беседе с профессором Капицей. Видно, посчитав сказанное недостаточно убедительным доказательством плагиата Эйнштейна, Владимир Игоревич выкладывает на роскошный круглый стол красного дерева в кабинете Капицы свою козырную карту:

> Минковский, друг Пуанкаре и учитель Эйнштейна, рано посоветовал Эйнштейну изучить теорию Пуанкаре, что Эйнштейн и сделал (не ссылаясь на Пуанкаре, однако, до одной статьи 1945 года, где он признает рассказанное выше) [Арнольд, 2018, с. 171].

В богатом творческом наследии академика Арнольда вряд найдется еще одна такая фраза, где каждый содержащийся в ней факт неверен. Это типичный пример байки из охотничьих рассказов, про которую говорят: «Не любо — не слушай, а врать не мешай!»

Разберем эту фразу по частям. В нем можно выделить такие утверждения:

> Минковский — друг Пуанкаре[2];

[2] В передаче В. И. Арнольд добавляет: «Пуанкаре это [теорию относительности] с Минковским обсуждал».

Минковский — учитель Эйнштейна[3];
Минковский посоветовал Эйнштейну изучить теорию Пуанкаре[4];
Эйнштейн изучил теорию Пуанкаре и опубликовал свою статью без ссылок[5];
Эйнштейн в статье 1945 года признал рассказанное выше[6].

Поговорим об этих «фактах» подробнее.

Пуанкаре и Минковский

Начнем с первого утверждения Арнольда: «Минковский — друг Пуанкаре». Если про остальные факты из рассматриваемой фразы академика мне с самого начала было ясно, что они «притянуты с потолка», то о дружбе Минковского и Пуанкаре я поначалу не мог сказать ничего определенного. В биографиях обоих математиков я таких заключений не нашел, а априори сказать что-либо трудно: вполне возможно, что между крупными учеными в одной и той же области науки установились дружеские отношения. Даже в условиях острой вражды Франции и Германии в то время, когда Франция с позором проиграла Франко-Прусскую войну 1870—1871 годов, а Германия объединилась в 1871 году, прихватив часть спорных территорий у своего поверженного противника. Пуанкаре, кстати, неплохо владел немецким языком, выучив его юношей, *«когда в 1870 году его родной город Нанси был оккупирован немцами»* [Голдберг, 1974, с. 341]. Напряженность между французами и немцами, возникшая после войны, коснулась и математиков. На международных встречах, конгрессах, конференциях обе стороны старались соблюдать баланс: если французский математик произносил программную речь, то следом слово давали немецкому. Если Второй математический конгресс проходил в Париже в 1900 году, то следующий назначался в Гейдельберге. И тем не менее ничто теоретически не мешало тому, чтобы два знаменитых математика из Франции и Германии стали бы друзьями. До недавнего времени я не мог бы ни опровергнуть, ни подтвердить первый факт из обсуждаемой фразы академика Арнольда. К счастью, в марте 2023 года в журнале «Философия науки» («Philosophia Scientiæ») была опубликована статья Клауса Фолькерта (Klaus Volkert) «Три друга-математика о Пуанкаре» [Volkert, 2023], содержащая обзор той части переписки трех выдающихся ученых — Гильберта, Гурвица и Минковского, — которая касается Анри Пуанкаре. Стоит отметить, что все трое друзей-математиков имели отношения к Эйнштейну.

Старший из тройки друзей Адольф Гурвиц родился в Хильдесхайме в 1859 году в бедной еврейской семье. С помощью друзей семьи окончил университет, защитил в 1881 году под руководством Феликса Клейна докторскую диссертацию, в следующем году прошел хабилитацию[7], но остаться в Гёттингене, чтобы продолжать работать со своим руководителем, он из-за еврейского происхождения не смог, несмотря на все усилия, казалось бы, всемогущего профессора Клейна. В 1884 году двадцатипятилетний Гурвиц получил все-таки место экстраординарного профессора в Кёнигсбергском университете, что избавило его от порядком надоевшей нужды. В Кёнигсберге Гурвиц проработал восемь лет, пока в 1892 году получил заветную должность ординарного

[3] В передаче слова «учитель» нет, а говорится, что Эйнштейн — «ученик» Минковского.

[4] В передаче В. И. Арнольд говорит конкретнее: «Минковский своему ученику, который туда [в Цюрихский политехникум] пришел, посоветовал прочитать работу Пуанкаре».

[5] В передаче В. И. Арнольд говорит еще резче: «Эйнштейн прочитал работу Пуанкаре и вставил в нее недостающие в ней формулы, и это и есть работа Эйнштейна 1905 года».

[6] В передаче Арнольд говорит менее определенно: «в 1940 году или даже позже».

[7] Хабилитация — процесс защиты второй докторской диссертации и получения звания приват-доцента (лицензии на чтение лекций студентам университетов, называемой по-латыни venia legendi).

профессора Федерального политехнического института в Цюрихе, где оставался до самой смерти в ноябре 1919 года. Именно Гурвиц руководил обучением Эйнштейна в Цюрихском политехникуме в 1896—1900 годах.

Давид Гильберт, на три года моложе Гурвица, родился в Кёнигсберге в 1862 году в хорошо обеспеченной семье, отец был городским судьей. К приезду Гурвица в Кёнигсберг Гильберт оставался еще студентом местного университета, но уже в следующем году защитил диссертацию, еще через год стал приват-доцентом и оставался в этом звании долгих шесть лет. Только в 1892 году Гильберт получил наконец должность ординарного профессора в родном университете, что позволило Феликсу Клейну пригласить его в 1895 году профессором в Гёттинген. На этой должности Гильберт оставался до 1930 года, когда перешел в статус почетного профессора — эмеритуса. Несмотря на многочисленные приглашения различных университетов со всего мира, Гильберт не покинул Гёттинген до самой смерти в 1940 году. С Эйнштейном его связывает волнующее соревнование, кто первый выведет уравнения движения тела в гравитационном поле. Оба получили окончательный результат в конце ноября 1915 года, причем Гильберт доложил свою работу на заседании Гёттингенского научного общества 20 ноября, а Эйнштейн представил Прусской академии наук свой доклад на пять дней позже — 25 ноября, но соответствующая статья в трудах академии вышла в свет раньше статьи Гильберта. Приведенные даты не позволяют говорить о приоритете Гильберта, так как он в опубликованной статье по материалам своего доклада ссылается на последнюю статью Эйнштейна от 25 ноября. То есть его статья неточно отражает доклад 20 ноября, в нее были внесены изменения уже после опубликования Эйнштейном его финальной статьи по общей теории относительности. Эта почти детективная история хорошо описана в работах Владимира Павловича Визгина, например, в книге «Релятивистская теория тяготения» [Визгин, 1981, с. 310—318]. Важно отметить, что Гильберт никогда не претендовал на авторство общей теории относительности, признавая заслуги и первенство Эйнштейна.

Третий математик из тройки друзей — Герман Минковский — на год моложе Гильберта, родился в 1864 году в состоятельной еврейской семье в городке Алексоты рядом с Каунасом, на территории Российской империи. Когда мальчику было семь лет, семья из-за растущего в России антисемитизма перебралась в Кёнигсберг. Там Герман окончил гимназию, университет, защитил докторскую диссертацию. Звание приват-доцента он получил в 1887 году в Боннском университете. Пять лет ему пришлось ждать там должности экстраординариуса с твердым окладом. В 1895 году, когда Гильберт переехал в Гёттинген, его место в Кёнигсберге занял Герман Минковский, а через год, в 1896 году, его пригласили профессором в Цюрих, где уже четыре года в той же должности вел занятия со студентами Адольф Гурвиц. В том же году Альберт Эйнштейн, окончив кантональную школу в Аарау первым учеником, без экзаменов был принят на отделение VI-A Политехникума.

Из подробной и хорошо документированной статьи Клауса Фолькерта совершенно определенно следует, что ни о какой дружбе между Пуанкаре и немецкими математиками, в частности с Минковским, говорить не приходится. Тем более об обсуждении с Минковским статьи, в которую якобы Эйнштейн только «вставил формулы». Фолькерт прямо подчеркивает: *«В противоположность трем друзьям Пуанкаре был математиком, который работал один»* [Volkert, 2023, с. 11]. В отличие от общительных «математических друзей», у которых были многочисленные аспиранты и ассистенты, Пуанкаре считался, по словам Фолькерта, солипсистом [Volkert, 2023, с. 13].

Признавая безусловный талант Пуанкаре как математика, «математические друзья» весьма критически оценивали стиль работы француза. В переписке немецких ма-

тематиков отмечалась скорость, с которой Пуанкаре писал свои статьи, нередко пренебрегая необходимостью тщательно вычитывать корректуру. Все трое разделяли мнение Феликса Клейна, писавшему Гильберту 6 мая 1886 года:

> Из новых публикаций Пуанкаре у меня всегда возникает впечатление, что ему очень хочется что-то опубликовать, даже если новых результатов нет или их мало [Volkert, 2023, с. 12].

Адольф Гурвиц тоже скептически высказывался о результатах Пуанкаре в письме Гильберту от 3 июля 1900 года:

> Доказательство Пуанкаре о том, что каждое функциональное отношение может быть униформизировано, кажется мне не совсем правильным, о чем я говорил в своем докладе на Конгрессе [Volkert, 2023, с. 13].

Здесь речь идет о пленарном докладе Гурвица на Первом всемирном математическом конгрессе в Цюрихе в 1897 году. Пуанкаре исправил свое доказательство в 1907 году.

Весьма настороженно относился к Пуанкаре Герман Минковский (ни о какой дружбе тут и речи нет!). В письме Гильберту от 14 февраля 1885 года он пишет:

> Я решил некоторые результаты опубликовать прямо сейчас. Они появятся в третьей тетради текущего тома журнала Крелле[8]. Неожиданно почувствовал страх и тревогу, что это может обернуться неприятностью. Пуанкаре, о способности которого работать быстро в разных областях вы должны были слышать, не так давно начал исследования, которые с помощью моих теорем получили бы великолепное завершение. Очень может быть, что после публикации моей работы, получившей премию, он очень легко найдет это завершение [Volkert, 2023, с. 14].

Тут Пуанкаре явно предстает как конкурент, причем обладающий недюжинной силой. То, что в начале 1880-х годов между Феликсом Клейном и Анри Пуанкаре развернулось острое соперничество за первенство в области автоморфных функций, закончившееся победой Пуанкаре и тяжелым нервным заболеванием Клейна, «математическим друзьям» было хорошо известно.

В 1890 году Минковский взялся реферировать работу Пуанкаре о движении трех тел, получившую премию шведского короля Оскара II, для ежегодника «Достижения математики». Другу Гильберту Минковский пишет 22 декабря 1890 года:

> Из получившей премию работы Пуанкаре изучил примерно одну треть. После довольно скучной первой главы попадаются интересные наблюдения, которые в чем-то напоминают Дирихле. При этом собственно о задаче трех тел я узнал немного [Volkert, 2023, с. 18].

Понятно, что на дружеские отношения между Минковским и Пуанкаре нет и намека. Примерно в том же ключе выдержана вся переписка «математических друзей». Они могли бы встретиться и подружиться во время Математического конгресса в Цюрихе 1897 года, но на него Пуанкаре не приехал: неожиданно у него умерла мать, и его доклад на конгрессе прочитал профессор Политехникума Жером Франель.

---

[8] Журналом Крелле называли «Журнал по чистой и прикладной математике» («Journal für die reine und angewandte Mathematik»), основанный в 1826 году берлинским математиком Августом Леопольдом Крелле.

Так что можно смело утверждать, что первый факт из анализируемой фразы академика Арнольда — «Минковский — друг Пуанкаре» — в чистом виде выдумка, не имеющая ничего общего с действительностью.

Минковский и Эйнштейн

Минковский и Эйнштейн пришли в Цюрихский федеральный политехнический институт почти одновременно — в 1896 году: Герман Минковский в качестве ординарного профессора «высшей математики», а Альберт Эйнштейн студентом отделения VI института, на котором готовили учителей-предметников в области математики и естествознания. Отделения Политеха играли роль факультетов в обычных университетах. Всего в институте насчитывалось семь отделений. Отделение VI считалось «мозгом» Политеха, здесь проводились наиболее продвинутые научные исследования. Отделение состояло из двух секций: секция VI-A называлась поначалу «Математической секцией», а в 1899 году была переименована в «Математико-физическую секцию», а секция VI-B называлась «Естественнонаучная секция». В секцию VI-A входили математика, физика и астрономия, в секцию VI-B — другие естественные науки. В годы обучения Эйнштейна Математической, впоследствии Математико-физической секцией руководил выдающийся математик Адольф Гурвиц, один из известной нам тройки «математических друзей». Естественнонаучной секцией руководил геолог Альберт Хайм (Albert Heim). По количеству студентов отделение VI было самым небольшим в Политехникуме: на нем учились всего 23 студента из 841 учащихся в институте. Одиннадцать из этих двадцати трех поступили вместе с Эйнштейном в 1896 году. Среди них была Милева Марич, единственная женщина в секции VI-A.

Обучение студентов в отделении VI проходило не так, как в других отделениях Политехникума. Здесь не было единого учебного плана, каждый студент занимался по плану, разработанному для него научным руководителем секции. За учебную и научную работу Эйнштейна отвечал профессор Гурвиц. Он определял, какие курсы должен посещать студент, какие экзамены сдавать. Гурвиц даже итоговые экзаменационные ведомости, служащие основанием для выдачи диплома, заполнял сам вручную (пишущие машинки тогда были редкостью). Нет ни одного документа или устного свидетельства о том, что профессор Минковский вмешивался в учебный процесс в отделении VI и что-либо советовал или рекомендовал какому-нибудь студенту. Утверждение академика Арнольда о том, что «Минковский — учитель Эйнштейна», может ввести читателя в заблуждение из-за широкого значения слова учитель. Профессор Минковский читал лекции, на которые Эйнштейн мог по желанию ходить, но чаще не ходил, однако научным руководителем Эйнштейна, на чем настаивал академик Арнольд, Минковский безусловно не был. Отметим для полноты картины лекции, прочитанные Германом Минковским в Политехникуме Цюриха в период обучения Альберта Эйнштейна. В первом семестре второго года обучения (1897/1898) Минковский читал лекцию «Геометрия чисел» (2 часа в неделю). Во втором семестре того же года — «Теорию функций» (4 часа) и «Теорию потенциала» (2 часа). В первом семестре третьего года обучения Эйнштейна (зима 1898/1899) Минковский читал «Эллиптические функции» (4 часа), «Аналитическую механику» (2 часа). Во втором семестре того же года — «Алгебру» (4 часа). Наконец, в первом семестре четвертого года (зима 1899/1900) лекциями Минковского были «Уравнения в частных производных» (2 часа), а во втором семестре — «Приложения аналитической механики» (2 часа) [CPAE-1, 1987, с. 365—369]. Все эти лекции не относились к обязательным для посещения, и в матрикуле Эйнштейна по ним нет ни одной оценки.

О единственной лекции Минковского, на которой присутствовал Эйнштейн, мы знаем по воспоминаниям однокурсника Альберта Луи Коллроса (Louis Kollros), опубликованным в сборнике «Светлое время — темное время», изданном Карлом Зелигом в память недавно скончавшегося Альберта Эйнштейна [Seelig, 1956]. Коллрос вспоминал:

> В нашем последнем семестре Минковский прочитал великолепную лекцию о применениях аналитической механики. Феликс Клейн поручил ему написать статью о капиллярности в Энциклопедию математических наук, а нам первым Минковский рассказал результаты своей работы. В конце лекции Эйнштейн сказал мне с энтузиазмом и немного печально: «Это была первая лекция по математической физике, которую я слушал в Поли». Это означает, что другими лекциями по физике он был не очень доволен [Seelig, 1956, с. 21].

Уже из этой фразы хорошо видно, что никаких научных контактов с Минковским у Эйнштейна за все время учебы не было. Он даже нетвердо знал, как пишется имя профессора. В письме Милеве Марич, написанном в декабре 1901 года, когда он безуспешно искал место ассистента хоть какого-нибудь профессора, а сам подготовил и представил в Цюрихский университет первую диссертацию, которую потом по совету научного руководителя профессора Кляйнера забрал без защиты. Эйнштейн рассказывает своей возлюбленной о судьбе благополучно устроенных соучеников и товарищей и упоминает Эрата, который «будет готовить докторскую под руководством Гайзера, а от смешной темы, предложенной ему Минковским, отказался» [CPAE-1, 1987, с. 330, Doc. 131], при этом имя профессора он написал Minkowsky вместо Minkowski.

Чтобы окончательно убедиться в том, что утверждение академика Арнольда, будто *«Минковский посоветовал Эйнштейну изучить теорию Пуанкаре»,* ни на чем не основано и является выдумкой его автора, приведем фрагмент воспоминаний Макса Борна о Минковском:

> Среди его учеников был один, имя которого спустя короткое время многократно упоминалось вместе с его именем, когда специальная теория относительности взволновала умы; речь идет, конечно, об Эйнштейне. Но Минковский его особенно не выделял. Позднее, в 1909 году[9], когда я уже был сотрудником Минковского по проблемам теории относительности, он сказал мне как-то: «Ах, Эйнштейн, да ведь он всегда отлынивал от лекций, ему я это никогда не доверил бы» [Борн, 1963, с. 402].

Теперь, когда мы разобрались с первыми тремя «завиральными» утверждениями Владимира Игоревича Арнольда, разберемся с двумя последними и, прежде всего, с утверждением, что *«Эйнштейн прочитал работу Пуанкаре и вставил в нее недостающие в ней формулы, и это и есть работа Эйнштейна 1905 года».*

Эйнштейн и Пуанкаре

Выступление академика Арнольда в передаче Сергея Петровича Капицы неявно содержит обвинение Эйнштейна в плагиате, именно так понимают сказанное в той передаче большинство противников признанного автора теории относительности. Фактически Владимир Игоревич высказал два суждения:

[9] В этом месте Макса Борна, скорее всего, подвела память. Речь могла идти о 1908 годе. В 1909 году Борн и Минковский не встречались.

1) Пуанкаре первым разработал физическую теорию, которую мы теперь называем специальной теорией относительности;

2) Эйнштейн затем присвоил теорию Пуанкаре.

Если мы покажем, что первое суждение ложно, то и второе не может быть истиной. Прежде всего напомним суть специальной теории относительности в понимании Альберта Эйнштейна, изложенную в статье «К электродинамике движущихся тел», опубликованной в 1905 году. Вся теория выводилась из двух постулатов:

> 1. Законы, по которым изменяются состояния физических систем, не зависят от того, к которой из двух координатных систем, движущихся относительно друг друга равномерно и прямолинейно, эти изменения состояния относятся.
>
> 2. Каждый луч света движется в «покоящейся» системе координат с определенной скоростью V, независимо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или движущимся телом [Эйнштейн, 1965, с. 10].

Уже в начале статьи Эйнштейн предупреждает читателя, что

> введение «светоносного эфира» окажется при этом излишним, поскольку в предлагаемой теории не вводится «абсолютно покоящееся пространство», наделенное особыми свойствами, а также ни одной точке пустого пространства, в котором протекают электромагнитные процессы, не приписывается какой-нибудь вектор скорости [Эйнштейн, 1965, с. 8].

Важно подчеркнуть, что Эйнштейн не пытается, в отличие от Лоренца и Пуанкаре, вывести принципы относительности из динамики. Джон Стэчел, один из наиболее авторитетных исследователей творчества Эйнштейна, выразил его подход к построению теории относительности одним ярким лозунгом: «Сначала кинематика, потом динамика!» [Stachel, 2016, с. 252].

Этот лозунг подкрепляется словами самого Эйнштейна:

> Развиваемая теория основывается, как и всякая другая электродинамика, на кинематике твердого тела, так как суждения всякой теории касаются соотношений между твердыми телами (координатными системами), часами и электромагнитными процессами. Недостаточное понимание этого обстоятельства является корнем тех трудностей, преодолевать которые приходится теперь электродинамике движущихся тел [Эйнштейн, 1965, с. 8].

Спустя почти полвека Морис де Бройль, старший брат Луи де Бройля, вспоминал первый Сольвеевский конгресс в Брюсселе в 1911 году, на котором он работал ученым секретарем и редактором трудов конгресса. Это был единственный научный съезд, на котором присутствовали и Анри Пуанкаре, и Альберт Эйнштейн. Морис вспомнил один эпизод их встречи:

> Когда Эйнштейн объяснял свою идею, Пуанкаре спросил его: «Какую механику вы используете в своих рассуждениях?» Эйнштейн ответил: «Никакую механику вообще», что явно удивило его собеседника» [Stachel, 2016, с. 252].

Пуанкаре понимал принцип относительности как часть динамики, а не кинематики, как считал Эйнштейн. Это различие принципиальное и показывает, что теория относительности в понимании Пуанкаре в корне отличалась от теории Эйнштейна. Поясним это высказываниями самого французского математика.

В конце книги «Наука и гипотеза» в главе «Конец материи» Пуанкаре пишет:

> Существенным свойством материи является ее масса, ее инерция. Масса — это то, что всюду и всегда остается постоянной, это то, что продолжает существовать, когда химическое преобразование изменяет все чувственно воспринимаемые качества материи, так что кажется, что мы имеем дело с разными телами. Следовательно, если обнаруживается, что масса, инерция материи в действительности ей не свойственна, что это — приобретенная роскошь, которой она себя украшает, что эта масса, константа по определению, все же сама подвержена изменению, то можно сказать, что материи не существует. А именно об этом и было объявлено [Пуанкаре, 1983, с. 149].

В главе «Взаимоотношения материи и эфира» книги «Последние мысли» мы находим единственное упоминание Эйнштейна в трудах Пуанкаре, сделанное 11 апреля 1910 года на лекции, прочитанной во Французском физическом обществе:

> Эйнштейн изучал действие света на молекулы; эти молекулы действительно подвергаются чему-то, напоминающему давление излучения. Эйнштейн, однако, не встал на эту простую точку зрения; он сравнил эти молекулы с малыми подвижными резонаторами, способными обладать сразу и живой силой движения, и энергией электрических колебаний. Результат во всех случаях был один и тот же, он нашел закон Рэлея.
>
> Что касается меня, то я поступил наоборот, т. е. изучил влияние молекул на свет. Молекулы слишком малы, чтобы дать правильное отражение; они производят только рассеяние. Что представляет собой это рассеяние, когда не принимает во внимание движение молекул, мы знаем как на опыте, так и теоретически; оно дает голубой цвет неба. Это рассеяние не изменяет длины волны, но оно тем интенсивней, чем длина волны меньше.
>
> Теперь необходимо перейти от действия молекулы в покое к действию движущейся молекулы, чтобы принять во внимание тепловое движение. Это просто, нам нужно только применить принцип относительности Лоренца; из него следует, что различные пучки одной и той же действительной длины волны, приходя к молекуле по различным направлениям, не будут иметь одинаковой длины волны с точки зрения наблюдателя, считающего молекулу покоящейся. Кажущаяся длина волны не изменится путем дифракции, но не так обстоит дело с действительной длиной волны [Пуанкаре, 1983, с. 487].

В 1910 году Пуанкаре мог без труда сослаться на принцип относительности Эйнштейна, но он принципиально подчеркивает: принцип относительности Лоренца. Лоренц, как и Пуанкаре, не мыслил себе физику без эфира. И Пуанкаре старается примирить это понятие с принципом относительности. Он его формулирует так:

> ...нет никакого средства для решения вопроса об абсолютном движении, нет ни одного опыта, который мог бы опровергнуть принцип, утверждающий, что нет абсолютного пространства и что мы можем наблюдать только относительные перемещения [Пуанкаре, 1983, с. 500].

Существование эфира чисто умозрительно дает возможность построить абсолютную скорость: *«Как абсолютную можно рассматривать в оптике скорость света относительно эфира»* [Пуанкаре, 1983, с. 501]. Однако все попытки измерить движение относительно эфира провалились:

> Принцип относительности в новой механике не допускает никаких ограничений; он имеет, если можно так выразиться, абсолютное значение [Пуанкаре, 1983, с. 501].

Строя свою «новую механику», Пуанкаре вводит третий постулат, совершенно ненужный в механике теории относительности Эйнштейна:

> Необходимо далее сделать третью гипотезу, еще более поразительную и трудно допустимую, так как она плохо увязывается с нашими обычными представлениями. Все тела во время движения изменяют свою форму, сжимаясь в направлении движения: шар, например, превращается в тело, похожее на приплюснутый эллипсоид, малая ось которого параллельна движению [Пуанкаре, 1983, с. 502].

Таковы основы новой механики Пуанкаре. Она находится в полном согласии с принципом относительности. С помощью трех гипотез-постулатов Пуанкаре можно непротиворечиво описать движение тел через эфир: тела действительно сжимаются, время течет медленнее. Эти эффекты есть результат динамики, результат сил, действующих со стороны эфира на молекулы движущихся относительно него тел. В отличие от Эйнштейна, у Пуанкаре «Сначала динамика, потом кинематика!»

После всего сказанного утверждать, что *«Пуанкаре первым разработал физическую теорию, которую мы теперь называем специальной теорией относительности»,* может лишь человек, не разбирающийся в физике или предвзято относящийся к Эйнштейну, что заставляет идти против фактов, или человек, который считает формальный аппарат теории самым важным ее элементом, а физическую интерпретацию теории недооценивает. Именно так рассуждали многие математики. Вот что пишет о математике Пуанкаре академик Виталий Лазаревич Гинзбург:

> Таким образом, если судить по опубликованным материалам, Пуанкаре, был, по-видимому, довольно близок к созданию СТО, но до конца не дошел. Почему так произошло, можно только гадать. Возможно, главная причина в том, что Пуанкаре был все же в первую очередь математиком и в этой связи ему особенно трудно было подняться (или опуститься?) до четкого понимания столь важных для физики сторон проблемы, как достаточно определенное уточнение смысла всех вводимых величин и понятий [Гинзбург, 2014, с. 130].

Не исключено, что и академик Арнольд не поднимался (или не опускался) до анализа физического смысла обеих теорий — Лоренца—Пуанкаре и Эйнштейна.

Теория Лоренца—Пуанкаре — это совершенно самостоятельная теория, никак не связанная с теорией Эйнштейна. Обе теории дают результаты, совпадающие с экспериментом. Но физический смысл, заложенный в первую из них, разительно отличается от физического смысла второй.

Чтобы этот вывод стал абсолютно ясен, достаточно посмотреть на рассуждения Пуанкаре о веществе. Он приходит к такому выводу:

> При этом новом представлении постоянной массы материи не существует. Инерцией обладает не материя, а эфир; он один оказывает сопротивление движению, так что можно было бы сказать: нет материи, есть только дыры в эфире [Пуанкаре, 1983, с. 503].

Другими словами, реален только эфир, материя — иллюзия! Это ровно противоположно представлению Эйнштейна: реальна материя, эфир — иллюзия! При нали-

чии таких принципиальных различий в подходе к физической реальности у Пуанкаре и Эйнштейна приходится только удивляться, как можно объединять их результаты в одно целое и высчитывать, кто раньше их сформулировал. Как пишет Джон Стэчел, утверждение о том, что Эйнштейн украл результаты Пуанкаре, находится *«за пределами разума, но не за пределами рационального объяснения»* [Stachel, 2016, с. 254]. Другими словами, объяснить можно каждый конкретный случай беспочвенного обвинения Эйнштейна в плагиате. Часто причина кроется в антисемитизме или национализме обвиняющего. Но «казус академика Арнольда», безусловно, требует поиска другой мотивации.

Казус академика Арнольда

Почему же такой выдающийся ученый, интеллектуал мирового уровня, как Владимир Игоревич Арнольд, нисколько не стесняясь, поддерживает и распространяет далеко не новую и многократно опровергнутую крупнейшими физиками современности легенду о «плагиате Эйнштейна»? Я не психолог и не берусь разбираться в тонкостях личной мотивации академика Арнольда. Отмечу только три обстоятельства, имеющие отношение к рассматриваемому казусу.

Во-первых, как подчеркивалось выше, и Владимир Игоревич Арнольд, и Анри Пуанкаре прежде всего математики. В этом видит причину того, что Пуанкаре не создал теорию относительности, не только академик Гинзбург, но и один из творцов квантовой механики, земляк Пуанкаре Луи де Бройль:

> Еще немного и Анри Пуанкаре, а не Альберт Эйнштейн первым построил бы теорию относительности во всей ее общности, доставив тем самым французской науке честь этого открытия... Однако Пуанкаре так и не сделал решающего шага и предоставил Эйнштейну честь разглядеть все следствия из принципа относительности и, в частности, путем глубокого анализа измерений длины и времени выяснить подлинную физическую природу связи, устанавливаемой принципом относительности между пространством и временем. Почему Пуанкаре не дошел до конца в своих выводах? Несомненна чрезмерно критическая направленность его склада мышления, обусловленная, быть может, тем, что Пуанкаре как ученый был прежде всего чистым математиком. Как уже говорилось ранее, Пуанкаре занимал по отношению к физическим теориям несколько скептическую позицию, считая, что вообще существует бесконечно много логически эквивалентных точек зрения и картин действительности, из которых ученый, руководствуясь исключительно соображениями удобства, выбирает какую-то одну. Вероятно, такой номинализм иной раз мешал ему признать тот факт, что среди логически возможных теорий есть такие, которые ближе к физической реальности, во всяком случае лучше согласуются с интуицией физика, и тем самым больше могут помочь ему. Вот почему молодой Альберт Эйнштейн, которому в то время исполнилось лишь 25 лет и математические знания которого не могли идти в сравнение с глубокими познаниями гениального французского ученого, тем не менее раньше Пуанкаре нашел синтез, сразу снявший все трудности, использовав и обосновав все попытки своих предшественников. Этот решающий удар был нанесен мощным интеллектом, руководимым глубокой интуицией о природе физической реальности [Гинзбург, 2014, с. 131, сноска 2].

Яркий пример непонимания математиком физической сущности теории относительности мы находим в книге Эдмунда Уиттекера «История теорий эфира и электричества». Это второй том обстоятельной монографии, в которой глава о теории отно-

сительности называется «Теория относительности Пуанкаре и Лоренца» [Уиттекер, 2004, с. 59]. Об этой книге Макс Борн писал Эйнштейну в сентябре 1953 года:

> ...старый математик, профессор Уиттекер, проживающий здесь после выхода на пенсию и являющийся моим большим другом, написал новое издание своей старой книги: «История теоретических воззрений на эфир», второй том которой уже вышел в свет. В нем, между прочим, содержится также и история релятивистской теории с той только особенностью, что открытие приписывается Лоренцу и Пуанкаре, в то время как твои работы упоминаются попутно. И хотя книга издана в Эдинбурге, я все же не опасаюсь того, что тебе может прийти в голову связать мое имя с этим делом. Я и вправду вот уже три года предпринимал все мыслимое для того, чтобы отговорить Уиттекера от его плана, который он вынашивал уже давно и любил о нем повсюду рассказывать. Я вновь перечитал старые оригинальные статьи, особенно некоторые необычные Пуанкаре, и приносил Уиттекеру переводы немецких работ (мы, например, с преподавателем моей кафедры, д-ром Шлаппом, перевели много страниц из статьи Паули для энциклопедии, для того, чтобы облегчить Уиттекеру его суждение). Но все было напрасно. Он настаивал на том, что все существенное ость уже у Пуанкаре и что Лоренц дал очень четкое физическое толкование. Но я-то точно знаю, как скептически Лоренц относится к этому и сколько потребовалось времени, пока он не стал «релятивистом». Все это я рассказывал Уиттекеру, но безрезультатно [Эйнштейн–Борн, 1974, с. 69] .

Ответ Эйнштейна — блестящий образец того, как надо относиться к явно надуманным и ложным обвинениям:

> Дорогой Борн! Не беспокойся ты из-за книги этого твоего приятеля! Каждый ведет себя так, как ему представляется правильным, или, выражаясь детерминистски, — как он должен. Если ему удастся убедить других, то это их дело. Сам я, во всяком случае, получил удовлетворение от своих трудов, но не считаю разумным защищать пару результатов как «свою собственность», — подобно тому, как некий старый скряга оберегает пару медяков, которые он с трудом собрал. Я не обижаюсь на Уиттекера, и тебе этого, конечно, делать не следует. Я вообще совсем не вижу необходимости читать эту штуку [Эйнштейн–Борн, 1974, с. 71].

Но вернемся к казусу Арнольда. Второе обстоятельство, которое я хотел бы упомянуть, связано с тем, что история с «приоритетом» Пуанкаре над Эйнштейном — не новая для Владимира Игоревича. Однажды она ему очень помогла добиться желанной цели — издать на русском языке в академической серии «Классики науки» трехтомное собрание сочинений великого французского математика. Первая попытка получить разрешение редакции серии окончилась провалом. Академик А. А. Логунов, возглавлявший редакцию, ответил быстро: «*В. И. Ленин раскритиковал махиста идеалиста Пуанкаре в „Материализме и эмпириокритицизме“ в 1909 году, вследствие чего издание каких-либо трудов Пуанкаре в России теперь невозможно*» [Арнольд, 2006, с. 12]. Однако Николай Николаевич Боголюбов нашел хитрый ход «преодоления Логунова». Он сыграл на известных всем антисемитизме и антиэйнштейнианстве своего ученика. К заявке Арнольда академик Боголюбов приписал всего несколько слов, что в избранные сочинения Пуанкаре войдут и его работы по теории относительности, опубликованные раньше работ Эйнштейна. Через несколько недель разрешение на издание трехтомника было получено, и три тома вышли из печати в 1972 году, правда, без ожидаемой Логуновым критики работ Эйнштейна [Арнольд, 2006, с. 12—13].

Может быть, после этой успешной операции академик Арнольд и сам поверил, что Пуанкаре первым создал теорию относительности, а Эйнштейн ее у него «перехватил»? Это предположение подкрепляет третье обстоятельство, которое я обещал привести. На первый взгляд в нем нет ничего, что напоминало бы об Эйнштейне и Пуанкаре, но все же считаю полезным его отметить. Речь идет о так называемом сравнении Гудкова. Слово «сравнение» тут означает математическую операцию сравнения по модулю. Вот как описывает суть проблемы нижегородский историк математики Григорий Полотовский:

> В 1969 году Д. А. Гудков нашел топологическую классификацию неособых вещественных кривых степени 6, ответив тем самым на один из главных вопросов первой части 16-ой проблемы Гильберта. При этом Гудков, заметив закономерность в таблице реализуемых расположений кривых степени 6, проверил эту закономерность для кривых более высоких степеней, строящихся известными в то время методами, и сформулировал ее в виде сравнения. <...> В том же 1971 году В. И. Арнольд в своей замечательной статье, открывшей, по общему признанию, современный период в исследовании топологии вещественных алгебраических многообразий, доказал указанное сравнение «наполовину», т. е. по модулю 4, а не по модулю 8. В следующем году В. А. Рохлин доказал это сравнение в полном объеме и при этом назвал его гипотезой Гудкова [Полотовский, 2011, с. 230—231].

До 2002 года академик Арнольд был согласен с таким описанием хода событий и даже писал в одной из своих статей, что *«настоящая работа не могла бы быть выполнена, если бы Д. А. Гудков не сообщил автору о своей гипотезе»* [Полотовский, 2011, с. 231]. Однако в книге «Что такое математика?», вышедшей в 2002 году, Арнольд написал:

> Продумывая работу Гудкова, я заметил, что не только для кривых степени 6, но и для всех исследованных им кривых четной степени 2k проявлялись замечательные сравнения по модулю 8 [Арнольд, 2002, с. 42].

Другими словами, не Гудков сообщил Арнольду о своей гипотезе, а сам Арнольд, продумывая работу Гудкова, эту гипотезу сформулировал. Этой версии Владимир Игоревич придерживался до конца жизни, несмотря на то, что ученики Гудкова пытались указать ему на ошибку. Такая «аберрация памяти» иногда случается, когда себе приписываешь то, что узнал от других, но о чем много размышлял и что потом перерабатывал. По словам историка математики Г. Цейтена,

> Декарт проявил ту же недооценку того, чем он обязан другим, за которую его упрекали в области философии. Это нередкая ошибка великих умов, которые воспринятое у других тотчас же путем новой и самостоятельной переработки включают в свою собственную систему [Полотовский, 2011].

Возможно, такая же аберрация памяти случилась с академиком Арнольдом и в отношении Эйнштейна и Пуанкаре?

Несмотря на все сказанное, я не исключаю и того, что Владимир Игоревич Арнольд просто разыгрывал, троллил, как сейчас говорят, доверчивого Сергея Петровича Капицу, как когда-то они с Николаем Николаевичем Боголюбовым разыграли академика Логунова.

Итоги

Какой же урок преподносит нам казус Арнольда? Очень простой, его давным-давно сформулировал упомянутый Рене Декарт: «Подвергай все сомнению!» Не надо верить на слово никому, даже таким авторитетам, как академик Владимир Игоревич Арнольд. У меня нет никакой надежды на то, что небольшой «сеанс разоблачения», проведенный в этой работе, сколько-нибудь уменьшит число эйнштейноненавистников, до сих пор использующих выступление академика Арнольда у Сергея Капицы в качестве главного козыря против Эйнштейна. Я думаю о другом. Никогда умаление и принижение одного великого ученого не возвышало другого, считавшегося конкурентом или соперником первого. Мы должны отдать должное каждому — и необыкновенному дару лучшего физика-теоретика второй половины XIX века Антону Лоренцу, и невероятной прозорливости и математическому гению Анри Пуанкаре, и феноменальной физической интуиции и смелости Альберта Эйнштейна, всегда готового к революционным преобразованиям в теории. Широте души и благородству мы можем у них учиться. Показательный случай приводит Абрахам Пайс в своей биографии Эйнштейна:

> В 1953 г. Эйнштейн получил приглашение принять участие в намечавшихся в Берне торжествах по поводу 50-летия создания теории относительности. Он ответил, что по состоянию здоровья приехать не может. В том же письме Эйнштейн впервые (насколько мне известно) упомянул о роли Пуанкаре в создании СТО: «Я надеюсь, что будут должным образом отмечены заслуги Г. А. Лоренца и А. Пуанкаре» [Пайс, 1989, с. 167].

А за два месяца до кончины в письме биографу Карлу Зелигу Эйнштейн четко определил свою роль и роль своих коллег в создании специальной теории относительности:

> Вспоминая историю развития специальной теории относительности, мы можем с уверенностью сказать, что к 1905 г. открытие ее было подготовлено. Лоренц уже знал, что преобразование, получившее впоследствии его имя, имеет существенное значение для анализа уравнений Максвелла, а Пуанкаре развил эту мысль. Что касается меня, то я знал только фундаментальный труд Лоренца, написанный в 1895 г., но не был знаком с его более поздней работой и со связанным с ней исследованием Пуанкаре. В этом смысле моя работа была самостоятельной. Новой в ней была мысль о том, что значение преобразования Лоренца выходит за рамки уравнений Максвелла и касается сущности пространства и времени. Новым был и вывод о том, что «инвариантность Лоренца» является общим условием для каждой физической теории. Это было для меня особенно важно, так как я еще раньше понял, что максвелловская теория не описывает микроструктуру излучения и поэтому не всегда справедлива [Зелиг, 1964, с. 60].

Важно подчеркнуть, что все три главных участника релятивистской революции — Лоренц, Пуанкаре и Эйнштейн — не участвовали в спорах о приоритете. Никто из них ни единым словом не упрекнул другого в присвоении чужого авторства. Об отношении Эйнштейна к притязаниям на авторство теории относительности мы уже говорили. Лоренц публично признал, что Эйнштейн — автор новой теории, а сам даже не хотел становиться ее соавтором, так как это означало расставание с милым его сердцу эфиром. Макс Борн в своей лекции «Физика и относительность», прочитанной в Берне 16 июля 1955 года, приводит слова Лоренца, сказанные во время лекции в Гёттингене в 1910 году: *«Обсуждать принцип относительности Эйнштейна здесь,*

в Гёттингене, где преподавал Минковский, кажется мне особенно приятной задачей» [Борн, 1973, с. 235].

То есть то, что для Уиттекера звучит как «Принцип Лоренца–Пуанкаре», для самого Лоренца означает просто «Принцип Эйнштейна». Не зря Эйнштейн писал 15 ноября 1911 года своему швейцарскому другу Генриху Цанггеру после возвращения с первого Сольвеевского конгресса:

> Лоренц — чудо разума и такта, живое произведение искусства! По-моему, из всех присутствовавших теоретиков он обладал наиболее мощным интеллектом [Einstein—Zangger, 2012, с. 61].

Пуанкаре упорно молчал о теории Эйнштейна, даже когда в 1909 году читал лекции в Гёттингене, но никаких претензий к самому Эйнштейну никогда не высказывал. А когда в 1911 году Цюрихский политехникум, собираясь предложить Эйнштейну должность профессора, попросил Пуанкаре дать характеристику Эйнштейна, Пуанкаре ответил:

> Господин Эйнштейн — один из самых оригинальных мыслителей, которых я знал; несмотря на молодость, он уже занимает очень почетное место среди ведущих ученых нашего времени. Особое восхищение вызывает та легкость, с которой он воспринимает новые концепции и делает из них все возможные выводы. Он не придерживается классических представлений и, столкнувшись с любой физической проблемой, быстро схватывает ее суть. Это позволяет ему предсказывать новые явления, которые позднее, возможно, удастся проверить экспериментально. Не думаю, что все его гипотезы выдержат проверку опытом, когда такая проверка станет возможной. Так как он одновременно работает по разным направлениям, скорее всего, большинство путей, по которым он идет, заведет в тупик; но следует надеяться, что хотя бы одно из намеченных им направлений окажется верным, и этого будет достаточно [Пайс, 1989, с. 165—166].

Не будем строго судить осторожность Пуанкаре в оценке гипотез Эйнштейна, которые практически все подтвердились экспериментом. Благородство главного соперника Эйнштейна на звание автора теории относительности в этом поступке очевидно.

Так стоило ли так подробно заниматься «казусом Арнольда»? Не лучше ли, по примеру Эйнштейна и Пуанкаре, не поднимать вопрос приоритета, не реагировать на чьи-то обвинения и нападки? Утверждение, что Эйнштейн позаимствовал теорию относительности у Пуанкаре (реже у Лоренца), можно найти в десятках книг, сотнях видеоканалов, тысячах статей... Всем эйнштейноненавистникам не ответишь, всех не разоблачишь! Это так, но высказывания академика Арнольда в авторитетных научных журналах, в собственных книгах, по Центральному телевидению — это особый случай. Слишком велик авторитет этого выдающегося математика, гордости современной науки. В руках антиэйнштейнианцев «казус Арнольда» сродни оружию массового поражения — он способен сбить с толку миллионы доверчивых зрителей и читателей. Остаться равнодушным к такого рода одурачиванию населения — значило бы предать память великих основоположников современной физики.

Литература

Арнольд В. И. Что такое математика? М.: МЦНМО, 2002.

Арнольд В. И. Истории давние и недавние. М.: ФАЗИС, 2005.

Арнольд В. И. Недооцененный Пуанкаре. Успехи математических наук, с. 4—24. 2006. Т. 61, вып. 1 (367).

Арнольд В. И. К восьмидесятилетию. М.: МЦНМО, 2018.

Борн Макс. Физика в жизни моего поколения. Сборник статей. М.: Издательство иностранной литературы, 1963.

Борн Макс. Физика и относительность. В книге: А. А. Тяпкин (составитель). Принцип относительности. Сборник работ по специальной теории относительности, с. 232—239. М.: Атомиздат, 1973.

Визгин В. П. Релятивистская теория тяготения. М.: Наука, 1981.

Гинзбург В. Л. О теории относительности. М.: URSS, 2014.

Голдберг С. Молчание Пуанкаре и теория относительности Эйнштейна. Эйнштейновский сборник 1972, с. 341—358. М.: Наука, 1974.

Зелиг К. Альберт Эйнштейн. М.: Атомиздат, 1964.

Пайс Абрахам. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1989.

Полотовский Г. М. Несколько замечаний о мифотворчестве в истории математики. В книге: В. В. Афанасьев (ред.). Труды IX Колмогоровских чтений, с. 229—232. Ярославль: Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, 2011.

Пуанкаре Анри. О науке / Пер. с франц. М.: Наука, 1983.

Уиттекер Э. История теорий эира и электричества. Современные теории. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004.

Переписка А. Эйнштейна и М. Борна. В книге: У. И. Франкфурт (составитель). Эйнштейновский сборник 1972. М.: Наука, 1974.

Эйнштейн А. К электродинамике движущихся тел. Собрание научных трудов: В 4 т. Т. I. Работы по теории относительности. 1905—1920, с. 5—35. М.: Наука, 1965.

The Collected Papers of Albert Einstein. Vol. 1. The Early Years, 1879—1902. John Stachel (editor). Princeton: Princeton University Press, 1987.

Poincare Henri. La mesure du temps. Revue de Metaphysique et de Morale. Paris, 1898. Vol. 6, p. 1—13.

Seelig Carl (Hrsg.). Helle Zeit — Dunkle Zeit. Zürich, Stuttgart, Wien: Europa Verlag, 1956.

Stachel John. Poincare and the origins of special relativity. HOPOS. The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science, p. 242—256. 2016.Vol. 6.

Volkert Klaus. Drei mathematische Freunde über Poincare. Philosophia Scientiæ, 27—3. 2023.

Seelenverwandte. Der Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Heinrich Zangger. 1910—1947. Zürich : Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2012.

Лев БЕРДНИКОВ

ДЕРЗОСТЬ ПОДПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО

К 220-летию со дня смерти

В России в середине XVIII века произошло чрезвычайное происшествие: безобидное, казалось бы, стихотворение в честь одной театральной актрисы вызвало бурную реакцию в самых высоких сферах.

13 марта 1759 года советник канцелярии Академии наук Иван Тауберт (1717—1771) был спешно вызван во дворец, где получил суровый выговор за публикацию в февральском номере академического журнала «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» таких вот «неприличных» анонимных стихов:

Сонет, или Мадригал Либере Саке,
актрице Италианского вольного театра

Когда ты, Либера, что в драме представляешь,
В часы те, что к тебе приходит плеск во уши,
От зрителей себе ты знаком принимаешь,
Что в них ты красотой зажгла сердца и души.
Довольное число талантов истощила
Натура для тебя, как ты на свет рождалась,
Она тебя, она, о Сако! наградила,
Чтобы на все глаза приятною казалась.

Лев Иосифович Бердников родился в 1956 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института и Высшие библиотечные курсы. Работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где в 1987—1990 годах возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. В 1985 году защитил диссертацию «Становление сонета в русской поэзии XVIII века». С 1990 года живет в Лос-Анджелесе. Автор девяти книг и нескольких сотен публикаций в России, США, Канаде, Англии, Израиле, Германии, Дании, Латвии, Украине, Беларуси, Молдове. Тексты Л. Бердникова переведены на иврит, украинский, датский и английский языки. Член Русского ПЕН-центра, Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Союза русскоязычных писателей Израиля. Член редколлегии журналов «Новый берег» (Дания) и «Семь искусств» (Германия), зам. главного редактора журнала «Слово/Word» (США). Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года в номинации «По Руси. Историческая публицистика». Почетный дипломант Всеамериканского культурного фонда им. Булата Окуджавы.

Небесным пламенем глаза твои блистают,
Тень нежную лица черты нам представляют,
Прелестный взор очей, осанка несравненна.
Хоть неких дам язык клевещет тя хулою,
Но служит зависть их тебе лишь похвалою:
Ты истинно пленять сердца на свет рожденна.

Предписывалось незамедлительно выяснить, кто же был этот дерзкий возмутитель общего спокойствия. В тот же день Тауберт потребовал от редактора ежемесячника Герарда Миллера (1705—1783) дать на сей счет надлежащие объяснения и назвать имя автора «грубого» и «возмутительного» сонета. «Так как я, вечно сидевший за рабочим столом, — оправдывался испуганный издатель, — не посещаю здешнего придворного театра и не слыхивал имени Сакко, то предполагал, что эта госпожа принадлежит к итальянскому театру в Париже, и что стихи, следовательно, не оригинальные, а переведены с французского». Мало того, увертливый Миллер попытался свалить вину на профессора Никиту Попова (1720—1782) (тот с 1759 года занимался «поправками штиля» рукописей, присланных в журнал), который якобы и упросил его опубликовать сей опус. Сообщил он также, что сонет, «по слуху», принадлежит перу младшего офицера Ржевского. И здесь Миллер наводит тень на плетень, ибо со стихами Алексея Андреевича Ржевского (1737—1804), прослужившего к тому времени в лейб-гвардии Семеновском полку без малого десять лет, он был знаком вовсе не понаслышке. Бравый гвардеец неоднократно посылал свои поэтические опусы в «Ежемесячные сочинения», так что в портфелях Миллера находилась именно эта присланная Ржевским (и его рукой писанная) стихотворная подборка, «Сонетом или Мадригалом Либере Саке» завершающаяся (ныне хранится в РГАДА РФ).

Крамольные стихи попали под нож и были вырезаны из нераспроданной части тиража издания. Вместо подборки стихов Алексея Ржевского в журнал были вклеены безобидные «Мысли и примечания, переведенные из Грейвальдских ученых сочинений к пользе и увеселению служащих». А Канцелярия Академии наук распорядилась: «Понеже в академических сочинениях февраля месяца 1759 года внесены некоторые стихи неприличные, почему и лист перепечатан, того ради указали: прежде отдачи в станы, какая бы ни о чем материя ни была, первые листы или последние корректуры для введения господ присутствующих вносить в Канцелярию». Иными словами, злополучный сонет положил начало тому, что ежемесячник стал проходить строгую цензуру в самой канцелярии академии.

Обращает на себя внимание строфика сего сонета, писанного шестистопным ямбом, однако же строго по раннеитальянскому образцу (где у истоков стоял сам Франческо Петрарка), и в нем господствовали женские клаузулы. По-русски эта рифмовка звучала так: ABAB CDCD EEF GGF — и воспринималась вовсе не обычно, ибо тогда практически повсеместно были распространены сонеты с чередующимися мужскими и женскими каталектиками. Исключения были единичны. Назовем лишь два поздравительных сонета императрице Анне Иоанновне — 28 января 1736 года, сочиненные директором итальянских комедиантов при Российском дворе Иосифом (Джузеппе) Аволио, а на русский язык переведенные Василием Тредиаковским. Эти «высокие» сонеты, посвященные монархине, выполненные отечественным поэтом размером «гекзаметр хореический», с октавой «на две токма рифмы», Тредиаковский считал самыми значительными в жанровом отношении[1]. Таким образом, говорящее лицо (лирический

[1] См. Бердников Л. И. Стихи для Анны Иоанновны // Новая Юность. 2009. № 5.

герой) русского сонета предстает здесь как в торжественном, так и в интимном ракурсах. Сомнительно, однако, что Ржевский знал о существовании стихов своего предшественника: ведь когда сонеты были торжественно читаны при дворе, тот был совсем еще младенцем. Логичнее всего предположить, что такая нарочитая стилизация была выполнена Ржевским именно в угоду пленительной итальянке, дабы усладить ее нежный слух.

Впрочем, современному читателю совершенно непонятно, что же «неприличного» можно было узреть в панегирике итальянской актрисе, отчего-то и загорелся весь этот сыр-бор, вызвавший отчаянный гнев при дворе, лепет оправданья издателя, цензурные изъятия. Известный литературовед и писатель Лев Лосев в книге «On the Beneficence of Censorship» (1984) пояснил, что слова сонета Ржевского о «неких дамах», завидующих красоте пленительной итальянки и на нее клевещущих, — это образчик эзопова языка середины XVIII века, вполне понятный современникам. Ибо таковой дамой была как раз «модница с железными кулаками», императрица Елизавета Петровна, не терпевшая похвал чужой красоте.

Обладательница пятнадцати тысяч платьев, нескольких тысяч пар обуви, сотен отрезов самых дорогих тканей, сия монархиня и сама переодевалась по семь раз на дню, и своим придворным наказала являться на бал или куртаг каждый раз в новом платье (по ее приказу гвардейцы даже метили специальными чернильными печатями одеяния гостей — чтобы впредь в старых костюмах показываться не смели!). А поисками самых модных вещиц для государыни были озабочены не только в России, но и за границей. Все парижские новинки сперва доставлялись во дворец; монархиня отбирала понравившееся, расплачивалась с поставщиками весьма скупо (вопреки укоренившейся за ней славы транжирки), и только после этого те получали право продавать оставшееся простым смертным. И не дай бог нарушить сие правило: одна ослушница, некая госпожа Тардье, была за это арестована: в гневе императрица была страшна!

Необыкновенная красавица в молодости, она страдала стойким комплексом нарциссизма; как сказал о ней историк Василий Ключевский, Елизавета всю жизнь «не спускала с себя глаз». Впрочем, ее обаянием были покорены все: «Хотелось бы смотреть, не сводя с нее глаз, — восторгалась своей порфироносной „тетушкой“ Екатерина II, — и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось ни одного предмета, который бы с ней сравнялся».

Уморительны были навязываемые императрицей «метаморфозы», на которых мужчины облекались в женские платья с огромными фижмами, а женщины — в мужское. И хотя на таких маскарадах большинство участников выглядели забавно (если не сказать безобразно), зато выигрывала Елизавета Петровна: мужской костюм ей чудесно шел, подчеркивая ее великолепные формы.

Однажды она повелела всем придворным дамам обрить головы и надеть черные, плохо расчесанные парики. И все потому, что белокурая Елизавета, покрасив волосы в черный цвет, не смогла избавиться от въевшейся в них краски и принуждена была остричься — дамы повиновались ей с плачем. Или вдруг она «приказала всем дамам надеть на полуюбки из китового уса короткие юбки розового цвета, с еще более короткими казакинами из белой тафты, и белые шляпы, подбитые розовой тафтой, поднятые с двух сторон и спускающиеся на глаза». Екатерина II резюмирует: «Окутанные таким образом, мы походили на сумасшедших, но это было из послушания».

Со временем императрица из зависти начала преследовать всех мало-мальски смазливых молодых женщин. Стоило несчастной одеться красиво и броско, она тут же ста-

новилась жертвой монаршего произвола. Сколько дамских платьев, лент, причесок искромсала императрица ножницами! «Однажды, — вспоминала далее Екатерина II, — при всем Дворе, она подозвала к себе Нарышкину, жену обер-егермейстера, которая, благодаря своей красоте, прекрасному сложению и величественному виду, какой у нея был, и исключительной изысканности, какую она вносила в свой наряд, стала предметом ненависти императрицы, и та в присутствии всех срезала ножницами у нея на голове прелестное украшение из лент, которое она надела в тот день. В другой раз она сама обстригла половину завитых спереди волос у своих двух фрейлин, под тем предлогом, что не любила фасон прически, какой у них был... и обе девицы уверяли, что Ея Величество с волосами содрала и немножко кожи». И уж, конечно, неслыханной дерзостью было явиться ко двору в таком же, как у нее, украшении или платье: посмевшая сделать это статс-дама Наталья Лопухина (1699—1763) была прилюдно исхлестана по щекам, а позднее была подвергнута жестокой экзекуции с урезанием языка...

Императрица страстно любила оперу и балет. Еще в бытность цесаревной, она принимала живое участие в придворных увеселениях, танцуя чрезвычайно изысканно и грациозно. Особенно жаловала Елизавета итальянскую оперу и распорядилась «принять в здешнюю императорскую службу» антрепренера и сценариста Джованни Баттиста Локателли (1713—1785), который и прибыл в Петербург в 1757 году вместе с труппой из 32 итальянских актеров и актрис. 3 декабря итальянская труппа начала свои выступдения в Императорском театре у Летнего сада. Им сопутствовал оглушительный успех. Академик Леонид Майков отмечает: «Прекрасное исполнение [опер и балетов] и роскошная их постановка, достойная, по словам иноземных очевидцев, лучших театров Парижа и Италии, произвели чрезвычайное впечатление на Петербургское общество. Императрица в первый год подарила театральному импрессарио 5000 рублей; он устроил годовой абонемент, причем брал за ложу 300 рублей; сверх того, богатые люди обивали ложи свои шелковыми материями и убирали зеркалами». Двор абонировал три первые ложи за 1000 рублей в год. Елизавета Петровна часто бывала на спектаклях, обыкновенно инкогнито. Интересно, что «после представления оперы в оперном же доме сожигали фейерверк». Объявления о представлениях печатались в столичных газетах, а либретто с итальянским текстом и его переводом на французский язык продавались в академических книжных лавках.

В труппу Локателли входили многие европейские знаменитости, однако, по словам историка, «главною приманкою театра были две хорошенькие актрисы» — Либера Сакко и Анна Белюцци. Особенно яркое впечатление на публику произвела представленная в августе 1758 года пантомима «Отец солюбовник сыну своему, или Завороженная табакерка», где Анна играла бойкую деревенскую дуреху Коломбину, а Либера — обворожительную, юную и влюбленную Изабеллу. Современник Якоб Штелин (1709—1785) свидетельствует: «Равенство в приятности, вкусе и танцованьи госпож Сакки и Белюцци делило на две партии зрителей, из которых некоторые имели две деревянные, связанные лентою дощечки, на коих написано было имя той из сих двух танцовщиц, которая больше кому нравилась, и коей они аплодировать хотели — сии дощечки заменяли часто их ладони, кои от беспрестанного хлопанья у многих пухли».

Сохранившиеся сведения об этих прекрасных соперницах крайне скудны и отрывочны. Грациозная и стройная Анна Белюцци (1730—), прозванная «Ля Бастончина» (в переводе с итальянского «Тросточка»), выступала в труппе вместе со своим мужем, хореографом и композитором Джузеппе (Карло) Белюцци. Танцовщица широкого диапазона, она исполняла как серьезные (Прозерпина в «Похищении Прозерпины»), так и комедийные роли (Клеопатра в «Празднике Клеопатры»). А вот перед ее

женскими чарами не устоял и такой искушенный сердцеед, как Джованни Казанова (1725—1798), состоявший с ней в амурной связи. Казанова был без ума от Анны, и когда та станцевала ему фанданго, он вскричал в сердцах: «Что за чудо-танец! Он обжигает, возносит, мчит вдаль!»

Либера Сакко, уроженка Венеции, приехала в Петербург вместе с сестрой, балериной Андреаной (1715—1776), и знаменитым братом, Джованни Антонио Сакко (1708—1788), выдающимся педагогом, актером-импровизатором, эквилибристом и акробатом, главенствовавшим в балетной труппе итальянцев. Им было поставлено большинство балетов, а поскольку основной репертуар антрепризы Локателли составляли оперы-буфф, его балетный репертуар тяготел к комедии. Впрочем, ставились и балеты на серьезные сюжеты. Либера представала то нежной нимфой Дафной (балет «Аполлон и Дафна»), то участвовала в спектакле «Убежище богов, действие драматическое, представленное перед балетом Богов Морских». Тот же Якоб Штелин аттестует ее как «лукавая Либера», и такое определение вполне объяснимо. Дело в том, что эта «актрица» преуспела не только в служении Терпсихоре — натура наградила Сакко и недюжинными вокальными данными. Она выступала с неизменным успехом и в операх, где исполняла преимущественно партии героинь сметливых и лукавых: это и задорная юная крестьянка Лена в опере «Сельский философ», и остроумная веселая сплетница Чекка («Учительница школы»), и другая Чекка, практичная домовитая крестьянка («Мыза, или Сельская жизнь»).

Особенно блистала Сакко в главной роли в «Героическом балете Психеи». Сила обаяния примы, безукоризненная пластика каждого шага и жеста, удивительная гармония и завершенность поз возбуждали у русской театральной публики «плеск во уши» (слово «аплодисменты» тогда еще в русский язык не вошло). По сюжету, ослепительной красоте возлюбленной Эрота Психеи завидовала сама Афродита. Так и Психея-Сакко, по словам Ржевского, «красотой зажгла сердца и души» зрителей, возбудив жгучую зависть «неких дам». По-видимому, автор «Сонета или Мадригала» прознал о злословии императрицы в адрес балерины, что и стало поводом для его выступления в печати.

Что же одушевляло его действия? Мнения исследователей на сей счет разнятся: Леонид Майков полагает, что Ржевский был поклонником таланта примы, а историк Николай Энгельгардт, убежден, что тот был страстно влюблен в нее. Думается, однако, что одно другого никак не исключает.

Обращает на себя внимание, что мадригал в поэзии Ржевского становится жанром преимущественно любовным:

Скажи мне тайну ту, чем ты меня пленила, —
И я бы сделал то ж, чтоб ты меня любила.

Дар сердца своего недешево купил:
Своим тебе за то я сердцем заплатил.

То сердце, что взяла, опять мне возврати
Или за то своим мне сердцем заплати.

Свои панегирики профессиональному искусству актрис Ржевский облекал исключительно в форму «Стихов». Чтобы понять эту тонкую разницу, достаточно сопоставить «Сонет или Мадригал», и его же «Стихи девице Нелидовой...» (1773), и «Стихи

девице Борщовой...» (1773). В этих «Стихах» Нелидова «*естественной игрой* всех привела в забвенье», а Борщова «зрителей сердца... *пением* зажгла», то есть внимание акцентируется исключительно на театральном мастерстве, а не на женской харизме данных исполнительниц. Не то о Сакко, где ярко живописуется именно ее красота, притягательность и, как бы мы сказали сейчас, сексапильность:

Небесным пламенем глаза твои блистают,
Тень нежную лица черты нам представляют,
Прелестен взор очей, осанка несравненна...

Обращает на себя внимание еще один любопытный факт. Ржевский, как известно, отдал немало сил шаржированию и пародированию щегольства. Он оппонировал своим культурным противникам — «гадким петиметрам» в самых различных жанрах (включая ложный панегирик и письмо), подвергая беспощадному сатирическому осмеянию их взгляды, мировосприятие, систему ценностей. За два года до написания «Сонета и мадригала» он послал в «Ежемесячные сочинения...» два стихотворения: «Сонет I. К красавцу» и «Сонет II. К красавице» (РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. П. 414. Д. 20. Л. 5об.—6). Оба текста писаны от лица вертопраха, который, по уничижительной характеристике «нежного» Александра Сумарокова, «родился, как мнит он, для амуру, / чтоб где-нибудь склонить к себе такую ж дуру». Но вот что примечательно: в мадригале, посвященном Сакко, повторены комплиментарные формулы одного из этих пародийных сонетов:

Тебя натура в свет когда производила,
То образ красота дала тебе сполна,
Я мню, что все в тебя таланты истощила,
Коль щедрою к тебе явилася она.

(Сонет I. К красавцу)

Довольное число талантов истощила
Натура для тебя, как ты на свет рождалась.

(Сонет или Мадригал)

Чем можешь обладать, того не упускай,
Покуда есть краса, любовь в сердцах сжигай.

(Сонет I. К красавцу)

Что ты в них красотой зажгла сердца и души.

(Сонет и мадригал)

Между прочим, позднее, в журнале «Свободные часы» (1763), Ржевский будет говорить о том, что «петиметры ходят в театральные позорищи, чтобы... поддерживать славу той актрисы, которая им *не по искусству театральному нравится*». Увы! — завеса веков скрыла от нас, насколько близки были русский гвардеец и грациозная итальянка, но нет сомнения: Ржевский посмел защитить Сакко от злоязычия и хулы *самой монархини*. При этом он уязвил стареющую нимфоманку Елизавету, громогласно объявив о ее зависти чужой красоте. То была неслыханная дерзость. Ведал ли он, что творил? Знал ли, какую бурю вызовет его мадригал при дворе? Конечно, знал, по-

тому-то и не подписал его (хотя под другими стихотворениями подборки значились его инициалы). При этом понимал, конечно, не мог не понимать, что анонимность здесь не более чем секрет полишинеля и авторство его тут же выплывет наружу...

Впрочем, итальянская прима продолжала благополучно выступать на русской театральной сцене и покинула Россию вместе с труппой Локателли только в 1762 году, в связи с дворцовым переворотом. Театральный критик Александр Плещеев писал, что за свой мадригал гвардеец «будто бы пострадал». Но свидетельств тому нет. А потому можно предположить, что на судьбе и творчестве Ржевского эпизод этот никак не отразился, хотя и сервильных стихов Елизавете (как некогда Тредиаковский Анне Иоанновне) он тоже всеподданейше не подносил. Зато продолжал служить в лейб-гвардии Семеновском полку вплоть до дня кончины этой «некой завистливой дамы», 25 декабря 1761 года, когда вышел в отставку в чине подпоручика. При этом он активно печатался в журналах «Полезное увеселение» (1760—1762), «Свободные часы» (1763), издаваемых под водительством Михаила Хераскова (1733—1807) при Московском университете. Впоследствии же сотрудничал с петербургским еженедельником «Вечера» (1772—1773), переизданном затем в 1788—1789 годах, где публиковал, преимущественно в переработанном виде, свои ранние поэтические тексты, и сонеты в том числе. Особенной популярностью он пользовался как лирический поэт, хотя его творчество носило черты аристократического дилетантства, а успешная придворная карьера затмевала писательские лавры. Очень емко выразился на сей счет литератор Дмитрий Савосин: «Пожалуй, он, как никто другой, мог бы с гордой иронией добавить к известному романтическому трюизму: да, поэт в России — больше, чем поэт. Он еще и чиновник, и верный государев слуга».

Что до поэзии, то он демонстрировал свое виртуозное искусство и в словесной игре, и во владении разного рода размерами да и всякими кунстштюками. Он разработал ряд сложных литературных приемов: стихотворение-период, построенное по типу загадки; стихотворение, читаемое с разным расположением строк; ода из односложных слов и прочие подчеркнутые ухищрения стиля. Кроме того, Ржевский выступал с торжественными одами в адрес сначала Петру III («Ода Всепресветлейшему Державнейшему Великому и Милосердному государю, истинному отцу подданных, императору Петру Феодоровичу, самодержцу Всероссийскому. Приносится в знак благодарности за беспримерное и милосердое пожалованье вольностию российских дворян. Сочинена в 1762 году марта 1 дня»), написанная по следам указа от 18 февраля 1762 года, дававшего дворянам ряд привилегий: в частности, освобождавшего их от обязательной службы. Однако, как и многие другие его современники, он очень скоро разочаровался в деятельности Петра III и принял участие в дворцовом перевороте 28 июня 1762 года, выступив на стороне Екатерины II, и он стал ей откровенно славословить: и при ее восшествии на престол (1762), и по случаю дня ее рождения (1763), и на Новый год (1764), и при ее выезде из Петербурга в Москву (1767), причем в большинстве случаев с нарочито уничижительной подписью «всеподданейший раб». Перу Ржевского принадлежат также трагедии «Прелеста» (постановка 1765 года, текст не сохранился) и «Подложный Смердий» (постановка 1769 года, а опубликована она только в 1956 году) — об узурпаторе персидского престола Лже-Смердисе в конце VI века до н. э. на сюжет, заимствованный из «Истории» Геродота. Литератор Александр Палицын (1741—1816) в своем «Послании к Привете» констатировал:

Чертами многими нам Ржевский показал,
Что он к словесности похвальну страсть питал:

Он вкусом, знанием и слогом в ней блистал;
И если б звание его не скрыло пышно,
В писателях его бы имя было слышно.

Что до дальнейшей карьеры и фортуны Ржевского, то трудно отыскать в русском XVIII веке человека, чья планида сложилась бы столь же блистательно. В 1767 году Ржевский назначается камер-юнкером; в 1773 году он уже камергер; в 1771—1773 годах — вице-президент Академии наук; с 1775 года — президент Медицинской коллегии. В 1783 году он был пожалован звания сенатора и тайного советника. Об авторитетности Ржевского периода его руководства Медицинской коллегией свидетельствует хотя бы посвященная ему книга штаб-лекаря и коллежского асессора Данилы Самойловича (1743—1805) «Нынешний способ лечения, как можно простому народу лечиться от угрызения бешеной собаки и угрызения змеи... / Выбрав из разных авторов сочинил для пользы общенародной Данило Самойлович» (1780). Автор сопроводил адресованный патрону текст дедикациями на русском и французском языках.

В том же году тиражом в 1000 экз. вышла в свет изданная Алексеем Андреевичем знаменитая «Душинька. Древняя повесть в вольных стихах» Ипполита Богдановича (1743—1803), явившая собой первое полноценное издание этой по меркам того времени весьма «изящной» поэмы. Невольно вспоминается эпиграф к повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка» из цикла «Повести Белкина» (1831): «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша». В наше время эта фраза звучит иронично, шутливо в качестве готового комплимента в ответ на просьбы дам оценить новое платье, прическу и т. п. Не то в XVIII веке, где в оригинале Богдановича читаем:

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша:
По образу ль какой царицы ты одета,
Пастушкою ль сидишь ты возле шалаша,
Во всех ты чудо света.

И замечательно, что издателем, вдохновителем и популяризатором «Душиньки» стал именно Ржевский. Это он напечатал поэму на собственный кошт и добился того, чтобы доходы от продажи книги получил не он — издатель, а непосредственно автор, прямо из Академии наук. Один этот поступок укрепил общее мнение о том, что он был «человеком сентиментальным, но честным и добрым». Вот что писал он в предисловии: «Непринужденная вольность стиля, чистота стихов, удачливый выбор приличных слов по роду сей поэмы, а паче изобилие поэтических воображений мне столько понравились, что я просил сочинителя отдать сию поэму в мою волю... а я рассудил издать ее в печать, чтобы и другим принесть то ж удовольствие, которое от нее я имел. Я думаю, что многим она понравится». А в восторженной рецензии, появившейся в одном из прибавлений к «Московским ведомостям» (1783, № 96), о «Душиньке» говорилось: «Сия книжка заслуживает всякое уважение от почтенной публики, ибо приятность содержания, удачливость в выражениях, легкой и непринужденный слог в стихах и многие другие достоинства соделывают ее первою еще в сем роде стихотворений на российском языке».

О книге говорили, что ее «и дорогóй ценой найти невозможно». А библиограф Василий Сопиков отмечал, что именно это издание «знатоками уважается более нежели последующие, исправленные, ибо автор исправлял сие творение в преклонный уже вечер своей жизни». Думается, Ржевский принял столь деятельное участие в подготов-

ке текста к печати, памятуя о мифологической Психее (русифицированная версия — «Душинька»), сочинения Жана де Лафонтена (1621—1695) под титулом «Любовь Психеи и Купидона» (1669). Или, может статься, ему, теперь уже издателю, пришел на ум тот виденный в юности «Героический балет Психея», главную партию в котором танцевала сама итальянская прима, «актриса» Либера Сакко.

С 1794 года Ржевский занимал выборную должность, тогда очень почетную — совестного судьи в Санкт-Петербурге, возглавив работу по рассмотрению приговоров правонарушителям, и по уголовным делам, и преступлениям, совершенным умалишенными, несовершеннолетними, а также непредумышленно. Алексей Андреевич был, говоря современным языком, высшим главой комиссии о помиловании. Бескомпромиссный служитель Фемиды, он вел дела, где источником преступления была не сознательная воля преступника, но или несчастие, или физический, либо нравственный недостаток, с учетом малолетства, слабоумия, фанатизма, суеверия. Из дел гражданских возглавляемый им суд ведал те дела, с которыми обращались к нему и сами тяжущиеся стороны. В таких случаях совестный суд действовал как мировой: он должен был прежде всего стараться мирить тяжущихся.

Впечатляет и величественный герб Алексея Андреевича: «На княжеской мантии изображен щит, разделенный вертикальной чертой на две части, и левая часть разделена горизонтальной чертой надвое. В правой части, имеющей синее поле, изображен ангел с мечом в правой руке и щитом в левой (герб княжества Киевского). В левой верхней части, имеющей золотое поле, изображен черный орел с распростертыми крыльями, стреляющий из лука в левую сторону. В нижней, левой части, имеющей серебряное поле, изображена золотая пушка на красном лафете с сидящей на ней птицей (герб княжества Смоленского). Щит увенчан дворянским шлемом, обращенным в правую сторону; покрыт княжеской мантией и шапкою княжеского достоинства». Примечательна эпитафия Ржевскому на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, где тот титулуется «действительным тайным советником, разных орденов кавалером и камергером». Далее следуют величальные стихи:

Он редким был отцом,
Примерным был супругом,
Для счастия родных, для обща блага жил;
Любил учение, поэзии был другом
И правдою всегда Отечеству служил...

Но то было уже подведением его жизненных итогов, когда давно минула пора легкомысленной, щегольской молодости. До этого же времени он успел жениться дважды: сначала на Александре Федотовне Ржевской (урожденной Каменской) (1740—1769), сколь верной, столь и заботливой его подруге, о которой неподкупный Николай Новиков (1744—1818) отозвался так: «Во время своей жизни любила науки и художества, упражнялася в стихотворстве, живописи и музыке; имела великую охоту к чтению книг, искусна была во французском, итальянском и в своем природном языке [не она ли споспешествовала мужу в написании мадригала итальянке Сакко? — *Л. Б.*]... Сочинила она весьма изрядные стихотворения, которые и напечатаны в ежемесячных московских сочинениях. Искусством ее и упражнениям в живописи остались доказательством многие портреты и картины, рисованные ею сухими красками». Видно, что это был брачный союз близких друзей и единомышленников, пресекшийся в 1769 году безвременной кончиной супруги. Под тридцать лет Алексей Андреевич женится

вторично, на Глафире Ивановне Алымовой (1758—1826), рожденной, по совпадению, почти одновременно с публикацией «Сонета или Мадригала». Она была воспитанницей знаменитого Смольного института и, подобно некоторым другим институткам, могла читать и говорить на французском, немецком и итальянском языках. Под водительством знающих менторов она искусилась в развитии самостоятельного мышления да и получила импульс к расширению дальнейших познаний. Курс она окончила «первой» и была удостоена впечатляющего портрета кисти Дмитрия Левицкого (1776), где она, новоиспеченная фрейлина, изображена играющей на арфе. Вот как отозвался об этом ее портрете Александр Бенуа: «Вот это истинный восемнадцатый век во всем его жеманстве и кокетливой простоте, и положительно этот портрет производит сильное, неизгладимое впечатление как прогулка по Трианону или Павловску». При этом она слыла любимицей Екатерины Великой, которая ласково звала ее «Алымушкой» и пожаловала орден Екатеринина Малого креста. Вообще, Екатерина фигурирует в мемуарах Глафиры как божественная сила, как высшая справедливость, постоянно приходящая на помощь своей фрейлине. Неудивительно, что именно эта императрица была посаженой матерью на ее свадьбе с Алексеем Ржевским, благословляя молодоженов. Ведь это Екатерина настояла на браке.

Эта новая семья вроде бы тоже была вполне благополучна, и это несмотря на внушительную разницу в возрасте: жена была младше мужа на добрые два десятка лет. Супруги Ржевские воспитывали сыновей Александра (1781—1807), Павла (1784—1852), Константина (1788—1837) Алексея (1791—1792), а также дочь Марию (1778—1866), тоже в будущем фрейлину, каковую должность она получила благодаря фавору и связям матери. Семья обосновалась в поместительном доме по адресу: Фурштатская улица, 20. Интересно, что уже после смерти Глафиры, с мая до осени 1832 года, здесь снимал квартиру А. С. Пушкин. Примечания достойно, что в своем доме Ржевские завели литературно-музыкальный салон, в коем Ржевская самозабвенно играла на своей арфе и музицировала. Раз в неделю по средам у них собирался цвет петербургской интеллигенции, среди которой были корифеи Михаил Херасков (1733—1807) и Гаврила Державин (1743—1816). Последний в одну из таких сред зачитал стихотворение «Счастливое семейство» (1780), в котором живописал «чувствительным, незлобным, благочестивым, добрым мужем», и продолжил:

В дому его нет ссор, разврата,
Но мир, покой и тишина:
так маслина плодом богата
Красой и нравами жена...
Как розы, кисти винограда
Румянцем веселят своим,
Его благословенны чада.
Так милы вкруг трапезы с ним.

Но Державин отметил и постигшую Ржевского досадную метаморфозу: по его словам, тот стал «человеком, удобопреклоненным на сторону сильных». Так, стихотворец, допустивший неслыханную дерзость по отношению к самой монархине и готовый тем самым бросить ей вызов, стал покорным и рептильным исполнителем воли начальства. Примеров его малодушия немало. Достаточно сказать, что когда Александра Радищева (1749—1802), написавшего анонимную антиправительственную книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), обвинили в государственной

крамоле и упекли в сибирский острог, Глафира, близко знавшая его супругу, бросилась за помощью своего высокопоставленного мужа-сенатора. Но тот только руками развел: «Что можно сделать, коли сама государыня назвала Радищева бунтовщиком хуже Пугачева?!» А вот Ржевская не сдалась: девять раз она подавала власть имущим прошения об облегчении участи узника — везде отказ. И только после смерти Екатерины новый император Павел I вернул Радищева в Петербург.

При этом взбалмошный Павел I обошелся со Ржевскими далеко не милостиво и совершенно непоследовательно. Хотя Глафира и утверждает, что между ней и в бытность Павла великим князем «завязалась их нежная дружба на 10 лет», что и потом сей монарх «всю жизнь относился к чете Ржевских с уважением», действительность говорит о другом. Все началось с того, что забила тревогу великая княгиня Мария Федоровна, которая приревновала к ней, своей юной фрейлине, любезного супруга. Сначала Глафира была назначена в свиту к великой княгине Марии Федоровне, второй супруге Павла Петровича, в качестве компаньонки. Поначалу молодые женщины сдружились, но потом их отношения расстроились. Некоторые считали, что супруга монарха приревновала Глафиру к Павлу и постаралась с ней расстаться. Мария Федоровна стала вдруг холодна к ней, словом, обходилась крайне неучтиво со своей предполагаемой соперницей. И ведь этой августейшей ревнивице вторил весь двор. Эта ревность не могла возникнуть безосновательно — к тому были предпосылки: «Он в присутствии жены и всех вообще, — сообщала Ржевская, — только мною и занимался, и был любезен донельзя. Когда я его предостерегала, он отвечал, что ему надоели все сплетни, что он знать их не хочет, и по-прежнему был ко мне внимателен». И после ее замужества ухаживания Павла не прекратились, но еще более усилились. Тогда Глафира со свойственной ей смелостью стала вести себя вызывающе. В этом плане показателен эпизод, когда Ржевские, вследствие придворных интриг Ивана Кутайсова (1759—1834) и княгини Анны Гагариной (1777—1805), опоздали на свадьбу собственной дочери Марии на два часа, чем вызвали сильное неудовольствие императора. Он демонстративно отказался присутствовать на свадьбе, на что Глафира отреагировала весьма остро: «Я в первый раз в жизни заговорила с кн. Гагариной, настойчиво требуя, чтобы она отправилась к императору и объявила ему, что я не выйду из церкви, если не будет им признана наша невинность, что все это вредит репутации моей дочери и что наконец сама я заслуживаю большего уважения...» В другой раз Павел взъярился на Ржевских из-за их опоздания и на другое бракосочетание — любимца государя камергера Николая Свистунова (1770—1815). И если бы не заступничество цесаревича, будущего императора Александра I, не побоявшегося гнева сумасбродного отца и его клевретов, то неизвестно, чем бы дело кончилось. Но в результате пострадала именно Ржевская, фамилию которой император собственноручно вычеркнул из наградного листа, фыркнув: «Место женщины на кухне!», после чего та подала в отставку. Позднее она оправдывала себя тем, что ранее оставалась при дворе и пользовалась выгодами своего положения исключительно ради детей. А как только те перестали в том нуждаться, сразу же оставила придворную карьеру.

Сам же Алексей Андреевич какое-то время находился на плаву. Один царедворец охарактеризовал Ржевского как «человека сентиментального, но честного и доброго», что, впрочем, не спасло положение. В самом деле, в ноябре 1797 года он посвятил монарху «Оду его величеству... Павлу Петровичу, на всероссийский престол возшествие» и был произведен в действительные тайные советники. Затем 3 марта 1799 года обратился к государю с «Одой на случай взятия острова Корфу и поражение врагов российским воинством под предводительством адмирала Ушакова» и в марте же на-

гражден орденом Св. Александра Невского. Мало того, в том же году он получил почетный кавалерский крест ордена Св. Иоанна Иерусалимского, считавшийся при Павле высшим знаком отличия, жалуемым за гражданские и военные заслуги. Все это как будто знаменовало собой личное благорасположение государя. Но вдруг 4 сентября 1800 года он был нежданно-негаданно уволен со службы. Поговаривали, что, будучи совестным судьей, он чем-то прогневил государя императора. И неудивительно вовсе, что через полгода павловской опалы он уже горячо приветствовал нового царя «Одой его величества государю императору Александру Павловичу... на всевожделеннейший день восшествия на российский престол» (1801) с энергичным зачином: «Внезапный шум мой слух объемлет...»

Однако творческая активность Ржевского заметно ослабела и свелась преимущественно к переписке с бывшей альма-матер — Российской академией, где ранее он главенствовал и действительным членом которой пожизненно состоял. Туда были посланы последние его произведения: идиллия «К невским музам» и отзыв на переведенную в стихах Иваном Сиряковым «Генриаду» Вольтера (1802). Первый текст до нас не дошел, а что до оценки перевода, то та отличалась известной уклончивостью. Рецензент призвал «поровнять перевод с подлинником... и поприлежнее сличить их и потрудиться дать силы стихам». Он, между прочим, писал: «Во втором стихе Вольтер просит истину, чтоб она спустила в его писание свою силу и свою ясность; а в переводе же — чтобы она излила ясность звезд. Ясность истины и ясность звезд — две вещи разные». Кроме того, Сиряков порицался и за утрату «стихотворной музыки» по причине «отнимающего энергию» введения излишних союзов, предлогов и вводных слов, а также за «беспечность стихосложения», в силу чего стихи неравносложны, «не плавны и не гладки». Только в случае исправления всех этих огрехов, по мнению Ржевского, «перевод будет не худ и достоин напечатать». Заметим, что достаточно уклончиво об этом высказался и другой академический сочлен, Дмитрий Хвостов (1757—1835). А вот особенно резко отозвался о переводе Константин Батюшков (1787—1855), который в своей уничтожающей эпиграмме (Цветник, 1810, ч. I, № 2) сравнил переводчика Вольтера с Сизифом и назвал его Осляковым. Впрочем, после исправления и переработки текста увидели свет два издания Сирякова (1803, 1822). Второе издание примечательно тем, что напечатано в собственной типографии самого Сирякова, что свидетельствует о том, что его «слабые труды» были поставлены им на поток. Возвращаясь к Ржевскому, внимания достойно то, что в последние годы жизни он продолжал участвовать в подготовке «Словаря Академии Российской» и редактировал «все понятия» на букву «Б». Скончался же Алексей Андреевич Ржевский 23 апреля 1804 года в Петербурге. По свидетельству современников, отрешенный от всяких дел, он «умер от горя».

Наследство действительного тайного советника оказалось до обидного скудным. Жена и дети остались в долгах как в шелках. И если бы не царственная рука Александра Благословенного, не видать бы семейству пенсии в 63 тысячи рублей, что помогло им частично расплатиться с кредиторами. Впрочем, Глафира Ивановна, отличавшаяся, как говорили, «прагматизмом и жизнестойкостью», по всей видимости, не сильно прилепилась к мужу, во всяком случае вовсе не так, как некогда почившая в Бозе его первая жена Александра Федотовна. Едва выждав положенный срок траура по покойному супругу, Глафира Ивановна, эта многодетная пятидесятилетняя дама, посчитала свое сердце свободным и скоропостижно вышла замуж за католика, безродного француза Ипполита Маскле (1768—1853), которого за покладистость и учтивства часто называли «милейшим».

Это был второй брак (первая жена и две дочери, Адель и Софи Аделаида Катарина Маскле, остались во Франции). А его называли не иначе как «обруселый» француз. Он и впрямь достаточно свободно говорил по-русски, в чем брал пример со своего старшего брата Жана Баттиста (Иоанна Баптиста на греческий манер) (1763—1818), который отправился в Россию ранее и сделал завидную церковную карьеру: харизматичный священнослужитель, он начал проповедовать в Минской диоцезе, затем занимал пост каноника Могилевского, а позднее стал капелланом ордена Св. Иоанна Иерусалимского и, наконец, епископом в Римско-католической церкви Св. Екатерины.

А позднее на ловлю счастья устремился в Россию и уроженец г. Дуэ, что близ Лилля, Ипполит Максле. Известно, что он оказался в Петербурге не позднее 1789 года и во время Великой французской революции незамедлительно принес российской короне присягу в том, что никак не приемлет революционных идей (того требовала тогда от лояльных «русских французов» Екатерина II). Заметим, что наш герой принадлежал к числу тех галлов, которые прочно встроились в жизнь на чужбине (точно так же, как его брат, дипломат и журналист Джозеф Маскле (1760—1833), был борцом за свободу и независимость... Северо-Американских Штатов).

В отличие от брата-священнослужителя, Ипполит определился в гувернеры во влиятельное и родовитое семейство Ржевских. Надо сказать, что к выбору гувернера относились тогда у нас довольно легкомысленно, так что образование подрастающего поколения возлагалось на людей, которые сами нуждались в этом. Об этом в статейке «Кронштадт» издевательски писал еще Николай Новиков в журнале «Трутень» (1769): «На сих днях в здешний порт прибыл из Бурдо корабль: на нем... привезены 24 француза, сказывающие о себе, что они все бароны, шевалье, маркизы и графы и что они, будучи несчастливы во своем отечестве, по разным делам, касавшимся до чести их, приведены были до такой крайности, что... принуждены были ехать в Россию. Они во своих рассказах солгали очень мало: ибо, по достоверным доказательствам, они все природные французы, упражнявшиеся в разных ремеслах... Многие из них в превеликой жили ссоре с парижскою полициею... и для того она по ненависти своей к ним сделала им приветствие, которое им не полюбилось... И ради того приехали они сюда и намерены вступить в должности учителей и гофмейстеров молодых благородных людей. Любезные сограждане, спешите нанимать сих чужестранцев для воспитания ваших детей! Поручайте немедленно будущую подпору государства сим побродягам и думайте, что вы исполнили долг родительский! Поручайте немедленно будущую подпору государства сим побродягам и думайте, что вы исполнили долг родительский, когда наняли в учители французов, не узнав прежде ни знания их, ни поведения». И в самом деле, французы, призванные «просвещать» русских дворянских детей, у себя на родине являлись лакеями, мастеровыми или же беглыми офицерами. Тем не менее «полезных» иноземцев христианских конфессий усиленно зазывали: «Иноверные могут в России оставаться и их количество будет умножаться, вследствие чего они будут лучше служить Отечеству, а государству от этого будет большая польза». Видимо, следуя общему обычаю, Ржевские закрыли глаза на то, что Ипполит, по слухам, был на родине «моторыгой» (то есть «гулякой, кутилой, беспутным человеком») и «провиантским капитаном» — каптенармусом, мелким чиновником, заведующим приемом, хранением и выдачей продовольствия и вещевого и оружейного инвентаря. Но были у него и явные достоинства. Ипполит был широко, хотя и достаточно поверхностно образован. В 1797 году он подвизался библиотекарем книгохранилища Горного училища в Петербурге и составил каталог фонда, который тогда включал в себя 2238 томов. Отсюда следует, что как библиограф он знал несколько иностранных языков, что тому

по штату положено. И конечно, был одержим французской словесностью и особенно благоговел перед бессмертными баснями Жана де Лафонтена (1621—1695), с их красотой поэтических вступлений и отступлений, образным языком, особым искусством передавать ритм движения и чувства, богатством и разнообразием поэтической формы.

Если говорить о появлении этого галла в семействе Ржевских, то все почти сразу к нему расположились, а все из-за его неукротимой тяги к русскому языку. Прознав о том, что Ржевский, сановный хозяин дома, сам когда-то баловался сочинением басен (а их у него насчитывалось 57!), с их просторечными, нарочито грубыми выражениями, пословицами и фольклорными речениями, Маскле, читая эти стихи, неуклонно обогащал свой российский язык. И может статься, именно Ржевский пробудил в нем стойкий интерес и страсть уже непосредственно к русскому языку и литературе, которые со временем переросли в его неизменную любовь. По прихоти судьбы именно ему, Ипполиту Маскле, благоговевшему перед своей новой родиной, суждено было сыграть выдающуюся роль в русско-французских литературных отношениях. Излишне цитировать тот безукоризненный французский язык, на котором говорил и писал этот француз, и в этом ему следовали все домочадцы. Не без его помощи Маскле Глафира Ржевская изощрилась в письменных трудах на французском. Даже свой дневник, которому она долгие годы поверяла сокровенные мысли, она много лет вела исключительно на французском, под титулом «Памятные записки», который довела до начала XIX века. Впоследствии ее правнучка Мария (Матильда) Свистунова перевела эти ее мемуары на русский язык и предала широкой огласке (Русский архив. 1871. Кн. 1. Вып. 1. Стб. 1—52). Здесь, оглядываясь назад, мадам де Маскле итожила: «На поприще, где всякий подвигается ощупью, я с беспечностию отдавалась на волю судьбы. Среди развращения я сохранила чистоту нрава и всегда действовала прямо, никого не вооружая против себя. Все это истинная правда».

Между тем по воле судьбы их брак почитался в свете непростительным мезальянсом (новоявленный муж, в отличие от годившегося Глафире в отцы Алексея Ржевского, был ее двадцатью годами моложе). Как заметил литературовед Андрей Зорин, первая ее история (брак со Ржевским) «как бы повернулась теперь в обратном порядке». Об этом супружестве с укоризной высказывались многие именитые русские. Дипломат Яков Булгаков сетовал: «Ни советы приятелей, ни слезы родни, ни увещания Государя, к которого покровительству фамилия прибегла, ничто на свете не могло ее удержать от подобного дурачества». Государь, однако, согласился на брак. Глафире Ивановне, добившейся высочайшей аудиенции, он без обиняков сказал: «Никто не вправе разбирать, сообразуется ли такое замужество с нашими летами и положением в свете. Вы имеете полное право располагать собою и, по-моему, прекрасно делаете, стараясь освятить таинством брака чувство, не воспрещаемое ни религией, ни законом чести». Может статься, император не забыл посвященные ему стихи Маскле, «Оду на бракосочетание великого князя Александра Павловича» (1793) с параллельным текстом на русском и французском языках, напечатанную в Петербурге, в типографии Иоганна Карла Шнора (1738—1812). Государь протежировал этой паре еще и потому, что высоко ценил ту самоотверженность, с каковой боролась за брачный союз Глафира, теперь уже Маскле. Это благодаря ее хлопотам новоиспеченный супруг получил от императора патент на благородство (дворянство, с правом именоваться де Маскле), звание камер-юнкера, а затем и камергера с правом доступа в личные покои монарха. Продвинулся он и по дипломатической части, став российским консулом в Ницце.

Они были счастливы в браке и все старались делать сообща. В 1813 году устроили в своем московском доме книжную лавку, где продавались ноты вальсов, полонезов,

кадрилей и прочих музыкальных сочинений. Их одержимость музыкой была очевидной. Глафира еще в Смольном институте музицировала, зажигательно танцевала и считалась лучшей русской арфисткой своего времени; Ипполит же был завсегдатаем литературно-музыкальных вечеров Ржевского. В этой семье часто звучала русская народная песня «Ах вы, сени, мои сени...». Но по-видимому, книготорговля семьи этим не ограничивается. Москвовед Александр Тимофеичев (Александров), включивший сведения об Ипполите Маскле в свой проект, определил род его занятий — нет, вовсе не «камергер» и даже не «консул» — «купец», да и только! Последние годы они жили в Москве, вплоть до самой смерти Глафиры Ивановны, которая скончалась в 68 лет и была похоронена под именем Г. И. Маскле на Ваганьковском кладбище в Москве.

На следующий же год после смерти жены Ипполит получил чин надворного советника (VII класса), то есть был уже самым что ни на есть потомственным дворянином. А умер на своей вилле близ Ниццы почти девяностолетним старцем. Обосновавшись в северной империи, он не только вошел в придворное общество, но и вписался в русские литературные круги и, в частности, в 1830 году был избран почетным членом «Общества любителей российской словесности», написав несколько пьес для Эрмитажного театра. Не наследовал ли он этим «похвальную страсть» к словесности покойного Алексея Ржевского? Так или иначе, но уже в первой трети XIX века он выпустил сборники переводов на французский язык *вольными стихами с рифмами,* высоко почитаемых им басен Ивана Крылова (1828, 1831), а также басен Ивана Хемницера (1830). Труды эти носили подлинно новаторский характер, ибо пятью годами ранее в Париже вышел двухтомник Крылова, изданный на русском, французском и итальянском языках, но с *прозаического* подстрочника и, соответственно, с *прозаическим* же переводом. Над этой книгой под руководством ее инициатора графа Григория Орлова (1777—1826) потрудились 58 французских и 31 итальянских писателей. Подбор переводчиков был во многом случаен, многие «трудились в переводах не по своему выбору и не чувствуя наклонности дарования к подобному роду стихотворений». Закономерно, что переложенные ими басни были весьма далеки от оригинала. Это скорее подражания, но никак не переводы. По словам Маскле, «широкий произвол, предоставляемый подражанием, обращается всегда в ущерб писателя и выгоден только для подражателей». Здесь необходимо привести слова Василия Жуковского (1783—1852), которые Маскле в качестве эпиграфа предпослал одной из своих книг: «Прекрасное редко переходит с одного языка в другой, не утратив несколько своего совершенства; что же обязан делать переводчик? Находить у себя такие красоты, которые могли бы служить заменою». Перелистав сборник, французы и итальянцы получали самое общее представление о Крылове-поэте, но оценить должным образом «веселое лукавство ума» русского баснописца они были не в силах.

Потому многие рецензенты без труда определили превосходство Максле-переводчика, которого называли «страстным поклонником великого баснописца», ибо полагали, что переводить басни прозой как-то некомильфо. Как отмечал тогдашний критик (Московский телеграф. 1828. Ч. 19), «теперь же г-н Маскле предлагает публике *настоящий перевод* басен Крылова, а число всех переведенных басен простирается здесь до 141. Благодаря Г-на переводчика за старание его, как можно ближе показать иностранцам дарования Крылова, мы должны прибавить, что новый перевод отличается верностью, несмотря на трудность перевода многих из басен Крылова». Позднее журналист Николай Полевой (1796—1846) так отзовется о специфике образа рассказчика в баснях этого нашего «русского Лафонтена»: «Заговорит Крылов — мы видим умного русака, который все смекнул, все знает, только иного не хочет сказать и вместо

с ответа значительно почесывает голову. „Да это наш!“ — восклицаем мы издали, увидев такого человека. В каждом своем движении, в каждом слове, в каждой ухватке, в шутке и в глубокомысленном замечании он русский человек с головы до ног, говорит ли сказочку о щуке, которая ловит мышей, представляет ли дурака Тришку с обрезанными полами, сбирает ли едоков хлебать уху, когда синица зажигает море, заставляет ли приятеля бриться тупыми бритвами. Сотни стихов Крылова пошли в поговорки и пословицы — так они русские, так вылиты и отделаны на русский образец!» А литератор Павел Свиньин (1787—1839) в статейке «Мои мысли о переводах басен Крылова» (Отечественные записки. Ч. XXXIV) дал исчерпывающую характеристику творческой манере переводчика: «[Издания] Маскле во всех отношениях есть лучшие и ближайшие из всех упомянутых изданий. Чтобы переводить Крылова, не только нужно знать совершенно русский язык и простонародные поговорки наши, но знать цель его ироний — предмет его нравоучений. Г. Маскле, кажется, вполне постиг и то, и другое: что несмотря на чрезвычайную близость своих переводов умел дать им Всеобщий, Европейский интерес, обычаи, собственно Русским принадлежащие — сделать общепонятными, общенародными. Это особенно замечательно в „Демьяновой ухе“, в „Коте и Щуке“, „Пляске рыб“ и т. п., кои были камнем преткновения всем прочим толмачам. Гордясь творениями знаменитого нашего баснописца и видя их достойно переложенными всем просвещенным светом — я вместе с соотечественниками приношу искреннюю благодарность Г. Маскле за сию *истинно патриотическую* услугу и желаю от всей души полного успеха его труду». Ему вторил еще один критик, который утверждал, что перевод француза «отличается верностью, несмотря на трудность перевода многих басен Крылова». Обращали внимание и на лапидарность стиля переводчика: «Самые, кажется, непереводимые басни (какова „Демьянова уха“) передал он с большим уменьшением». И в качестве примера он привел в русском журнале французский перевод крыловской басни «Гуси» («Les Oies»). Но и во Франции переводы Крылова пользовались заслуженным успехом. Весьма сочувственный отзыв о Маскле, и в частности о его экскурсе в историю русского языка, помещен в журнале «Journal de debats politiques et litteraires» (1837, 5 июня). Критик говорит о здравом смысле и уме, удивляется естественности басен, их изящной простоте и остроумию, глубине мысли и художественной отделке подробностей.

Анализируя переводы Маскле, филолог Владислав Ржеуцкий (Бристольский университет) отметил похвальное намерение переводчика доказать Европе, что Россия суть «не край варваров, а страна высокой культуры». С этой точки зрения переводы Маскле должно рассматривать в ряду апологетических сочинений о России Франсуа Мари Вольтера (1694—1778), Эмиля Дюпре де Сен-Мора (1772—1854), Пьера Эдуарда Лемонте (1762—1826) и др., способствовавших созданию в Европе «позитивного образа России». Маскле всячески популяризировал Россику на французском языке, печатаясь периодически в московском франкофонском научном и литературном журнале «Bulletin du Nord» («Северные известия, научный и литературный журнал», 1828—1829), издаваемом в Москве, в типографии Августа Семена (1781—1862) под руководством секретаря Московского общества испытателей природы, другого русского француза Жоржа Лекуанта де Лаво (1783—1833). Объявленной целью издания было «познакомить другие государства Европы с состоянием словесности и наук в России». Прокламировалось, что с тех пор, как «науки процветают приблизительно с равным успехом у всех цивилизованных народов, эта страна [Россия. — *Л. Б.*] привлекает к себе особенное внимание». Маскле публиковал статьи и материалы о русской истории, а также разного рода переводы стихов и прозы. Особым интересом пользовались принад-

лежавшие перу Ипполита Петровича переводные, с русского на французский, статьи из панорамного журнала «Московский телеграф» Михаила Каченовского (1775—1834), публиковавшиеся почти в каждом из номеров этого российского франкоязычного издания. Особый же интерес вызывали его статьи о современной русской словесности и ее истоках, к коим пристрастил его когда-то бывший муж его супруги, а заодно и видный российский пиит. Ипполит, конечно же, ведать не ведал о его ранней пробе пера, прогневавшей Елизавету Петровну и попавшей под нож цензуры.

Так что же он, наш Алексей Ржевский, с его дерзким «возмутительным» сонетом? Жизнь и судьба его не пример ли той российской «Обыкновенной истории» (1847), что приключилась позднее с персонажем романа Ивана Гончарова (1812—1891) Александром Адуевым-младшим? Между тем феномен этого самого Адуева, превратившегося из мечтателя в бездушного карьериста, всегда приковывал внимание российской театральной публики, и не только в СССР, но и в постсоветской России. Достаточно сказать, что в 1966 году роман был переработан в пьесу, которую поставила в театре «Современник» Галина Волчек (1933—2019), с Олегом Табаковым (1935—2018) и Михаилом Козаковым (1934—2011) в главных ролях. Автор инсценировки, режиссер-постановщик Виктор Розов (1913—2004) и исполнители главных ролей в 1967 году были удостоены Государственной премии. А в 1970 году была снята и телевизионная версия спектакля. И вот уже в XXI веке пьесу по этому роману поставил в театре «Сфера» Александр Коршунов (2014), а затем состоялось и ее представление в Гоголь-центре, уже по сценарию Кирилла Серебренникова (2016). Правда, романный протагонист Гончарова, в отличие от реального Алексея Андреевича Ржевского, как-то не стремился публиковать свои ранние юношеские сочинения. А этот двадцатидвухлетний подпоручик предал их тиснению, оскандалился и... вошел в историю русской культуры.

Вера КАЛМЫКОВА

СЛАБЫЕ МЕСТА СИЛЫ

Встречается у людей такой дар — творить жизнь; необязательно у художников, хотя подруга моя Ирина как раз живописец. «А давайте...» — говорит она, в глаза заглядывая, будто не уверена, что интересное предлагает. Всегда что-то небывалое, удивительное, радостное!

«Мои сваты в Саранск зовут, поехали в Саранск, а? Там Эрьзя! Целый огромный музей Эрьзи, поехали! А еще они нас обещали отвезти в дальнюю деревню, брошенные дома, представляешь, сколько всего там можно найти? И наличники, представляешь, сколько там наличников? Ну поехали, ну!»

Как будто меня надо уговаривать. Ключевые слова прозвучали — *Эрьзя, наличники;* мысленно я уже иду туда пешком. В реальности выдвинулись с комфортом, в Ирином автомобиле, аж с климат-контролем, термосами с кофе, горой бутербродов — какой русский не любит пожевать при быстрой езде? Дивные виды слева и справа прилагаются, как и четвероногий друг Ози, коренастая серо-голубая ласкучая красотка австралийской породы.

...Мы едем, едем, едем!

Примерно после Мурома, где Ирина, как выяснилось, не была (а я повздыхала по тамошнему антиквару Георгию, к которому ездила, как на свидание, по мере накопления — втайне от домашних — энной суммы, а возвращалась коробейником с двумя рюкзаками, спереди и сзади), начали обращать внимание на топонимику, потрясающую воображение. Реки Вежак, Ковакса, Ельтма, Нацма, Чибышва, Нарзимка, Ежать. У нас в Павлово-Посадском районе финно-угорские названия имеют на конце *-на:* Вохна, Дрезна. Здесь: деревня По́я, как позже выяснилось, от мордовского *пой* — осиновый. Чуварлейка. Чувырла тут ни при чем, «шувар» — по-мордовски песок, «лей» — река, а также долина. Хотите — песчаная долина, хотите — песчаная река. Городок Лукоянов, рядом Кудеярово (а где же Атаманово? — нету, а надо бы). Мерлиновка. Что-о-о?! Немедленно в Интернет! Оказалось, нормальная русская фамилия, с крымскими, правда, корнями: некий мурза Мерла пошел на службу к Василию Темному... ого, в XV веке. От Мерлы произошли столбовые дворяне Мерлины, одной из представительниц рода приписывается... надо же, начало производства набивных шалей. Ну конечно, сколько претендентов на первенство. Родина шалей — Павловский Посад, а Мерлина что-то другое придумала, пусть ее. Можно еще поспорить о российском начале футбола: Богородск-Ногинск или Орехово-Зуево?

...Майданы: Силинский, Тольский, Василёв. Современные ассоциации работают, вздрагиваю, как собака Павлова, а ведь майдан — всего-навсего торговая площадь. Малая Пуза и Пузская слобода. Интернет, ловись! Эх, не выяснена этимология. Раньше Малая Пуза именовалась Безценной, именно так, через *з*.

Вера Владимировна Калмыкова родилась и живет в Москве, поэт, кандидат филологических наук, редактор, автор научных и научно-популярных книг и статей.

Добила нас Пеля-Хованская и текущая по ее окраинам речка Пелька. По сравнению с нею Симбухово показалось банальным (и действительно, всего-то навсего от искаженной фамилии Синбугин), а Дальний, Николаевка и тем более Первомайск — зубодробительно скучными. Мы же пу-те-ше-ствен-ни-ки, нам подавай удивительное.

Несколько утешил Лямбирь. На связи Эмбер с соответствующими хрониками Желязны. Посередине любого русского любовного заговора стоит камень Алатырь, пуп земли. Город Алатырь, рядом с ним село Баево, а там когда-то, в 1870-х годах, жило семейство Нефедовых...

Вот интересно, Мордовия — другая страна или нет? Я не про государственные границы, а по сути. То ли да, то ли нет... Все-таки глобализация. С одной стороны, удобно: банкоматы-карты всякие, опять-таки любую проблему цивилизованный гражданин решит на каждом углу. С другой — национальное своеобразие увидишь только в музее или в магазине сувениров. Хотя это с советских времен идет. Кое-кому глобализоваться пришлось много раньше, чем это стало мейнстримом, да.

Небывалое осталось только в словах: они сопротивляются стойко. Что за прелесть, каждый топоним если не сказка, то поэма, если не поэма, так сюжет. Ахматова была права и без метафор:

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор — к смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней — царственное слово.

Даже если оно — Лямбирь...

Не в коня корм — обделил меня Господь фантазией, могу воспеть лишь то, что вижу, а чего не вижу, додумать не умею. Пожалуй, моему личному среднерусскому рекордсмену — реке с гордым именем Вобля — придется потесниться...

Ирины сваты, Андрей и Анна — веселые и открытые, наши ровесники, как сказала продавщица в магазине «Светофор», *красивого возраста.* Действительно, не пожилыми же людьми себя называть, если мы как были Ирками-Верками-Андрюхами да Сашка́ми, так и остались и никогда, видно, не постареем, молоденькими помрем, разве что не болеть бы. Возраст под и за пятьдесят и вправду красивый, если вдуматься: форму еще более-менее держишь, а про то, как жизнь устроена, уже более-менее соображаешь. Андрей — химик-технолог, руководит производством, постоянно выдумывает какие-то новые... вряд ли это называется *рецептами,* но пусть по безграмотности моей будут рецепты (не технологии же?). По зову сердца он охотник, поэт этого дела, любит процесс, браконьеров ненавидит сильнее, чем представители закона. До такой степени вживлен в это занятие, что стыдно и неудобно было *зеленые* речи перед ним толкать, я и промолчала. Анна — экономист, в свободное от работы время интересуется всем, что попадается по жизни — живописью так живописью, литературой так литературой, все ей подавай, и побольше. Младший сын их Виктор, человек исключительной серьезности, на родителей и нас грешных смотрит со снисходительной мудростью своих 16 лет. Пожилая собака Ника породы джек-рассел-терьер с глазами печальными, как у профессиональной плакальщицы в традиционном обществе, и невесткина любимица Руби, фокстерьерша со всеми вытекающими особенностями поведения. Про собак лучше запомнить сейчас, ибо не Эрьзей единым.

Вошли в квартиру и тут же накинулись на Андрея и Аню, мол, откуда Пеля-Хованская. Тут же Андрей нарисовал перед нами образ высокой дородной бабы, народной певицы, с низким грудным голосом, уходящим в мужской бас. Немножко смутила фор-

ма имени — от чего уменьшительное?.. Пелагея? Историческая правда, однако, оказалась жестока: *пеля* — от многозначного мордовского *пель* (половина, сторона, туча), Хованская — по фамилии опальных князей, отбывавших здесь в XVII веке ссылку.

Жалко, конечно, Андрееву дородную вокалистку, не довелось ей в полную силу легких пожить даже в нашем сознании, скончалась — тихо и незаметно, как не было ее, а ведь и не было. Воистину, ничего, ничего не делается с царственным словом, разве что с другими соединяется оно и начинает звучать, порождая совсем уже причудливые сочетания...

Уймись, автор, ты не Гоголь, и не получится, сколько бы ни пыталась.

Эрьзя, конечно, на первом плане — к нему, к нему, поутру, за рекордное время проглотив вкуснейший завтрак (настоящая строганина, соленое сырое мясо лося, кто не ел, пусть зеленеет от зависти). Кофе доглатываем на ходу, что мы, кофе никогда не пили. От дома до музея — квартал. Большими прыжками...

Саранский музей огромен и обилен, да он тут и не один, но все потом, целый день впереди. Начнем с Эрьзи. Любимый скульптор московского мастера Сергея Яковлева, моего друга, который о поверхностях работ *Мордвина* может диссертацию защитить. Да ведь и у яковлевских скульптур кожа тонкая, шелковая, до того выглажены, что пыль не пристает, слетает. Делать дерево и камень шелковыми Яковлев у Эрьзи научился, где он его трогал, гладил — почем я знаю (в музее, понятное дело, не дают).

Я так нелепо устроена, что познать что-либо могу, только присвоив. Чужое не то что запомнить — понять не в состоянии. Все должно быть мое, и я многое делаю своим, если хочу оставить: только так появляется шанс, что память удержит. Эрьзя входил в сознание поэтапно. Сперва стихотворением Якова Белинского в «Дне поэзии-1977»:

> Бессмертные. Воскрешены из праха.
> И твердо веришь — этот мир един,
> когда из аргентинского квебрахо
> их вырубает яростный мордвин.

Я писала тогда беспомощные детские вирши, но удар топора на каждой «р» прочувствовала, не умея, конечно, ничего себе объяснить. С того «Дня поэзии», шутка сказать, прошло почти полстолетия.

Затем Эрьзя подошел ко мне какими-то репродукциями откуда-то, было мне лет шестнадцать. Потом, уже при переезде на Новопесчаную улицу, широким жестом Людмилы Михайловны, владелицы симпатичной маленькой бородатой собачки, похожей на щеточку: «В этом доме была мастерская Эрьзи». Людмила Михайловна, между прочим, оказалась Кусаковой — блистательным художником кино и театра. «Обыкновенное чудо», «Покровские ворота», «Город Зеро», «Черный монах», «Цареубийца», «Барышня-крестьянка», «Андерсен. Жизнь без любви» — все это ее фильмы. Она умерла в 2020-м, и что стало с ее наследием, я узнать не смогла...

Доска действительно висит: 2-я Песчаная улица, дом 3.

Молитвенный восторг Сергея Яковлева, не склонного ни к молитвам, ни к восторгам, оказался последней нотой моей внутренней симфонии ожидания очной встречи.

...Широкая лестница на второй этаж. Поворачиваюсь. «Моисей».

У Эрьзи была идея превращать горы в скульптуры. Сторонников он не нашел, но превращать *скульптуру в гору* мог и один. Только он и мог.

«Моисей» стоит в центре громадного зала с выгородками, и с лестницы взгляд падает либо на икону, написанную юным Степаном Нефедовым (направо), чей отец согласился отдать сына на обучение богомазам, надеясь на прибыльность ремесла,

либо на эту темную громадину, высеченную, кажется, из корня горы (налево). Все зависит от поворота головы зрителя. Иконописец из Нефедова вышел бы... наверное, старательный, но посредственный, как и из его великого современника Василия Чекрыгина. Стал бы он *Эрьзей?..* Вряд ли.

Пророк вырезан из древесины альгарробо в Аргентине, куда Эрьзя приехал в 1927 году и где задержался до 1950-го. Мне повезло: рядом с громадной головой стояла смотрительница, и масштаб скульптуры, возвышавшейся над человеком (плюс постамент, конечно), становился нагляден. Размер 197 × 100 × 115 см. Вес около двух тонн. Склеена из крупных кусков твердого дерева. Клей придумал автор.

Круглая скульптура потому так и называется, что нуждается в обходе. Нельзя понять, увы, замысел мастера, если изваяние стоит у стены и спина его оказывается вне обзора. Отвлекусь, как обычно. В Лувре я, двигаясь по возможности против туристического потока, вышла к Венере Милосской из какого-то угла и уперлась непосредственно ей в спину. Взглянула, обомлела, слезы из глаз: ведь у нее же целлюлит! Она живая, живая, живая!

Вокруг Моисея можно ходить не один час. Каждые полшага — новое настроение, иное выражение гигантского лица. Отсюда он тих и задумчив — шажок — в ярости — шажок — в отчаянии — орет — слушает — напряжен... А на фотографии проявилось насмешливое выражение, которого там, в зале, я не уловила.

Ранний Эрьзя: третьего дня — сын бурлака и козопас, позавчера — ученик иконников, вчера — студент Сергея Волнухина и Павла Трубецкого в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1902—1906). В течение следующих лет — путешественник, добровольный студиозус, европейский пансионер, нехотя покидавший музеи (1907—1914). Прекрасный, тончайший, умнейший, но при этом *типичный* мастер русского модерна. Не знаю насчет влияний Паоло Трубецкого (разве что портрет Льва Толстого) или Волнухина, но от майолики Врубеля у него много. Недаром двадцатилетним, в 1896 году, увидел Степан Нефедов «Микулу Селяниновича» и «Принцессу Грезу» на Нижегородской ярмарке.

Так складывался мастер, русский европеец, «русский Роден». Изящество побеждает экстаз, эмоция как бы недовыражена, потому что уходит в изысканность асимметричной, всегда чуть нарочито развернутой формы. Таков, между прочим, и живописный автопортрет 1925 года — в мефистофелевском капюшоне, с трубкой. Здесь даже серьезное самоуглубление, суровый взгляд исподлобья при всем доверии к мастеру отдают-таки стилизацией...

Одна работа выбивается из ряда одиночных мечтательных головок — горизонтальная железобетонная плита «Жертвы революции 1905 года» (1926). Сравнительно небольшая (54 × 223 × 115 см), нехарактерно многофигурная для *Мордвина*. Надгробие? Охватить ее взглядом, стоя на месте, невозможно, ибо фигуры погибших буквально навалены друг на друга, будто перед нами действительное зрелище уличного побоища. Только обходить, чтобы увидеть еще тело и еще одно. Возникает ощущение великого множества мертвых. Может ли причудливо сказаться здесь влияние графических листов Чекрыгина? Мог Эрьзя видеть его работы? Теоретически — да. Но важнее идейная близость. Чекрыгин и его сторонники, члены объединения «Маковец», тихо, но твердо выступили против футуристических и супрематических поисков; сам Казимир Малевич признавал, что открытое им художественное течение чуждо образности искусства. И для Чекрыгина, и для *Мордвина* такой подход был неприемлем.

Кстати, о *Мордвине*. Настоящую фамилию Нефедов Степан Дмитриевич сменил на этноним *Эрьзя* в 1906 году, выпустившись из училища и желая подчеркнуть свое

национальное происхождение. Связь с одной из ветвей *мордвы* (есть еще *мокша* и *шокша*), однако, очевидна только в России, в Европе или Америке все мы — русские...

И во Франции, где к Эрьзе пришла первая известность, и позже в Аргентине он оставался *русским* скульптором. Принципиально не учил иностранные языки, говорил на причудливом волапюке, эсперанто собственного сочинения. Хотели — понимали...

Из революционной России Эрьзя уехал не потому, что конфликтовал с властью. Его основными антагонистами стали русские футуристы и наследовавшие им адепты «пролетарского искусства», пренебрежительно относившиеся к тому, что Эрьзе было всего дороже — к культурному наследию. Он долго стремился ужиться с ними и в Екатеринбурге, где заведовал Художественно-промышленной школой (1918—1920), возглавлял гранильную фабрику (1920—1921), создавал революционные памятники. И на Кавказе (1921—1925), и в Баку, где стал профессором класса скульптуры в Высшей художественной школе Азербайджана. И в Москве, куда вернулся из Баку. Ничего не вышло. Художественный образ как универсальная категория был пугающе чужд тем, кто считал, что искусство вообще можно соотнести с социальной принадлежностью.

Результат — отъезд в Аргентину в 1926 году через Париж. Эрьзе сорок. Формулировка — с целью укрепления художественных связей двух стран. Командировка, затянувшаяся почти на четверть жизни.

Исследователи указывают на нюансы ситуации. Дело было не только в разногласиях с нетерпимыми оппонентами. И. В. Клюева в статье «Аргентинский период творчества Степана Эрьзи (1927—1950)» писала:

> Почему после Франции Эрьзя оказывается в Латинской Америке и именно в Аргентине? Исследователи его биографии спорят об этом... Согласно первой версии, вернувшись в Париж, Эрьзя узнает, что его бывшая возлюбленная Марта вышла замуж и уехала в Бразилию. Он отправляется искать ее в Латинскую Америку; не получив визы в Бразилию, «оседает» в Аргентине. Установив личность этой женщины... мы пришли к выводу, что она не могла находиться в конце 1920-х годов в Латинской Америке. Гораздо более убедительна вторая версия — оказавшись за рубежом, Эрьзя отправляется в Аргентину на поиски своих ранних работ. В 1910-е годы в Париже у него произошел инцидент с аргентинским дельцом Сантамариной (Santamarina), который незаконно увез большое количество его скульптур в Латинскую Америку, не заплатив автору. Этот нашумевший случай был, в частности, описан в статье А. В. Амфитеатрова. В Аргентине Эрьзя нашел сына обманувшего его маршана (сам делец к тому времени уже умер) — известного коллекционера, который заявил, что ему о пропавших работах ничего не известно. Кроме того, в 1913 году Эрьзя знакомится в Париже с атташе по культуре посольства Аргентины во Франции Марсело Альвеаром, который приглашает его посетить свою страну. С 1922 года Альвеар — президент Аргентины, что означает для художника беспрепятственное оформление виз, покровительство, в том числе и в поиске пропавших скульптур.

В Аргентине Степан Эрьзя встретился со *своим* материалом и наконец стал собой — *тем самым Эрьзей*. Потому что ни мрамор, ни железобетон, ни древесина грецкого ореха, ни отечественные породы дерева не открывали ему *тайну мира*. Проводником в вечность оказалось для него *квебрахо*.

Благодаря ему он по-настоящему стал символистом. Нет на свете большего антиреалиста, чем Эрьзя. Но дух русского модерна и французского ар-нуво благодаря душе и плоти аргентинского дерева соединился с сутью народа — мордовского ли, русского? — и этот причудливый синтез сделал возможным появление произведений, в которых столько же от народной скульптуры, сколько и от Врубеля и Родена и всего, что породило их.

Традиции десятков поколений мордовских древорезов, когда-то живших широко (*Рязань* — не случайная анаграмма *Эрьзя*) и широко резавших (вспомним нижегородских длинноволосых, бородатых русалок с огромными бюстами), помноженные на русскую школу и европейское самообразование, проявились в удивительных вещах, столь живых, что трудно назвать их произведениями. Они как будто были всегда в массиве дерева, скульптор лишь извлек их. Кто здесь художник? Он ли, дерево ли?..

Материальное — духовно. Материал — всегда соавтор. А *эрзя* в переводе — *живущий*.

Квебрахо нынче зовется *кебрачо* — видимо, такая транскрипция точнее. Но мне хочется пользоваться *тем самым словом*.

Эрьзя не замыкался в рамках какой-либо одной темы. Вот его Иоанн Креститель (1928), вот Баба Яга и Лев Толстой, пугающе похожий на Моисея (1930). Линия движения фактуры ствола или корня в разные годы породила балерин или Леду с лебедем (1929). Ассирийка, крестьянин, Рабиндранат Тагор. Несколько работ прямо аллегорических: «Мужество» (1932), «Ужас» (1933), «Отчаянье» (1936). «Аргентинки». Портреты. Для многих вещей он позировал себе сам, интерпретируя сухое лицо аскета то в религиозном, то в демоническом ключе, заостряя или, наоборот, смазывая человеческие черты. Такова недатированная скульптура «Христос»... но таковы и «Дьявол» (1933), и «Микеланджело» (1940).

Самоопределение художника через сопоставление с Христом — очень русский мотив. Не только лермонтовский, но и, как ни парадоксально, более древний, глубокий, видный на ином поле. В 1990-е филолог Борис Андреевич Успенский написал работу «Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление)», в которой проанализировал ритуалы поставления главы государства и главы Церкви. Успенский показал, как именно ритуалы способствовали формированию представлений о священной природе власти: если европейские владыки символически отождествлялись с царями иудейскими, то русский царь — с Иисусом Христом. Но ведь харизма художника в России также неоспорима...

Эрьзя прекрасно справлялся с пластикой тела, но фигуру изображал редко. Даже бюсты в классическом понимании у него нечасты. Предмет его интереса — голова человека, именно голова, не только лицо. Кажется, что и супрематизм оказался совершенно ему не чужд, потому что в скульптурах он сопоставляет две первоформы — эллипсоид и плоскость, на контрасте выявляя пластическую сущность одного и другого. Такой композиционный ход у него постоянен с самых первых работ и в зрелости доведен до совершенства («Казненный», 1936). Еще один прием — соединение массива материала, выглядящего как бы нетронутым, природным, и тот же эллипсоид, пусть порой и несколько скрытый деталями («Женский портрет», 1931).

В Аргентине Эрьзе приходилось не всегда легко, многое зависело от политического климата в мире, но все же эта страна дала ему мировое признание. Вернуться на родину он всегда хотел, но только вместе со скульптурами. А ведь это несколько сотен крупных вещей, требующих особых условий упаковки и транспортировки. Эрьзя был согласен передать свои творения в советские музеи...

На родине, однако, он был принят пусть вежливо и уважительно, но без пиетета. Как будто все хорошо: он получил и мастерскую, и пенсию, но стилистически оставался настолько чужд социалистическому реализму, насколько это возможно. После смерти художника Государственный Русский музей, принявший его щедрый дар, не очень, кажется, знал, что с ними делать. И музей в Саранске был построен специально для того, чтобы скульптуры обрели свой *вечный дом*.

Все, однако, устроилось к лучшему, ибо в культуре все же самое важное — контекст. В музее есть этнографический отдел, небольшой (близко, через реку Инсар, краеведческий музей с насыщенной экспозицией), но показательный. Выражение «мордовская невеста» понимаешь буквально, глядя на народные костюмы: ничего более красочного и насыщенного я не видела нигде. Гармоничный переизбыток, перебор, перенасыщенность, переизобилие, контрастная яркость, красное-зеленое-белое-черное, ткани различных фактур, кружева, золото, полосы, пояса — вдруг понимаешь, как из всей этой прорвы красоты родился художник, у которого полнота, переполненность родного национального мира сказалась через заокеанское дерево.

Запасы квебрахо, привезенные Эрьзей из Аргентины на том самом пароходе, в Москве пропали бесследно. Говорят, уничтожены за ненадобностью. Никому не пришло в голову сделать музей из мастерской на 2-й Песчаной улице, в доме три.

...Деревья сопровождают брошенные дома в дальних деревнях. Не только в Юзге, докуда мы добрались, сидя на шинах и матрасах в тракторном прицепе, но и в других местах, мимо которых проезжали. Брошенный дом, рядом дерево, полуживое, разваленное напополам. Молния? Или уход людей?

Пять лет назад мы были вынуждены месяца два не приезжать в свой дачный дом. Не могли выбраться, а когда получилось — нашли внутри столько поломок и неполадок, что диву дались: отставшая от стен плитка, обвалившиеся полки, вылезшие половицы, перекошенные двери, откуда-то плесень в тех местах, куда вода вообще не попадает. Внутри ни одной живой души за это время, разумеется, не было. Дом отреагировал на наше отсутствие, как сумел: возмущенный, он начал разрушаться.

Каково тогда домам, оставленным навсегда? Стены, такие прочные, складываются, как промятая картонная коробка, крыши кажутся раскрытыми книгами, положенными страницами внутрь и противоестественно прогибающимися вниз по корешку. Каково деревьям рядом с такими домами? Казалось бы, расти и радуйся, захватывай землю. Но они начинают засыхать.

По пути в деревенский дом Андрея и Анны мы остановились заправить машины. Подобрался легкий морозец, все заискрилось — и трава, и березы, и небо. Заправка стоит на границе приснопамятных мордовских лагерных зон. Где-то здесь, совсем недалеко, отбывал срок Андрей Донатович Синявский, великий русский писатель, диссидент, пушкиновед, исследователь народной культуры.

Добрались, однако, переночевали, а наутро драгоценный иней сиял на высоких высохших травах. С дома на пригорке виден был и серебряный овраг, и соседские постройки, порой ветхие и умирающие.

Двинулись еще дальше, в Юзгу.

Мы ехали, мы пели... Вправду пели. Ника, Ози, Руби с нами, без поводков: у Андрея неколебимые представления о правильном поведении собаки в походе. Забрались в прицеп, устроились на шинах и матрасах. Двинулись. Трясет жутко, особенно с непривычки, боишься слететь с шины и при сильном толчке вылететь за бортик. Иначе как на тракторе в дальнюю-дальнюю деревню не добраться: ноябрь одарил солнцем, но до этого несколько дней шли дожди, и на полузаросших лесных дорогах раскинулись Великие Лужи. Преодолеть их на легковушке, даже на джипе нечего и пытаться, или надо записаться в мореходы и запастись веслами.

Стоило тронуться, как фокстерьерша Руби завидела кошку и сиганула за борт прицепа.

Людмила Михайловна Кусакова, народный художник РФ, а для меня соседка-собачница, заорала бы вместе со мной, но тут ори не ори, главный — Андрей: соба-

ку надо учить. Мудрая Ника вообще занималась лишь равновесием, а преданная Ози в «лифчике» (так Ирина называет шлейку) покорно перекатывалась у хозяйкиных ног. Кошка не дура, исчезла, как не была, и бедняжка Руби мчалась за нами километра, должно быть, два, пока не начала выдыхаться, ибо даже у фокстерьера есть предел. Только тогда лесник Александр, огромный и бритый, похожий на римского легионера — он же за рулем трактора, — остановился, и попрыгунья была взята на борт. Я схватила ее и держала всю дорогу, крепко прижав к животу.

Юзга в 30-е годы была колхозом в Рязанской области. С начала 2000-х в ней никого. То, что мы увидели, было остатками жизни советских колхозников.

Наличники поражали разнообразием мотивов. Необычных: вдруг появляется серп и молот и символика игральных карт в сочетании с традиционными барочными завитками-волютами, столь частыми на дореволюционной резьбе. Или стилизация французской шторы. Почти в каждом доме (выломано все, вплоть до полов и некоторых стен, далеко не первыми мы туда попали) — дикое количество клубков, скатанных из узких полосок тканей — для ковриков. Сами такие коврики. А в одном доме обнаружились иконы — не писаные, а советские: киот из неструганых досок от вездесущих ящиков, из которых строили тогда даже дома, внутри напечатанная икона, по сторонам бумажные цветы, сверху стекло, снаружи оклеено фольгой.

Мне очень повезло: впервые, совсем ребенком, я увидела иконы в музеях-соборах Московского Кремля. Потом — в Третьяковке, куда попала тоже в возрасте нежном. Разумеется, четырех-пятилетний ребенок из нормальной советской атеистической семьи ничего не смыслил ни в религии, ни в социальной политике. Но в детстве то, что увидено прежде прочего, воспринимается как закон. И бумажные советские образа, которые попались мне много позже, повергли в ступор: как это?

На самом деле печатать, а не писать иконы с целью удешевления придумали до революции, и несколько образцов сытинской продукции у меня теперь есть.

...Когда Марья Васильевна Розанова, вдова Синявского, рассказывала мне об их северных путешествиях и находках, я все недоумевала: ну хорошо, древние иконы, черные от копоти до полной неузнаваемости, стояли у деревенских жителей в сараях и ждали превращений — то ли в ступеньку, то ли в крышку для бочки. А до́ма-то что у них находилось? В красном углу что висело? Или они не были верующими? «А в красном углу висели печатные иконы, окруженные бумажными цветами вместо окладов, — объяснила Марья Васильевна. — Мода была такая — вешать бумажные». Мода не мода, иконописание в то время вряд ли было распространенным занятием. Советские изобретения: искусственные цветы из крашеных перьев на могилах, бумажные печатные иконы — очень плохого качества, быстро выгоравшие...

Но ведь это тоже памятник. И гонению на Церковь, и семидесятилетней безбытности, и стилю 60-х, да и просто — бедности, бедности.

Удивительно, что в том доме — на всю деревню он, кажется, был один — уцелели все иконы, висевшие в красном углу. Разрушить иконостас духу у меня не хватило. Вздохнула, развернулась, как сумела, балансируя на полутора оставшихся досках пола... и увидела несколько киотов на столе. Две теперь у меня. Я их вскрыла, чтобы почистить, и под слоями полуистлевшей бумаги нашла газету. 1961 год.

И как наяву, увидела небольшую артель. Может, семейную. Наверное, работали зимой, летом хватало других дел. Брали бумажные отпечатки, сколачивали на скорую руку киоты, вертели цветы из жатой отделочной бумаги (отлично помню, что продавалась она везде), наклеивали посередине икону, по сторонам цветы, сверху стеклышко, дальше — густой клейстер, бумага, фольга.

Это ведь тоже памятник... совсем иное ощущение вызывающий, чем созданное до революции или то, что привез из Аргентины Эрьзя. Тревожно, печально.

Еще удивительнее, что деревни нет — только брошенные дома с выломанными полами, — а имя ее есть. Разве может называться несуществующее?

Наше веселое настроение неуловимо улетучивалось, хотя вроде все шло хорошо: и солнечный день, и некоторые находки, и бутерброды, разумеется. Александр, которому предстоял неблизкий обратный путь за рулем, заметно мрачнел и поторапливал. Наскоро уложив снятые наличники, скатку ковриков и пару деревенских стульев в прицеп, мы залезли туда же (Руби я поймала заранее).

Алекс решил повезти нас другой дорогой, показать настоящий лес. Не мог он знать, что часть дороги завалена упавшими поперек деревьями. Увидев это дело, мы с Ириной, дамы тертые и опытные, приготовились выпрыгивать на землю и оттаскивать стволы. Не тут-то было. Лесной человек Алекс дал задний ход (пренеприятное ощущение, если сидишь в прицепе), затем газанул. Трактор понял, что пора стать танком, и пошел в атаку. Под колесами погибшие деревья трещали, как хрящи динозавров, и норовили достать нас мертвыми ветвями. В ноябрьском вечернем полусумраке, почти ничего не видя вокруг, мы сжимались и норовили засунуться в пустую середину колес, чтобы избежать столкновения с монстрами, визжащими за бортами родного прицепа.

Ах, как хорошо в деревенском доме, когда уже никуда не едешь, печь затоплена, вот-вот станет тепло и скоро, скоро можно будет выпить чаю! Посидеть с нами пришел Алекс, мрачный, однако, как две *пели* (в значении «туча»). Отмалчивался он недолго.

Суть его речи сводилась к следующему. Никакая у нас не экспедиция, как мы полагали. Занимаемся мы самым настоящим мародерством и ничем более. От воров не отличаемся ничем. На наш робкий вопрос, у кого же мы воруем, он дал стремительный ответ: «У бытия». Он считал, что брошенные дома должны саморазрушиться и уйти в землю, из которой вышли деревья их стен и черепки их глиняной посуды. Аргументы, что ни коврики, ни даже наличники не нужны уже никому, а разлагаться будут долго, Алекс отверг с негодованием: потеряв цель существования, они должны раствориться в бытии.

Я рассказала ему, как Розанова с Синявским спасли множество древних икон, в том числе «Святого Георгия на черном коне» XV века — редчайшая иконография, между прочим. От судьбы ступеньки ее спасло только то, что доска из высохшей за полтысячи лет липы очень легкая, хозяев все грызли сомнения, окажется ли прочной. А Розанова пальчиком нащупала углубление — ковчег. Так чем хуже этот наличник, который будет висеть у меня на стене дома, укрепленный, подкрашенный, и провисит до зрелости моих внуков, а если им окажется ненужным — отправится в музей? Почему резьба не заслуживает дальнейшего существования? Как только вещь попадает в поле зрения культуры, она тут же становится памятником, и почему же мы, волнуясь, следим за деятельностью Международного фонда искусств имени Эрьзи, за обнаружением в Аргентине малоизвестных работ скульптора и с таким равнодушием видим, как разрушаются памятники рядом с нами? Мы не можем поддерживать образ жизни других людей — каждый живет, где хочет, — но мы можем сохранить хотя бы то, что попало в поле нашего зрения.

Музей ли, частная ли коллекция — это всегда сначала изъятие, а потом воссоздание. Мы не можем взять чужой быт и перенести его целиком на другое место, мы не будем жить в нем. Зато мы можем осмыслить и превратить вещь в ценность, в память, имя, текст.

«Ржавеет золото, и истлевает сталь...» Что на свете прочнее рассказа? Есть ли что-то более живучее, чем миф?

— Тогда, — сказал Алекс, — вы несете ответственность за судьбу каждого предмета, который отсюда взяли.

И приволок на следующий день из собственных закромов: емкость, выдолбленную из цельного березового ствола (теперь у меня в ней живут пуговицы), колодку для обуви (правую), деревянное выдолбленное корыто (возможно, дореволюционное), пару ношеных лаптей, крынку со сбитым ободом, рубель для глажки и огромный деревянный черпак. Все это, помытое и просушенное, ждет теперь, какое место для жизни ему будет выделено в нашем доме, где коротают вместе с нами дни обломки иконостасов из разрушенных церквей, старый конаковский кувшин, битый и неоднократно клеенный, неработающая ножная швейная машинка «Зингер», стеклянная спиртовка, пара-тройка дореволюционных учебников и книга искусствоведа Рескина, найденная сыном на помойке, советские часы с боем (то стоят, то бегут, но никак не идут), принесенные оттуда же моим мужем, альбом с репродукциями скульптур Эрьзи, купленный мною в саранском музее, детская игрушка — пушка (стреляет, между прочим, если очень постараться), связка ржавых замков и ключей, не подходящих друг к другу, и много чего столь же полезного и нужного, без чего, однако, стены и душа пусты и голы.

Обратно мы выехали, конечно, позже, чем планировали. Отъехав от крыльца, наверное, с километр, обнаружили мчащуюся за машиной Руби: никак не могла понять фокстерьерша, почему это все остались, а мы уехали, ведь так хорошо вместе! Путь домой был непрост прежде всего для Ирины: попробуй посиди за рулем семь часов под сплошным ливнем. Но наверное, не в этом дело.

Что-то остается, что-то исчезает, растворяется, становится землей или космической пылью. Всего не сохранишь, не увезешь ни на пароходе из Аргентины, ни на тракторе из Юзги. Бывает, что людям собственная жизнь становится неинтересной, и они уходят из своего дома. Бывают люди, у которых дар творить жизнь. Эрьзя умер, не зная, что его скульптуры уедут в Саранск и этот город станет местом силы. Жители Юзги ушли жить в город, не зная, что лесник Александр обяжет нас нести ответственность за правую колодку, емкость из цельного березового ствола, корыто, черпак и бумажные иконы, окруженные выцветшими цветами.

Александр МЕЛИХОВ

НЕВИДИМАЯ МИРУ ТРАГЕДИЯ

Михаил Леонидович (Людвигович) Слонимский родился в Петербурге в высококультурной еврейской семье: дядей писателя был историк литературы Венгеров, а друзьями дома литературовед Пыпин и редактор «Вестника Европы» Стасюлевич, маленький Миша вроде бы даже запомнил хохот Владимира Соловьева.

Юноша вырос патриотом, после окончания гимназии добровольцем отправился на фронт. Был дважды ранен и контужен, пережил развал армии, убийства офицеров. После демобилизации два года проучился на историко-филологическом факультете Петроградского университета, послужил в Наркомпросе, в издательстве «Всемирная литература», стал обитателем «Дома искусств» — «Сумасшедшего корабля», воспетого Ольгой Форш, набирался мастерства под началом Замятина, Чуковского, Гумилева и Эйхенбаума, вошел в союз «Серапионовых братьев» и в 1922 году издал сборник рассказов «Шестой стрелковый».

Лежат перед стрелком Федосеем, выставив вперед подошвы, полковник Будакович, поручик Таульберг, подпоручик Ловля.

.....

Устали стрелки. Вышли с лопатами за деревню — рыть могилу. Но тяжко копать после дневной работы вязкую землю.

Стрелок Федосей поднялся с камня:

— В колодец их всех!

Стрелки обрадовались:

— Правильно!

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, зам. гл. редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квазимодо» (2017). Премия им. Искандера (2022), премия правительства Санкт-Петербурга (2023) и премия «Книга года» (2023) за роман «Сапфировый альбатрос». Премия им. Гончарова за роман «Тризна» (2023).

И дружно приступили к работе. Один — за ноги, другой — за голову, колодец недалеко — бух! И нет офицера. Очищается земля перед стрелком Федосеем.

Круглый стрелок указал на полковника Будаковича:

— И этого в колодец?

— В колодец, — отвечал стрелок Федосей.

И ногами вверх бултыхнулся в колодец полковник Будакович вслед за другими.

Емелистьевские мужики из этого колодца с тех пор воды не брали: возили из соседней деревни.

Но есть среди офицеров и отчаянные головы.

— Господин поручик, да убьют же вас!

— Не думаю, Точило. Может быть, но не думаю. Да это к делу не относится. Где это я портсигар оставил?

Поручик Архангельский рылся во френче, в брюках.

— Очень хороший портсигар. И притом подарок. Это я, должно быть, в роте оставил.

.....

Коридор казармы. Издали все слышнее шум. И вот конец коридора — помещение первой роты. Может быть, смерть. Поручик Архангельский вошел, и шум оборвался на полузвуке, забился под нары, в углы — и стих.

— Братцы мои, я тут у вас, кажется, портсигар оставил. Не видели, братцы?

Двести глаз смотрели на офицера. Из чьего-то грязного кармана вылез портсигар. Чья-то рука молчаливо подала.

Мы можем управлять солдатами, только покуда действует гипноз погон, разъясняет поручик наивной девушке. И вот он идет на свидание, а встречный солдат не отдает ему честь.

Поручик остановился.

— Эй ты, раззява! Ротозей!

Солдат тоже остановился. Рука поручика потянулась к кобуре. Кобуры не было у пояса. Револьвер и даже шашку он оставил дома.

Солдат вдруг подскочил к поручику, сорвал с его плеч погоны и кинул их в лицо офицеру:

— Погоди малость! Уберем вас, сволочей!

Он был гораздо сильней поручика.

И вот поручик Архангельский остался один на пляже. Он не поднял сорванных с плеч погон. Это конец. Гипноз кончился. Вся сила ушла от поручика вместе с погонами.

Этой силы хватает только на то, чтобы застрелиться.

Гипноз кончился, и вырвалось на волю безумие — такой молодой «серапион» рисует революцию. Это не столько озверение, сколько одурение — странные, бредоподобные фигуры и события удавались раннему Слонимскому лучше всего. В дебютную пору Слонимский не уступал никому из «братьев», даже Зощенко.

Роман «Лавровы», написанный в 1926-м, переработанный в 1948-м и переизданный около двадцати раз, начинается эпично: «Борис Лавров, сын инженера, ученик восьмого класса Четвертой классической гимназии, летом 1914 года жил с родителями и братом на даче в Разливе и, как всегда, давал уроки. Он обучал кадетика в гене-

ральской семье». Индивидуальными характерами в «Лавровых» обладают исключительно неприятные персонажи: истеричка мамаша, безвольный простак папаша, а те, в ком заключаются пресловутые «ростки нового» — революционеры, не знают ни зависти, ни страха, ни тщеславия, ни сомнений, а потому безжизненны. К тому же они частенько изъясняются лозунгами («за нас правда, рабочая правда, народная правда»), а одна капля агитпропа способна убить лошадь художественности.

А что еще хуже — лозунгами иногда изъясняется и сам автор: «В кандалах и арестантских халатах пошли на каторгу подлинные патриоты», «Наступили первые дни великого Семнадцатого года».

И главный герой подводит итог романа такими словами: «Какое это счастье — менять жизнь к лучшему и самому становиться лучше вместе с ней».

В раннем изображении «первых дней великого Семнадцатого года», правда, еще встречаются фирменные гротесковые фигуры. Унтер Козловский с мирной дружеской улыбкой говорит перепуганному прапорщику: «Я тебя сейчас убью» — и, насладившись его ужасом, разбивает ему голову прикладом. И идет дальше, наслаждаясь теми недолгими часами, когда разрешается безнаказанно убивать.

Когда он узнает, что у Бориса умер отец, он радостно сообщает:

— И ты помрешь. Вниз головой в помойку свалишься. Я б людей не хоронил, а в помойку кидал бы — пусть воняют там. Папаша-то твой попахивает уже. Приду понюхать. Вчера Исаакиевский собор сгорел. Из камня сделан, а горел, как спичка. Это я поджег. А сегодня Казанский собор сожгу. А потом все церкви выжгу. Теперь всю Россию жечь надо, чтобы дым пошел. И мужиков жечь. Незачем они живут. Мужик горит долго, как хлеб, и дым от него идет желтый. А городской человек и без спички сам сгорает. Подымит Россия и провалится. На ее месте пустышка будет, дыра, а залатать дыру будет некому.

Бабы, заглядывающие в казарму отведать солдатского мясца взамен убитых и мобилизованных мужей, отзываются о нем так:

— Смехота! Такого и на десяток хватит!

Но эти рудименты дикой стихии уже ставит на место большевик Фома Клешнев:

— Изучайте Ленина. Ленин продолжил дело Маркса, Ленин осветил всему человечеству путь к счастью.

Хотя все-таки еще дается слово и мужику, для которого разговоры о социалистическом счастье такое же пустословие, как и речи о войне до победного конца. Но всех кроет своей идейностью Фома Клешнев, прямо-таки пародийный, начиная от имени-фамилии и заканчивая агитпроповскими монологами:

— Мы строим бесклассовое общество, и к нему мы идем через диктатуру пролетариата.

Однако автор хочет обольстить читателей еще и его внутренним миром: «Клешнев видел революцию в окружении богатеющих и смелеющих собственников, по которым еще не пришло время ударить как следует, и если допустить благодушию владеть собой, то здешняя ненависть, загнанная сейчас в подполье, к восторгу хозяев Запада вырвется и потащит революцию на фонарь, на трамвайный столб, к стенке»; «Воображая сцены разгрома революции, Клешнев крепил свою ненависть и осторожность и лишний раз убеждался в правильности своего отношения к людям: тот, кто с революцией, — хороший человек, тот, кто вне ее или против, — плохой».

И заключительный аккорд: «И ненависть ко всем жалеющим врага охватила Клешнева».

Евгений Шварц проницательно заметил, что Слонимский после его сильного и оригинального дебюта понял, что эта его оригинальность до добра не доведет, и начал

притворяться нормальным. И так хорошо освоил эту роль, что обратился во вполне заурядного совписа.

В своем недавнем романе «Сапфировый альбатрос» я изобразил Слонимского под псевдонимом Второй Мишель глазами безжалостного насмешника, который не видит в этой истории самооскопления ничего, кроме приспособленчества. Но для меня судьба Слонимского — невидимая миру трагедия. Для него и ему подобных я нашел такой образ — альбатрос в курятнике.

В «Литературных заметках», написанных после смерти Сталина, когда уже никто за язык не тянул, Слонимский осуждает свою лучшую книгу «Шестой стрелковый»: «Мотив гибели превратился в мотив всеобщей гибели и вел к изображению сумбура, доходящего до фантастики, к некоторой алогичности в действиях персонажей». Зато «в социализме, в коммунизме — единственное спасение людей от всех несчастий и от возможности озверения. <...> Выше Ленина не знаю никого в истории». Так что погубил писателя не столько страх, сколько вера: ведь ленинизм был несомненно светской религией.

В статье «Михаил Зощенко» Слонимский написал, что поколение, к которому принадлежали и Зощенко, и он сам, на Западе было названо «потерянным поколением». Но «у нас в России революция спасла это поколение от судьбы наших сверстников, героев Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона и других западных писателей».

Такому спасению не позавидуешь.

И все-таки лучшие страницы Слонимского достойны переиздания и перечитывания.

Георгий ПАНКРАТОВ

ШАМОРА-ВАВА-ЗАВЕРТОН:
о поездке во Владивосток на фестиваль «Печатный двор» от АСПИР

Я думал: если человек, живущий в европейской части России, вдруг перелетит во Владивосток и умрет там, он умрет на семь часов позже своего привычного времени, при определенных обстоятельствах — в следующем дне. Вот как получится: семь лишних часов, которых на самом деле не было, окажутся приписанными к жизни. Как будто кусок времени вырван и склеены два фрагмента — вся жизнь и ее конец. Тогда как человек из Владивостока, случись с ним такое в Москве, напротив, проживет лишние часы, которые никак не будут зафиксированы. Тогда это можно рассматривать как некий бонус, «невошедшее».

Я стою, скрючившись, возле какого-то дерева, меня мелко трясет, и со лба градом льет пот. Я никак не могу прийти в себя, и кажется, что я вот-вот и умру. Едва становится легче, я поднимаю голову и вижу сияющее прозрачной ясностью бесконечное море. Вдалеке стоят корабли, нанизанные на ниточку горизонта, с одного края город, с другого — сопки, словно в дизайнерской программе, наложенные друг на друга в несколько слоев. «Адаптация к часовому поясу», — скажут мне в одной аптеке. «Переели морепродуктов», — предположат в другой. «То же и у господина К.» (второго автора, отправившегося в ту же самую поездку от писательской организации), — поведает мисс Х., сопровождавшая нас обоих. Через полчаса мы сидим все трое за квадратным столом переговорной ДМУ. Форма стола определяет и формат беседы. Потряхивает, холодно.

— Зачем вы приехали во Владивосток? — спрашивают нас в лоб представители местных союзов. —Что вам здесь нужно?

— Владивосток не закрытый город. Сюда вроде можно приезжать.

Георгий Панкратов родился в Санкт-Петербурге в 1984 году. Окончил гуманитарный факультет СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Публикации: «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Юность» и проч. Автор нескольких книг прозы и одной документальной. Участник длинного списка премии «Большая книга» (2020, 2022). Лауреат премии им. Гоголя (2023) и конкурса рассказа им. Короленко (2022). Победитель Первой Всероссийской литературной мастерской Ассоциации союзов писателей и издателей (2022).

Позже я узнаю, что в городе есть объект «Кровать примирения». Возможно, встречу стоило бы провести где-то вблизи него. Несмотря на некоторые здравые мысли и вопросы собравшихся, полноценно ответить на них, чтобы в итоге «примириться», нет никакой возможности. Организаторы отводят для встречи всего тридцать минут, которых едва хватает, чтобы высказать все претензии к злостному литературному процессу, воплощением которого, к собственному удивлению, оказываюсь и я, но никак не услышать ответы.

О примирении говорят и на морской экскурсии. Владивосток — город мостов, по модели одного из них, с учетом опыта и технологий, строили Крымский мост. «Наступит время, — говорит экскурсовод, — и построят самый большой мост в мире между Россией и США через Берингов пролив — Золотой мост мира, и, может быть, тогда действительно везде наступит мир». Самый известный (за пределами города, разумеется) мост — на остров Русский. «Если вы попадете в место, где все вокруг с вами здороваются, хотя при этом не знают, значит, вы на острове Русский». На остров Русский еду на такси — посмотреть форт Поспелова. «Осторожно, змеи», — предупреждает табличка на входе, чем изрядно портит впечатление от прогулки. С форта Поспелова потрясающие виды на город, мост, Уссурийский залив. Но само место мрачное. Кроме меня, на форте Поспелова матросы — человек шестьдесят, их заводят внутрь, показывают казармы, пороховые склады более чем столетней давности. «Дельный риэлтор, хорошо рассказывает», — шутит матрос. В одном из помещений мрачный черный куб, что наводит на мысли об оккультизме; нет, ничего такого — здесь те в далекие годы набирали воду.

Военные страницы, флот, город на возвышенностях — все это напоминает мне о Севастополе. Многие говорили, что города похожи — и одной из целей моей поездки было понять, так это или нет.

Расположение гостиницы, где я живу, намекает на сходство. В Севастополе есть лестница от Главпочтамта на Центральный холм. Слева от нее — Главпочтамт, справа — торговый центр, построенный в девяностых годах. По этой лестнице, будучи школьником, я поднимался домой, поворачивал налево и шел несколько метров до дома. Здесь, в самом центре Владивостока — такая же лестница. Слева — главное отделение почты. Справа — современный торговый центр (тоже непохожий на новострой, но и очевидно несоветский). Поднимаюсь по лестнице, сворачиваю налево — и через минуту я в гостинице.

Уютные дворики с видами бухты между домами — тоже вид вполне севастопольский, разве что вместо молов — мост. Аренда квартиры в таких домах (вполне себе вторичное, даже третичное жилье) дороже, чем московская. Владивосток вообще дорогой город; но можно поселиться и в дальних районах — в городе, где можно прийти к морю, думается, нельзя быть несчастным, где бы ты ни жил.

Изогнутые платформы вокзала и тоннель на выезде из него — тоже сходство. Обилие лестниц — здесь все очевидно, многие подъемы куда круче севастопольских. Но различий все-таки больше, и в какой-то момент кажется, что сравнение этих городов или вообще не имеет смысла, или имело таковой когда-то давно. Стена лестницы с крабами и прочими морскими жителями на улице Столетия Владивостока чем-то напоминает севастопольский подъем на Генерала Октябрьского, ну и все. Владивосток масштабнее, выше, плотнее, ярче и динамичнее. Богаче, в конце концов. Он производит впечатление «Москвы на море» — когда-то я был уверен, что будь столица морским городом, она была бы лучшей на свете. Именно здесь, максимально далеко от столицы, мне удается увидеть черты такого города — чтобы понять его, нужно прожить здесь дольше, но очертания вполне симпатичны. Не думаю, что в нашей стране есть

другой такой город, и, возможно, будь Севастополь в составе России всегда, он вполне мог бы к 2023 году выглядеть так — или похоже; к тому же Севастополю тоже ох как не хватает моста. С другой стороны, и ценил я Севастополь всегда за его уют, за малоэтажность, за застывшую красоту, и вряд ли хотел бы видеть в нем «Владивосток-2». Хорошо, что в России есть и Севастополь, и Владивосток. Пусть они будет разными.

Ровными, перпендикулярными улицами Владивосток напоминает не только Севастополь. Здесь и что-то сибирское, и петербургское, и московское, и даже — неожиданно — нижегородское. Остановка «Серая лошадь» — в самом центре двух таких разных и, казалось, ничем не связанных городов, как Владивосток и Нижний Новгород. Одна из легенд, связанных с владивостокской «Серой лошадью», отсылает к Кронштадту: «В начале двадцатого века в одном из торцов дома 17 располагалась столовая. В ней продавали пиво, и местные моряки часто заглядывали сюда выпить кружку-другую. Эту столовую они ностальгически окрестили „Серой лошадью“ в честь носившего такое название знаменитого питейного заведения, которое они посещали в далеком Кронштадте. Постепенно „Серой лошадью“ стали звать забегаловку Владивостока не только моряки, но и все местные жители».

Любопытно, что нижегородская «Серая лошадь» тоже связана с кабаком: «В шестидесятые годы на советский киноэкран хлынули фильмы о ковбоях. „Великолепная семерка“ был одним из любимых молодежных фильмов. И неудивительно, что студенты прозвали свою столовую „Серая лошадь“, потому что так назывался кабак в этом фильме» (обе цитаты из открытых источников).

Другое сходство с Нижним — фуникулер. Все знают, что эта уникальная транспортная система существует сейчас только во Владивостоке, но задолго до этого она функционировала в Нижнем Новгороде. Сейчас нижегородский фуникулер восстанавливают, и вскоре этот вид транспорта перестанет быть «фишкой» Владивостока. Все места, где я жил или бывал, остаются в моем сердце, и, несомненно, останется в нем Владивосток — единственный город, в котором я узнал черты всех других.

Мысль покажется дикой, но Владивосток похож даже на Ульяновск, где я живу сейчас. Бескрайняя Волга здесь похожа на океан (в некоторых местах области расстояние между двумя берегами — сорок километров, а высота волны порой достигает четырех метров), за что я так и называю ее — Волжский океан. Если смотреть с набережной Ульяновска, то и противоположный берег, и отдаленные места области — те же владивостокские сопки.

Владивостокский фуникулер — два вертикальных вагончика (с рядами сидений друг над другом) на тросах, каждые десять минут идущих «от моря к небу и обратно» (как написано на транспаранте на верхней станции). Кондуктор открывает двери снизу, закрывает вверху или наоборот, в зависимости от маршрута. Поездка длится полторы минуты. Из окна вся бухта словно на ладони — непередаваемая красота. «А где они ночью стоят, в каком-то депо?» — спрашивает молодая мама. «А что, до моря не можем доехать?» — недоумевает парочка. Нижняя станция фуникулера и вправду спрятана, ее надо искать по карте.

От верхней станции фуникулера идет проспект Красоты — отсюда дивный вид на город и мост, недавно открыли парк. Добредаю до ларька с горячей едой, к своему счастью, вижу куриный бульон с лапшой — то, что сейчас нужно. Стаканчик с куриным бульоном не купишь на улице даже в Москве. Любуюсь видом, осторожно пью — действительно красота. В креативе названий на смену ушедшим брендам Владивосток зашел еще дальше, чем столица, — «Еда и точка», так называется местная сеть фастфуда: вкусно не вкусно, как будто уже и неважно. Но вкусно. Неожиданную точку

Владивосток ставит и в другом, далеком от здешних мест, споре: шаверма или шаурма. Здесь этот продукт называется просто и стильно — завертон. Слово, идеально попадающее во все слои населения — в нем можно расслышать отзвуки как чего-то утонченного, так и грубовато-приблатненного. Местные завертоны — с крабом, гребешком, иногда и с японскими водорослями. Помимо завертона, популярен бртуч — почти то же самое, но армянское. Армянской кухни в городе много, вывески «Арарат» на берегах Амурского и Уссурийского заливов выглядят как обязательная реклама во время увлекательного шоу.

Одна из местных кулинарных достопримечательностей — кексы «Вава» с ванильной начинкой. Их насыпают в небольшой кулечек по десять штук, жители покупают их в подземном переходе. Состав теста держится в секрете. Другая городская фишка — напиток газированный «Элеутерококк». Само растение отмечено «Мумий Троллем»; для простого слушателя типичный поток сознания Лагутенко, для жителя Владивостока — частица местной реальности:

> Тени скользят цветом багульник,
> Утренний сок — элеутерококк.

Незнакомый с родным городом Лагутенко слушатель даже не представляет, сколько в его песнях, причем далеко не только ранних, деталей из городской топонимики. Например, сайд-проект «Горностай» назван так в честь прославленной городской свалки в одноименной бухте. Но, конечно, загадочное слово «Шамора» массовому слушателю известно больше — так называется то ли место в бухте Лазурная, то ли сама бухта Лазурная. Ни одного указателя «Шамора» в этом месте нет, кроме отеля «Скала любви Шамора», но все же это оно. Песчаный пляж в уютной бухте — одно из самых красивых мест подобного плана, где мне доводилось быть.

Неподалеку от Шаморы другая достопримечательность — бухта Стеклянная, вся усыпанная битыми стеклами и керамикой, обработанной за много лет морем, отчего побережье приобретает зеленый цвет, особенно в ярком солнце. Таких бухт всего две в мире, читаю в Интернете: «Местные жители строят догадки и сочиняют легенды о том, как она образовалась». При том, что свалка, которой бухта и обязана своей уникальностью, просуществовала здесь с середины прошлого века до начала 2010-х, когда ее ликвидировали в преддверии крупного саммита. Неужели нет очевидцев и свидетелей? — недоумеваю я. Почему столько версий, когда и возникла она не в глубокой древности, и исчезла по историческим меркам только что? Рядом со мной китайцы рыщут в песке, взрослая девушка в форме лицеистки, чья внешность напоминает о фильме «Звонок», разглядывает найденную стекляшку.

«Китайцы тащат стекла из бухты мешками», — пишет Интернет. Зачем? Опять только догадки. У меня нет ни одной.

«Китайцы более грубые, они не могут понять красоту. Только самую грубую, поверхностную. А японцы смотрят в глубину». Это не мои размышления — говорю с продавцом сувенирной лавки.

В гостинице, где я живу, большинство постояльцев — китайцы. Ночью они не спят, ходят по коридорам, заглядывают поочередно во все номера, орут. Это выглядит не как поход в гости — как бесконечное хаотичное перемещение. Японцев в городе встретишь нечасто — в основном женщин: они гуляют, сидят на пляжах в цветастых нарядах под яркими розовыми или фиолетовыми зонтиками. Многие из них — пенсионерки, и кажется, им ничего не надо, они счастливы, довольны собой, городом, жизнью.

Морских звезд в магазине нет. Их вылавливал и делал на продажу один известный местный мастер; недавно он умер. Звезд недостаточно собрать — нужно выпотрошить, засушить, обработать. Туристы достают их прямо из воды и тащат в аэропорты, где те начинают тухнуть, распространяя вокруг мерзкий запах. «Неужели на весь город был только один человек, который занимался таким промыслом?» — я слегка удивляюсь.

За звездами отправляюсь на маяк Токаревского — главную местную достопримечательность. В конце Токаревской кошки (то есть косы) нужно закатать джинсы и минут десять идти по морю. Люди на этой морской тропе разделяются на два потока: одни непрерывно фоткаются с маяком, другие отправляются к нему, чтобы на фотках засветиться фоном. Избранные взирают на это движение, сидя на немногочисленных здесь скамейках. Уже со спины узнаю господина К. и мисс Х. Увидев меня, они встают и уходят.

Первую звезду я подмечаю издали — она яркая, с красным узором на черной спинке. Я вынимаю ее из воды, несколько раз фоткаю и вдруг вижу, что спинка синеет, а края звезды заворачиваются. Бросаю обратно и остальных уже снимаю через слой воды. Звезды разных цветов и форм; я радуюсь им, как ребенок: оказывается, и на нынешнем этапе моей жизни еще возможны классные открытия. Еще год, и я приму участие в премии «Антоновка», прекрасная литературная судьба.

«Звезду нельзя брать в руки, — читаю, по пояс мокрый: как назло, мимо проехал катер. — Она может жить без воды максимум три минуты». Мне хочется надеяться, что та звезда придет в себя. Но участь тех, что попадаются туристам, следующим по морской тропе к маяку, незавидна — туристы хватают их без разбора, распихивают по карманам. И только совсем юный мальчишка зашвыривает их подальше в море. Его друг тоже изображает деятельность, но без энтузиазма. «Надо спасать их», — говорит мальчик, повернувшись ко мне. У мальчика красивая мама, у красивой мамы хороший сын.

Автобусная экскурсия на крохотной маршрутке, чтобы увидеть что-то в окнах, нужно согнуться в три погибели. Тут и там мелькают тигры. «Динамо Владивосток» играет в кубке России, побеждает 2:0, игру можно смотреть из-за забора; подают угловой. Проблема города — пробки, бесконечные и изнуряющие. Весь город стоит. И этим Владивосток тоже напоминает Севастополь с 2014 года, по крайней мере, до недавних событий. Улицы старого города просто не предназначены для такого потока машин. «Владивостокская агломерация должна развиваться на принципах полицентричности», — читаю в газете «Дальневосточные ведомости»; буквально в эти дни в городе обсуждается новый транспортный план.

Все-таки самая отчетливая разница между Владивостоком и Севастополем сегодня — сюда не долетают ракеты. Ничего не угрожает ни жителям, ни флоту — хотя Дом офицеров, говорит экскурсовод, все чаще используют (уже почти что превратился) в похоронный зал. Мы идем к триумфальной арке цесаревича Николая. Есть примета, говорит экскурсовод, что если под аркой загадать желание, оно обязательно сбудется. Сюда приходят молодожены, загадывая семейное счастье, но я, проходя вместе с группой под сводами, загадываю мир моему Севастополю. Сейчас, так далеко от моего города, думать о чем-то другом и желать чего-то другого не получается. За моей спиной — музей-подлодка С-56, самая результативная советская подводная лодка в Великой Отечественной войне по количеству потопленных целей. Пройдя всю войну, она вернулась непобежденной и служила еще тридцать лет. И именно здесь, во Владивостоке, жила Катюша из знаменитой песни о дальнем пограничье. У обоих городов пусть и разные, но героические судьбы.

Открытие форума, формат которого так и останется для меня загадкой (литературная составляющая оказалась на нем глубоко периферийной), пропитано сосредоточенной торжественной серьезностью. Со сцены звучит: то, к чему все готовятся, уже вовсю идет. Звучит не как открытие, а как будничное напоминание. Здесь, вдали от СВО, это выглядит мощно: здесь не просто понимают то, что никак не хотят понять ближе к центру страны, а вовсю работают.

Я попал на фестиваль с автофикшн-повестью о том, что завершаю с литературой. За повесть о том, «как мне не дали премию», за пару дней до поездки мне вручили премию Гоголя. «Вы сыны Гоголя» — эта ироничная фраза произносилась без тени иронии, и я не знал, что сказать. Все сосредоточенно пили и жевали колбасу. Ну вот, теперь и я лауреат. А вакантное место восточной мечты займет Сахалин. Значит, буду прощаться с литературой снова?

Встреча с читателями заканчивается, подписываю книги. Выцарапываю буквы, протягиваю экземпляр. Читательница, бодрая женщина, чем-то похожая на мою первую учительницу, берет меня за руки:

— Но вы запомните одно: вы — не долгожитель. Торопитесь жить!



Территория памяти

Геннадий ЕВГРАФОВ

ИСХОД

В XX веке в России было четыре волны эмиграции. Пишу об эмигрантах первой волны: почитаемых мною Мережковских и Тэффи, любимых Ходасевиче, Шкловском (разумеется, были Бунин, Куприн, Цветаева и другие, но о них, может быть, в другой раз). Которые уезжали не за материальными благами, а за свободой — свободой думать, говорить, писать.

Дороги и судьбы сложились по-разному.

Idée fixe вождя (власть с слово)

25—26 октября (7—8 ноября) большевики взяли власть легко и просто, как пьяную распутную девку, валявшуюся в пыли на дороге.

На третий день (!) переворота, 27 октября (9 ноября) 1917 года, Совет Народных Комиссаров принимает декрет «О печати» — один из первых декретов советской власти (заметьте: декрет «Об образовании ВЧК» принимается 7 (20) декабря).

Все декреты — о мире, земле и так далее — подписывает Председатель Совнаркома Владимир Ульянов (Ленин).

28 октября (10 ноября) декрет публикуется в «Газете Временного рабочего и крестьянского правительства», «Известиях», «Правде».

«В тяжкий решительный *час переворота* и дней, непосредственно за ним следующих, — говорилось в декрете (обращаю внимание на слова „*час переворота*“) — Военно-

---

Геннадий Евграфов — член Комитета московских литераторов. Публиковался в Советском Союзе, России, Франции, Германии и Австрии. Автор эссе о поэтах и писателях Серебряного века: Аделаиде Герцык, Надежде Тэффи, Александре Блоке, Иване Бунине, Василии Розанове и др. Лауреат премии журнала «Огонек» за 1989 год. В 1986—1989 годах — один из организаторов и редакторов редакционно-издательской экспериментальной группы «Весть», возглавляемой Вениамином Кавериным. Составитель, редактор, автор предисловий и комментариев к книгам Зинаиды Гиппиус, Василия Розанова, Андрея Белого, Евгения Шварца, Григория Бакланова, Давида Самойлова, Юрия Левитанского, Венедикта Ерофеева, к собранию сочинений Сергея Есенина и др., выходившим в издательствах «Аграф», «Вагриус», «Время», «Прозаик», «Текст», «Терра» и др.

Революционный Комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков». И далее, заглушая «крики о том, что новая социалистическая власть нарушила, таким образом, основной принцип своей программы, посягнув на свободу печати», Совнарком (пока еще) объясняет, что «закрытию подлежат лишь органы прессы: 1) призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому Правительству, 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов, 3) призывающие к деяниям явно преступного, т. е. уголовно-наказуемого характера». И подчеркивает, что «настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни»[1].

Большевики торопились, за два дня до вступления закона в силу Военно-революционный комитет за контрреволюционную, клеветническую агитацию против Октябрьской революции запретил «Новое время», «День», «Речь», «Живое слово», «Биржевые ведомости» и другие газеты и журналы.

Всем недовольным заткнули рот, ибо, по сути, декрет означал введение новой — советской — цензуры, вся российская пресса была объявлена «буржуазной» и поставлена вне закона. Что немедленно привело к закрытию типографий, где печатались тысячи «вредных» демократических газет и литературных изданий, и говорит об отношении режима к слову.

4 (17) ноября на одном из первых заседаний ВЦИКа депутаты обсуждали предложение экономиста Юрия Ларина об отмене декрета о печати. За отмену выступили и левые эсеры Андрей Колегаев и Владимир Карелин. Энергично жестикулируя, Ленин бросал в зал: «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в руки. Терпеть существование этих газет, значит перестать быть социалистом»[2].

Это была idee fixe вождя — установить монополию на слово.

Большинство членов ВЦИК, в который входили не только левые эсеры, но и меньшевики, и интернационалисты, и украинские социалисты, все же составляли большевики — они поддержали своего вождя, сочли, что «восстановление так наз. „свободы печати“, т. о. простое возвращение типографий и бумаги капиталистам-отравителям народного сознания, явилось бы недопустимой капитуляцией перед волей капитала»[3], и держались стойко, позиции рабочего класса не сдали, и декрет отменен не был.

Против произвола возвысила свой голос старая русская интеллигенция. 26 ноября 1917 года Союз русских писателей в спешном порядке выпустил однодневную «Газету-протест. В защиту свободы печати» с сообщением о намечающемся на Невском, 48 митинге, в котором должны принять участие Дмитрий Мережковский, Федор Сологуб, Максим Горький, бывший министр Временного правительства А. В. Пешехонов, один из лидеров меньшевиков А. Н. Потресов, член ЦК Трудовой народно-социалистической партии Н. В. Чайковский и «представители печатного дела», которые выступят с речами в защиту свободы печати.

Газета пестрела весьма выразительными рубриками: «Осквернение идеала», «Насильникам», «Слова не убить».

---

[1] Как известно, ничего не бывает более постоянного, чем временное — постановление сохраняло силу закона вплоть до 12 июня 1990 года, когда Верховный Совет СССР принял новый закон «О печати и других средствах массовой информации». Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года повторил закон, принятый Верховным Советом СССР.

[2] Ленин В. И. Сочинения. Т. 10. С. 253.

[3] Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Р., С., Кр. и Каз. Депутатов 11 созыва. М.: Изд. ВЦИК, 1918. С. 24.

Против удушения свободы протестовали Владимир Короленко, Зинаида Гиппиус, Вера Засулич.

Но красноречивее других был журналист Петр Рысс: «Царское самодержавие приветствует большевистское самодержавие. Покойные Д. Толстой[4] и Плеве[5] пожимают руки ученикам своим: Ленину, Троцкому, Бонч-Бруевичу. Крайности сошлись и на этот раз».

Даже близкий к большевикам автор «Песни о Буревестнике» в своей «Новой жизни»[6] осудил режим: «Я нахожу, что заткнуть кулаком рот „Речи“ и других буржуазных газет только потому, что они враждебны демократии — это позорно для демократии.

Разве демократия чувствует себя неправой в своих деяниях и — боится критики врагов? Разве кадеты настолько идейно сильны, что победить их можно только лишь путем физического насилия?

Лишение свободы печати — физическое насилие, и это недостойно демократии.

Держать в тюрьме старика революционера Бурцева[7], человека, который нанес монархии немало мощных ударов, держать его в тюрьме только за то, что он увлекается своей ролью ассенизатора политических партий — это позор для демократии. Держать в тюрьме таких честных людей, как А. В. Карташов[8], таких талантливых работников, как М. В. Бернацкий[9], и культурных деятелей, каков А. И. Коновалов[10], немало сделавший доброго для своих рабочих, — это позорно для демократии.

Пугать террором и погромами людей, которые не желают участвовать в бешеной пляске г. Троцкого над развалинами России — это позорно и преступно.

Все это не нужно и только усилит ненависть к рабочему классу. Он должен будет заплатить за ошибки и преступления своих вождей — тысячами жизней, потоками крови»[11].

Общее настроение тех лет (на страницах той же однодневной газеты) выразила член ЦК Конституционно-демократической партии, писательница Ариадна Тыркова: «Мы их статьями, а они нас штыками...»

Дискуссии не получалось.

Но штыки окончательно победят перо только через год.

В января 1918-го Совнарком принимает декрет «О революционном трибунале печати». Трибунал состоит из трех лиц, избираемых на срок не более трех месяцев Со-

---

[4] Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889), занимал разные государственные посты во времена Александре II и Александра III, министр внутренних дел и шеф жандармов в 1882—1889 годах.

[5] Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) в 1902—1904 годах занимал пост министра внутренних дел и шефа жандармов.

[6] Летом 1918-го большевики газету закрыли за демократическую позицию, в том числе и за публикацию «Несвоевременных мыслей» Горького, в которых он довольно резко критиковал новый режим.

[7] Бурцев оказался первым политическим заключенным в России — 25 октября 1917 года в первом и единственном номере газеты «Наше общее дело» он разместил передовую, которая начиналась со слов: «Граждане, спасайте Россию...» Этого было достаточно, чтобы по приказу Троцкого, бывшего в то время председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, посадить известного публициста и издателя журнала «Былое» в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, где он сидел и при Александре III, и при Николае II. Какая ирония судьбы, однако.

[8] Министр исповеданий Временного правительства. Вместе с другими членами кабинета был арестован в ночь с 25-го на 26 октября.

[9] Министр финансов Временного правительства, ученый-экономист. Так же, как и другие министры, был арестован и посажен в Петропавловскую крепость.

[10] Министр торговли и промышленности Временного правительства. Постигла та же судьба, что и Карташова, и Бернацкого.

[11] Цит. по: М. Горький. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М.: Советский писатель, 1990. С. 152—153.

ветом рабочих и солдатских депутатов (какое-то роковое влечение к числу три, в расстрельном 1937-м нарком НКВД Ежов отдает приказ № 00447 о создании «особых троек» для внесудебного рассмотрения дел в республиках, краях и областях), и, руководствуясь своим революционным правосознанием, мог оштрафовать, арестовать, привлечь к суду, приостановить любое издание — временно или навсегда, «распространяющее ложную информацию», конфисковать в общенародную собственность типографии, то бишь имущество, лишить виновных политических прав, в отдельных случаях — свободы, и удалить из столицы за пределы республики.

Разумеется, что ложно, что нет, определяли комиссары в кожаных куртках с наганом в кармане. Они же были наделены правом взять под арест любого вольнодумца, заподозренного в нелояльности режиму.

Уполномоченные комиссары приходили в газеты и журналы в обеих столицах — в Москве и Петрограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, Одессе и Харькове, предъявляли мандаты, редакции разгоняли, кого-то арестовывали, частные типографии, большие и маленькие, закрывали, имущество реквизировали.

На основании Декрета о печати только с октября 1917-го по июнь 1918-го были закрыты более 470 оппозиционных газет.

Цензура с первых же дней советской власти загоняла живое слово под асфальт, но в условиях разрухи и хаоса большевикам понадобилось пять лет, чтобы она приобрела тотальный характер, и с 1922 года вечную российскую заповедь «держать и не пущать» свято блюло Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит)[12], руководить которым назначили бывшего народовольца Николая Мещерякова, на переломе века перековавшегося в марксиста.

«Буржуазная печать» была выкорчевана с корнем.

И с инакомыслием — во всяком случае, на бумаге — было покончено.

«В раю земном я не могу прожить...» (за словом — поступок)

В 1920 году покинуть новую Россию решили Мережковские. Они уезжали не столько от голода, холода, вонючих мерзлых селедок и общественных работ — они уезжали от несвободы, они уезжали от брезгливости, от невозможности эстетически сосуществовать с новой властью. Они покидали «царство Антихриста»[13], царство тотальной лжи и тотального террора. Им не нужен был обещанный большевиками «рай», обернувшийся адом, — свой билет они отдавали его устроителям. У Гиппиус все эти настроения переплавились в стихи: «Рай (в альбом ***, в СПб-ге)»[14]., которым был предпослан эпиграф из Достоевского — фраза Ивана Карамазова *«...почтительнейше билет возвращаю...»*[15]:

Не только молока иль шеколада,
Не только воблы, соли и конфет —

[12] Просуществовало до 24 октября 1991 года.

[13] Мережковский Д. С., Гиппиус З. Н., Философов Д. В., Злобин В. А. Царство Антихриста. Мюнхен: Drei Masken, 1921 (впервые: Общее дело. Париж. 1921. 26–29 января. № 195–198).

[14] Без даты, прибл. 1919—1920 годы.

[15] У Достоевского: «Не Бога я не принимаю, Алеша, а только билет Ему почтительнейше возвращаю» — «Братья Карамазовы», глава «Бунт» (Кн. 5. Гл. 4).

Мне даже и огня не очень надо:
Три пары досок обещал *комбед*[16].
Меня ничем не запугать: знакома
Мне конская багровая нога,
И хлебная иглистая солома,
И мерзлая картофельная мга.
Запахнет, замутится суп, — а лук-то?
А сор, что вместо чаю можно пить?
Но есть продукт... Без этого продукта
В раю земном я не могу прожить.
Искал его по всем *нарводпродвучам*
Искал вблизи, смотрел издалека,
Бесстрашно лазил по окопным кручам,
Заглядывал и в самую *чека,*

Ее ж, смотри, не очень беспокой-ка:
Я только спрашивал... и все *ревтройка*[17]
Неугомонный поднимала рев.
.....

И я ходил, ходил в *петрокомпрод*[18],
Хвостился днями у крыльца в *райком*...
Но и восьмушки не нашел — *свободы*
Из райских учреждений ни в одном.

Не выжить мне, я чувствую, я знаю,
Без пищи человеческой в раю[19]:
Все карточки от Рая открепляю
И в *нарпродком* с почтеньем отдаю.

За словом у нее всегда следовал поступок — как и классический герой, она возвращала свой билет. В декабре 1919 года Мережковские, критик Философов и Злобин, бывший ее литературным секретарем с 1916 года, выехали из Петрограда в Гомель — в январе 1920-го нелегально перешли границу[20]. С Совдепией было покончено, но с собой они уносили свою Россию. В той, другой России, которую они оставили (понимали, что навсегда), оставались Брюсов, Блок, Чуковский. Кто-то пошел на сотрудничество с большевистским режимом, кто-то приспособился к совместному сосуществованию[21]. Кто-то — Бунин, Ремизов, Ходасевич, — как и они, покинули родину. Ко-

[16] Комитет бедноты (комбед) — орган советской власти, созданный декретами ВЦИКа от 11 июня и Совнаркома от 6 августа 1918 года в годы «военного коммунизма, занимался изъятием хлебных излишков у так называемых «кулаков».

[17] Ревтройка — революционные тройки.

[18] Петрокомпроды — орган Петроградского комиссариата по продовольствию.

[19] Под «пищей» Гиппиус подразумевала свободу.

[20] Мережковские опасались, что им не дадут выехать по существующим правилам.

[21] Здесь не имеет смысла останавливаться на том, какими причинами руководствовались упомянутые литераторы — у каждого были свои.

го-то, в основном философов — Бердяева, Шестова, Карсавина и др., — новые власти, не церемонясь, посадили на пароход и выслали из страны.

Хорошо, хоть не поставили к стенке.

Русская воля (хам грянул)

Четырнадцатью годами ранее, в 1906 году, в самый разгар революционных событий в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах Российской империи, Дмитрий Мережковский в статье «Грядущий хам»[22] предупредил не только Россию, но и Запад о грядущем «хаме»: хулиганах, босяках, люмпенах. Которые придут снизу.

Пророчество писателя, историка и религиозного философа в отношении Запада не сбылось, а вот в России «хам» грянул в Октябре 1917 года.

Мережковский конкретно Ленина и его соратников в виду не имел. Он был писатель-мистик, о пришествии в скором будущем новых людей — людей злобных, невежественных и упорствующих в своем невежестве, которые, судя по развитию событий, будут играть первые роли в обществе и определят будущее России на семь десятилетий, писал в общих чертах и, разумеется, 1917 год, когда «хам» не только полезет из всех российских щелей, но и придет к власти, не предвидел (в 1906-м в партии РСДРП состояло всего чуть более 30 тысяч человек). И уничтожит старую Россию. Перевернет все: бытие, быт, старую жизнь с ее поисками добра, гармонии, идеала.

«Добро» придет в кожаной куртке с наганом и ордером на обыск.

К «гармонии» приведет пуля в чекистском подвале.

«Идеалом» станут кровь, насилие, единомыслие.

Русская воля — всегда хаос и анархия. Пушкин, как всегда, был прав: русский бунт — беспощаден и бессмыслен и потому страшен и ужасен. Большевики прервали связь времен и нарушили естественный ход исторического развития России. Это было и преступлением, и ошибкой. Они сняли все табу, разбудили самые темные, дремлющие в человеке инстинкты. «Музыку революции»[23] услышал Блок — Мережковский и Зинаида Гиппиус «ни музыки революции», *ни музыки в революции* не услышали. Хотя «глухотой» на социальные процессы, происходящие в России, не страдали.

Некоторые (наивные) интеллигенты после прихода к власти Ленина и его партии все же надеялись, что наступит лучшее будущее. Будущее наступило, но лучше оно не стало. Начался голод, за голодом наступила разруха, страна раскололась на «белых», «красных» и народ. Как всегда в России, народ безмолвствовал, а «красные» и «белые» пошли стенка на стенку. Гражданскую войну выиграли большевики, и интеллигенты (да и не только они) довольно быстро на себе почувствовали, чем власть Советов отличается от власти Временного правительства — при всех изъянах Февральская революция была демократической, власть оппозиционные партии и газеты не запрещала. Керенский не претендовал на роль пастуха — пасти народ стал лысый человечек в мешковатом костюме, загоняя железным жезлом в обещанный коммунистический «рай». Но «рай» оказался сущим адом, в котором не то что жить — существовать было невозможно. Придя к власти, большевики сразу же начали преследовать своих идейных противников.

Не только Мережковские, но и многие другие писатели и философы, ученые и адвокаты, купцы и врачи, не сумевшие приспособиться к новой власти, в одночасье став-

[22] Грядущий хам; II. Чехов и Горький / [Соч.] Д.С. Мережковского. СПб.: М. В. Пирожков, 1906.

[23] Блок А. Интеллигенция и революция // Знамя труда. 1918. 19 января.

шие «бывшими, стали готовиться к отъезду из Совдепии (так с презрением старая интеллигенция называла новую большевистскую Россию), с которой было не по пути.

Что дороже (свобода без России)

Те, кто отверг кровь и насилие, по-прежнему хотели «жить законом, данным Адамом и Евой», и не хотели «разворачиваться в марше», когда говорить будет только «товарищ маузер»[24]. И как можно скорее, стремясь вырваться из наступившего царства тотальной лжи и тотального террора, бежали из наступившего царства *тотальной несвободы.* Бежали туда, где не было большевиков. Туда, где не ограничивали свободу думать, свободу говорить, свободу писать. В Париж, Берлин, Прагу. Где быстро образовались небольшие островки русской жизни.

Все, что творилось в послеоктябрьской жизни (не жизни — хаосе), этим интеллигентам было не по нутру. Они отвергли Октябрь 17-го — не приняли тех, кто умертвил февральскую Россию. И экзистенциальную проблему свободы решали в чисто практическом плане (в Париже Нина Берберова была свидетельницей такого разговора между супругами: «Зина, что тебе дороже, — спрашивал Дмитрий, — Россия без свободы или свобода без России?» — «Свобода без России, — отвечала Зинаида, — и потому я здесь, а не там»[25]).

Когда-то (в 1904-м) в стихотворении «Все кругом» Гиппиус писала:

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко-тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!

Но жалоб не надо; что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем, все будет иначе.

Она ошиблась. Не то что не стало иначе — стихи удивительно ложились на новую большевистскую действительность. Более того, действительность была пострашнее стихов.

Она никогда не была «хористкой» — не пела ни «в хоре», ни «с хором». Она всегда была голосом *из* хора, голосом *вне* хора, отличным от других, поэтому всегда слышимым, поэтому явственно различаемым на фоне других. Она была индивидуальностью, и ей было не по пути с озверевшей массой. И все, что творилось в послеоктябрь-

[24] Маяковский В. Левый марш (1918).

[25] Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 1996. С. 284.

ской жизни (не жизни — хаосе), ей было не по нутру. И поэтому она не хотела быть с теми, кто умертвил февральскую Россию. Не говоря уже — заодно. Вопрос: со свободой, но без России — был решен в пользу свободы — они уезжали туда, где не было большевиков. Туда, где у них была своя квартира — Мережковские тайно собирались в Париж.

Перевалочным пунктом стала Польша — в Варшаве они занялись антибольшевистской деятельностью. Темперамент Зинаиды Николаевны требовал общественного выхода. Они основали газету «Свобода» (выходила в 1920—1921 годах), где печатали политические статьи, направленные против советской власти; читали лекции о положении дел в Советской России; как (чем) могли, подрывали престиж первого государства рабочих и крестьян. Она была остроумна, зла, иронична и высмеивала своих идейных врагов, не щадя никого.

Русские в Париже («Зеленая лампа»)

В Париже их литературная и общественная деятельность продолжилась — они не собирались сидеть сложа руки.

Вокруг Мережковских всегда собирались люди. Так было в Петербурге, так продолжилось и в Париже — и здесь они стали одним из сосредоточений русской интеллектуальной жизни. По воскресеньям в их квартире, в доме 11-бис на улице Колонель Бонне, расположенном в фешенебельном квартале Пасси, собирались писатели и журналисты, философы и издатели русских газет и журналов. Говорили о литературе, спорили на политические темы, обсуждали положение в России и мире. Но вскоре эти воскресные посиделки показались Мережковским недостаточными, и в феврале 1927 года они создали общество «Зеленая лампа», в котором собирался весь цвет «русского Парижа».

Как писал один из участников этого общества, поэт, критик Юрий Терапиано, это было их «вторым предприятием», рассчитанным на более широкие круги русских, обосновавшихся в Париже: «Мережковские решили создать нечто вроде „инкубатора идей“, род тайного общества, где все были бы между собой в заговоре в отношении важнейших вопросов „воскресений“ и постепенно развить внешний круг „воскресений“ — публичные собеседования, чтобы перебросить мост для распространения „заговора“ в широкие эмигрантские круги. Вот почему с умыслом было выбрано само название „Зеленая лампа“, вызывающее воспоминание петербуржского кружка, собиравшегося у Всеволожского в начале 19-го века»[26]. Цвет «русского Парижа» можно было увидеть на этих ставших традиционными встречах. К ним приходили мэтры Иван Бунин и Алексей Ремизов, молодые поэты, критики, публицисты Юрий Фельзен и Юрий Мандельштам, философы Николай Бердяев и Георгий Федотов, журналисты Бунаков-Фондаминский и Вадим Руднев. Общество просуществовало до 1939 года. И распалось за год до падения Парижа.

Que faire? (что делать?)

Среди бежавших из «красной» октябрьской России была и Надежда Тэффи — судьба привела ее на берега Сены.

В другой жизни среди ее поклонников был сам государь — в дни празднования 300-летия царствования Дома Романовых у Николая II спросили, кого бы из русских

[26] Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 46.

писателей он хотел бы видеть в юбилейном сборнике, он, ни минуты не задумываясь, изрек: «Одну Тэффи!» Другим ее поклонником в той — призрачной — жизни был человек, который в 1917-м вверх дном перевернул всю Россию. С ним она столкнулась во время революционных событий 1905 года, когда работала в «Новой жизни». Большевики, приходившие в газету, о чем-то тайком шептались по углам. Она испытывала откровенную скуку — разговаривать с ними было не о чем. Когда в редакции появлялся Ленин, он грозился не только грабить всех «эксплуататоров трудового народа», но и убивать всех, кто не разделяет его идеи. Ей ни того, ни другого не хотелось, и однажды она развернулась и ушла в «Сатирикон» к Аверченко.

Февраль 1917-го она приняла, Октябрь 1917-го — отвергла. После захвата власти большевиками, написала: «Бывают пьяные дни в истории народов. Их надо пережить. Жить в них невозможно»[27]. Но она все-таки пыталась. Когда пытаться больше не стало сил, развернулась и уехала поближе к солнцу и морю — в Одессу, в которую бежали из Москвы, Киева и Петербурга. Город был перевалочным пунктом, из Одессы бежали дальше — в Константинополь, Бухарест, Париж. Она бежать не собиралась, решила остаться, хотя все знакомые в один голос убеждали, что когда город возьмут большевики, ее обязательно повесят. Смерти она не боялась. Боялась разъяренных комиссаров в кожаных куртках, боялась их тупой, идиотской злобы и веры в насильственное переустройство мира, боялась бесцеремонного вторжения в дом и расстрелов в сырых подвалах. Но однажды, устав от грабежей и разбоев, махнула на все рукой и направилась в Новороссийск. Там села на пароход, отплывавший в Константинополь, дала себе слово, что не обернется, когда отдадут швартовы, но не выдержала, оглянулась и застыла, как жена Лота, когда увидела, как постепенно растворяется в розовой дымке земля. Ее земля. Подумала, что весной вернется. Но не вернулась — ни весной, ни летом, ни через год, ни через десять.

Вернулась после смерти — своими книгами...

В Париже она появилась под Новый 1920 год, сняла номер в Hotel Le Vignon, неподалеку от церкви Мадлен, осмотрелась, попривыкла к эмигрантскому быту... и устроила у себя литературный салон, где бывали и Алексей Толстой вместе со своей женой–поэтессой Наталией Крандиевской, актриса Татьяна Павлова, художник Александр Яковлев, бывший прокурор Сената Владимир Носович. Знакомые и незнакомые люди политики и искусства. Как писал ее друг, поэт-сатирик Дон Аминадо, она устраивала смотр новоприбывшим и объединяла разрозненных.

Одним из первых рассказов, появившихся в русской печати, стал «Ке фер?»[28]. Добрался генерал-беженец до Парижа, вышел на Плас-де-ла-Конкорд, глянул на бездонное голубое небо, посмотрел по сторонам, кругом великолепные особняки, исторические памятники, магазины, забитые давно забытыми продуктами и товарами, нарядная говорливая толпа, растекающаяся по кафе и театрам. Задумался генерал, почесал переносицу и промолвил с чувством: «Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?»

Что мне-то делать среди этой роскоши и красоты, на чужом празднике жизни, без денег, профессии, работы и малейшей надежды на будущее?

Этот вечный русский вопрос — что делать? — рано или поздно вставал перед всеми, кто покинул родину. Что делать в новой жизни — без языка, без средств к существованию (многие бежали без гроша в кармане), без привычки жить в чуждой среде — людям, более озабоченным собственными проблемами, а не мирового порядка...

---

[27] Тэффи Н. На скале Гергесинской // Грядущий день. Одесса. 1919. № 1.

[28] Тэффи Н. Ке-фер // Последние новости. Париж. 27 апреля 1920.

Святой принцип (спасать не только себя)

У нее ответ на этот вопрос был. Одного салона ей было недостаточно, салон был всего лишь местом для встреч, общения и привычных за полночь русских разговоров. Она же хотела работать, делать дело. Ее делом была литература, и за «Ке фер?» последовали другие рассказы, сценки, фельетоны. В течение двадцати лет не было и недели, чтобы в выходящих в Париже, Берлине или Риге русских газетах и журналах не появилось ее имя. Добрым юмором и улыбкой скрашивала она зачастую мрачное, одинокое и нищее эмигрантское житье-бытье. Ее книги на чужбине были столь же популярны, как и когда-то на добольшевистской родине. Ее любили и знали в Париже, ее рассказами зачитывались в Варшаве и Праге, ее новых сборников ждали в Харбине и Шанхае. Остроты и шутки персонажей мгновенно подхватывались и передавались из уст в уста.

Но она не только писала, но и самым деятельным образом помогала соотечественникам, известным и безызвестным, выброшенным волною на чужой берег. Она собирала деньги в фонд памяти Ф. И. Шаляпина в Париже и на создание библиотеки имени А. И. Герцена в Ницце. Читала свои воспоминания на вечерах памяти ушедших Саши Черного и Федора Сологуба. Выступала на «вечерах помощи» прозябающим в бедности собратьям по перу. Она не любила публичных выступлений перед многочисленной аудиторией, для нее это было мучением, каждое выступление давалось с большим трудом. Легче было за письменным столом, но ее просили, и она никому не отказывалась помочь. Это был святой принцип — спасать не только себя, но и других.

Но порой Тэффи была язвительна и зла и иронично замечала, что русские в Париже жили странной жизнью, не похожей ни на какие другие. Держались не взаимопритяжением, а взаимоотталкиванием. Каждый ненавидел всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидели его. И делились «ле рюссы» на две категории — на продающих Россию и спасающих ее. Продающие жили весело, ездили по театрам и ресторанам, держали слуг и наслаждались всем, что мог дать Париж. Спасающие целые дни проводили в хлопотах, интриговали и разоблачали друг друга.

Она не примкнула ни к тем, ни к другим. «Продавать» даже большевистскую Россию не хотелось, да и было некому и незачем. Спасать, находясь во Франции, было глупо и бессмысленно. Она оставалась самой собой, писательницей, острым взглядом подмечающей все нелепости и несуразицы этого мира.

Долгое время жила в гражданском браке с Павлом Андреевичем Тикстоном. Наполовину русский, наполовину англичанин, сын промышленника, некогда владевшего заводом под Калугой, он бежал в Париж, как и она, после прихода к власти большевиков. Надежда была любима и счастлива, насколько может быть счастливым человек, оторванный от родной почвы, вырванный из стихии родного языка. У Павла Андреевича были деньги, но они пропали, когда разразился мировой кризис. Он этого пережить не сумел, с ним случился удар, и она терпеливо ухаживала за ним до его последнего смертного часа.

После его кончины всерьез подумывала, не оставить ли ей литературу и заняться шитьем платьев или начать мастерить шляпки, как это делали ее героини из рассказа «Городок», через который протекала речка Сена. Поэтому они говорили: «Живем худо, как собаки на Сене»[29]. Но ее Господь Бог уберег: не от «худа» — вязания спица-

[29] Рассказ дал название всему сборнику «Городок. Хроника», который вышел в Париже в изд. «Т-во Н. П. Карбасников» в 1927 году.

ми, и она продолжала вязать словами. Однако салон пришлось закрыть, денег на его содержание больше не было.

А «ке фер» вскоре для очень многих русских решился. Бывшие генералы пошли в шоферы такси, присяжные поверенные — в официанты, инженеры — в рабочие. Писатели создавали свои издательства, артисты — театры, философы читали лекции в Сорбонне.

Карнавал в центре Европы (вертеп, храм, балаган)

Вопрос «Что делать?» задавали себе не только вчерашние царские офицеры, но и другие беженцы. И не только в Париже, но и в Берлине. Который после французской столицы был вторым по количеству русских эмигрантов (до него было легче добираться), бежавших из Москвы, Петрограда, Киева и других городов страны.

Русских в немецкой столице проживало столько, что яблоку негде было упасть. Некоторые выехали еще до прихода к власти большевиков, другие — после, третьи приезжали в командировку. По сравнению с Москвой Берлин казался сущим *paradise*. По Унтер-дер-Линден не спеша фланировали добропорядочные бюргеры со своими ухоженными фрау, бесперебойно работали кафе и магазины, почта и железная дорога.

На вопрос героя Тэффи ответила сама жизнь — в немецкой столице практически никто из беженцев не сидел без дела.

Бывшие генералы, сменив мундиры на ливреи, не гнушаясь чаевыми, услужливо раскрывали двери в русских ресторанах, открытых другими — предприимчивыми — соотечественниками, где под икру с блинами, расстегаи и холодную водку настоящие цыгане распевали романсы, устраивая для сытых бюргеров представления в духе «а-ля рюс».

Бывшие эсеры, презрев мирское, занялись антибольшевистской деятельностью. Темперамент требовал общественного выхода. Они основали газеты, журналы, издательства. Публиковали политические статьи, писали книги, направленные против советской власти, читали лекции о положении дел в новой России, издевались и высмеивали своих идейных врагов.

Но русский Берлин состоял не только из бывших губернаторов и вице-, кадетов или социал-революционеров. В Берлине 20-х жили и работали, дружили и ссорились меж собой писатели, философы и художники всех направлений: Владимир Набоков и Илья Эренбург, Роман Гуль и Виктор Шкловский, Семен Франк и Федор Степун, Василий Кандинский и Натан Альтман. Приезжали Владимир Маяковский (с чтением своих стихов), Сергей Есенин (по издательским делам), Лев Лунц, бывший «Серапионов брат» (на лечение). Заметную роль в этом мире играл издатель Зиновий Гржебин, живший в Берлине с советским паспортом. Он основал филиал своего издательства, оставшегося в Петрограде («Издательство З. И. Гржебина»), и публиковал как авторов, живущих в Советской России, так и в эмиграции.

Все выступали в кафе и клубах — кто-то оплакивал старую царскую Россию, кто-то продолжал горевать о поражении Февраля и на чем свет проклинать революцию и большевиков; одни, рассчитывая вернуться, говорили о революции осторожно, другие безудержно славили. Русский Берлин представлял собою клубок политических страстей, литературных симпатий и антипатий, человеческой любви и ненависти. Прошлое и настоящее мешалось, сплеталось и расплеталось, город был вертеп, храм и балаган одновременно.

На этом пикнике в центре Европы, отчужденном от законопослушных немцев, выше всего ставящих *Ordnung* («Ordnung muss sein» — даю свой вольный перевод: во

всем и везде должен быть порядок), не сливавшемся с аборигенами литературно-политическом карнавале, параде тщеславий, амбиций и самолюбий, празднике страстей и азарта место находилось всем — и бывшим «белым» офицерам, и «красным» писателям, и религиозным философам, и художникам-авангардистам.

Конец праздника (пути и перепутья)

Все когда-то кончается в этой жизни — в 1923 году, когда в один миг резко обесценилась марка и в немецкой столице началась бешеная инфляция, праздник кончился и настали тяжкие будни. Русский Берлин стал стремительно пустеть: работать было негде, гулять было не на что, «песни и пляски» оборвались, почва, *пусть и чужая,* уходила из-под ног. В городе сделалось тоскливо и скучно: жить в нем как-то сразу стало нечем и незачем, это был уже *другой* Берлин. Книгоиздательская деятельность дышала на ладан, для многих литераторов существование стало зыбким и неустойчивым, и они стали разъезжаться: Цветаева и Ратгауз[30] уехали в Чехословакию, философы Франк и Бердяев — во Францию. Некоторые возвращались в Советскую Россию.

Среди возвращенцев одним из самых примечательных и известных был Виктор Шкловский.

Придется лгать (человек ко всему привыкает)

В свое время он говорил: «Искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города»[31]. Но теория расходилась с жизнью, главный теоретик ОПОЯЗа[32] революцию не только не принял, но и боролся с ней с оружием в руках: в 1918 году примкнул к направленному против советской власти вооруженному мятежу, устроенному правыми эсерами. Правда, уже в конце года он решил отказаться от вооруженной борьбы и любой политической деятельности, забыть и о своем участии в работе первого Петроградского совета, и о посте помощника комиссара Временного правительства, и о Георгиевском кресте, врученном ему за храбрость генералом Лавром Корниловым.

Эсеров не устраивали ни Колчак, ни большевики. Нужно было выбирать и идти на компромисс. Выбрали большевиков. Тем более что партия была амнистирована новой властью. Правда, ненадолго. Новая власть своих идейных врагов не забывала.

И всегда добивала.

В 1922 году начались первые аресты и подготовка к первому показательному процессу над правыми эсерами. Шкловский бы продолжал работать, ему ничего больше не надо было, но в том же 1922-м в Берлине вышла книга его бывшего товарища Г. Семенова (Васильева) «Боевая и военная работа партии социалистов-революционеров 1918–1919 гг.», который откровенно рассказал о деятельности своих однопартийцев по свержению советской власти.

В книге было много и о Шкловском.

Этого «много» хватило бы для ареста.

---

[30] Ратгауз Даниил Максимович (1868—1937) — поэт, автор нескольких известных романсов.

[31] Шкловскій В. Ход коня: Сборник статей. М.; Берлин: Геликонъ, 1923. С. 39.

[32] ОПОЯЗ — Общество по изучению поэтического языка, в которое входили Борис Томашевский, Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум и др. литературоведы и лингвисты. Одним из его создателей и идеологом был Виктор Шкловский.

...Он уходил в эмиграцию по тонкому льду Финского залива. Кое-где сквозь мартовский лед проступала вода. Он осторожно огибал гиблые места, мечтая добраться до берега. Из Финляндии перебрался в Германию. В Германии было холодно, голодно и мучила тоска. Все, что он любил — жену, друзей, ОПОЯЗ, — он оставил в России.

Ничего не оставалось делать, как писать письма Горькому: сообщить ему о грянувшем громе, о том, что пока избежал судьбы Гумилева, посетовать, что не знает, как будет жить без родины, а затем, в более поздних письмах жаловаться на безденежье и одиночество... и отчаянно завидовать Эренбургу, у которого был паспорт.

В Берлине он начал писать книги. Впрочем, Шкловский делал это всю жизнь. О том, что он пережил с 1917-го по 1922 год, он расскажет в «Сентиментальном путешествии»[33]. Умолчал больше, чем рассказал; факты биографии — жизнь в подполье, преследования, побеги и переходы границы — становились фактами литературы; книга была похожа на авантюрный роман. Однако о своем реальном участии в антисоветском заговоре, явках и именах Шкловский рассказывает мало, становясь в позу скромной девицы, только-только окончившей гимназию и ни в чем таком не замеченной.

А потом он взялся за «Zoo письма о нелюбви, *или* Третья Элоиза», которую через год издаст все в том же издательстве «Геликонъ». Женщину, которую он любил, была сестра Лили Брик — в будущем французская писательница Эльза Триоле.

Он писал ей обо всем на свете: о Велимире Хлебникове и Алексее Ремизове, о холоде и жестокости нелюбящих, о принципе относительности и немце с кольцами в ушах, встреченном где-то на улицах.

Последнее письмо в «Zoo», в котором он признал, что революция переродила его, что в Берлине ему нечем дышать, что он поднимает руку и сдается, он адресовал во ВЦИК.

Это было тридцатое письмо, им и заканчивалась эта берлинская книга.

Он написал тем, от которых когда-то бежал.

Тем, с кем некогда боролся с оружием в руках.

Он поднял руки и сдался.

Для большевиков (ВЦИК) это были «романтические слезы».

Но его пустили. Еще один переродившийся, раскаивающийся, сдавшийся и сложивший оружие перед советской властью *интеллигент* (здесь и далее курсив мой. — *Г. Е.*), какими бы мотивами он ни руководствовался, было хоть небольшой, но *победой новой власти*.

Бывший эсер Виктор Шкловский прекрасно знал, *куда и к кому* он возвращается и *что* его ждет на родине.

Когда прошение о прощении было удовлетворено, в письме Горькому от 15 сентября 1923 года он, сознавая, что придется делать в новой реальности, написал:

«А я уезжаю. Придется лгать, Алексей Максимович.

Я знаю, придется лгать.

Не жду ничего хорошего»[34].

Хорошего на родине действительно было мало. Но у него не отобрали возможность писать. А писать для него означало жить.

На родине.

Теперь она называлась СССР.

---

[33] Шкловскій В. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. 1917—1922. М.; Берлин: Геликонъ, 1923.

[34] Шкловский В. Б. Письма М. Горькому (1917—1923 гг.) // Примечания и подготовка текста А. Ю. Галушкина. De Visu. 1993. № 1. С. 40.

К этому нужно было привыкнуть.
Он привыкал трудно.
Но в конце концов — привык.
Человек ко всему привыкает.

Вкус пепла (выбор Ходасевича)

В том же 1923 году перед выбором — оставаться в Берлине или возвращаться в Россию — стояли Ходасевичи.

Большевики прервали связь времен и нарушили естественный ход исторического развития России. Это было и преступлением, и ошибкой. К этой мысли он пришел не сразу, а исподволь, в 1926 году, а в 1917-м, как и некоторые другие интеллигенты, впал в соблазн и искушение и искренне поверил, что революция всего лишь лихорадка, которая пойдет на пользу России.

Революция оказалась не насморком, не лихорадкой, как он думал, а тяжкой «пляской святого Витта». А обещанный коммунистами «рай» — сущим адом, в котором не то что жить, существовать было невозможно.

Несмотря ни на что, он продолжал идти своим путем[35] — тянул тяжкую житейскую и литературную лямку. В первые послереволюционные годы служил в Театрально-музыкальной секции Московского совета, читал в Пролеткульте лекции о Пушкине и создавал писательскую Книжную лавку.

Через целую жизнь, в 1983 году, Нина Берберова вспоминала, что в апреле 1922-го Ходасевич сказал ей, что перед ними сейчас две задачи: быть вместе и уцелеть. Быть вместе и уцелеть можно было только за границей. Вкус пепла, который он чувствовал последнее время, становился все более нестерпимым, произвол, насилие и хамство терпеть больше не было сил. И тогда оба сделали свой выбор: он выбрал Европу, она — его.

И оба спасли друг друга.

«...Мне хочется сойти с ума» (европейская ночь)

В июне 1922-го они выехали в Берлин. Прожив год в немецкой столице, колебались в выборе: не хотели ни возвращаться в Россию, ни окончательно рвать с ней, но и оставаться в Германии не имело смысла, ближайшее будущее не то, что не просматривалось, даже не брезжилось. Оба понимали, что рано или поздно придется уезжать, но — куда? Он отдавал себе отчет в том, что на родине делать нечего. Оставались Париж, Прага, Венеция. Но Париж был дорог, Прага провинциальна, и он выбрал Италию. Поближе к дешевизне, подальше от поднадоевших соотечественников.

Итальянцы визы не дали, и они поехали в нелюбимую Прагу — там пытались обустроиться философ Николай Лосский и лингвист Роман Якобсон. Вскоре Ходасевичей пригласил к себе Горький. Они с радостью приняли предложение и уехали в Мариенбад. В Мариенбаде были глушь, тоска, снег. Жизнь текла однообразно и моно-

[35] Всю сознательную жизнь Ходасевич придерживался одной теории: все живое идет путем зерна. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода», — благовествовал Иоанн в своем Евангелии. «Так и душа моя идет путем зерна: /Сойдя во мрак, умрет — и оживет она», — вторил он вслед за евангелистом в своих стихах.

тонно. Днем работа, вечером чаи и разговоры с Горьким. Стихи не писались, он ходил злой, мрачный.

Итальянцы вдруг передумали и дали визу, они отправились в Венецию. Она была все такой же прекрасной, воздушной и легкой, как и в 1911 году, когда он впервые побывал в этом городе, сотканном из неба, камней и воды. Но Мариенбад, Прага, Венеция красиво звучали — переезды из страны в страну, из города в город тяготили, выбивали из колеи, привычного ритма, и он ощущал неодолимую потребность пристать к одному, пусть чужому, но берегу. И вскоре после европейских скитаний (еще и Дублин, и Сорренто), в апреле 1925-го, Ходасевич и Берберова уехали в Париж. Во Франции иллюзии в отношении большевиков и «строительства новой жизни» кончились. Он резко выступил не только против призывов к терпимости и сотрудничеству с советской властью, но и напрочь отверг саму идею возвращения на родину, которая живо обсуждалась в эмигрантских кругах. После этого с Советской Россией было покончено навсегда.

«Какая тьма, однако» (Дант в аду)

Немцы вошли в Париж в июне 1940-го.

Дмитрию Мережковскому останется жить чуть больше года, Зинаиде Гиппиус — пять лет.

Но что это были за годы. Многие русские успели (кто куда) выехать из Франции. Мережковские остались. В дневник она записала: «Я едва живу от тяжести происходящего. Париж, занятый немцами... неужели я это пишу»[36]. Через две недели гитлеровцы уже были в Биаррице. «О, какой кошмар! — восклицает она. — Покрытые черной копотью, выскочили из ада в неистовом количестве с грохотом, в таких же черных, закоптелых машинах... Почти нельзя вынести». Но они вынесли и это. Как и сумели пережить в августе смерть Философова.

Но беды продолжали валиться одна за другой. Они боролись с навалившейся старостью, с болезнями — возникли перебои с лекарствами, с голодом — порою вся еда их состояла из кофе и черствого хлеба, с холодом — не было угля, чтобы согреть дом, с безденежьем — французские издатели с приходом немцев перестали платить, о заграничных не заходило и речи. Вспоминался Петроград 1917 года. В Париже 1940-го было хуже.

Что оставалось?

Друзья, которые помогали, чем могли.

Работа, которая спасала от уныния.

...Дмитрий Мережковский ушел из жизни 7 декабря 1941-го. Он редко болел, продолжал много писать и умер внезапно. А она все время боялась за него — и добоялась.

После смерти мужа замкнулась в себе, свидетельствует верный Владимир Злобин (остававшийся с нею до ее последнего часа), и даже помышляла о самоубийстве — только «остаток религиозности» удерживал ее от самовольного ухода. Но — «жить мне *нечем* и *не для чего*»[37], — записывает она в дневник. И все же она нашла в себе силы и продолжала жить. Утраты продолжались: в ноябре 1942 года не стало сестры Аси. В дневнике появляется запись: «С того дня в ноябре, когда умерла Ася, я каждый час чувствую себя все более оторванной от плоти мира (от матери)»[38].

---

[36] Злобин В. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970. С. 122.

[37] Там же. С.130.

[38] Там же. С. 131.

Зинаида Николаевна пережила мужа на пять лет, успев начать книгу о нем («Дмитрий Мережковский»), но не успела закончить. Когда она начинала работу, она понимала, что его уход (как, впрочем, и ее самой) не за горами. Поэтому надо было спешить. После смерти Д. С. она могла воскресить его только в слове. Это единственное, что у нее осталось. Но судьба распорядилась иначе...

«На З. Н. в церкви на отпевании (Мережковского. — *Г. Е.*) было страшно смотреть: белая, мертвая, с подгибающимися ногами. Рядом с ней стоял Злобин, широкий, сильный. Он поддерживал ее, — вспоминала Нина Берберова. — После его смерти она словно закаменела»[39].

В сентябре 1943-го на русском кладбище в Сен-Женьев-де-Буа открывали памятник Д. С. Мережковскому. За эти несколько лет Зинаида Николаевна превратилась совсем в старуху, черты лица ее обострились, кожа стала сухой и прозрачной. Ей помогали жить стихи.

Стихи она начала сочинять в семилетнем возрасте. В первом она писала:

Давно печали я не знаю
И слез давно уже не лью.
Я никому не помогаю,
Да никого и не люблю...

В последнем:

Я на единой мысли сужен,
Смотрю в сверкающую тьму,
И мне давно никто не нужен,
Как я не нужен никому.

Она прошла «чистилище» и все отпущенные ей жизнью круги «рая» и «ада». И осталась Гиппиус, все с тем же мужским «Я», со своим отношением к людям, к миру.

В последнее время она работала над поэмой «Последний круг (И новый Дант в аду)»[40]. Ее личная «божественная комедия» подходила к концу — в поэме она подводила ее итоги.

«Незадолго до смерти у нее вырывается крик: „Но мне все равно теперь. Я только и хочу — уйти; уйти, не видеть, не слышать, забыть...“»[41] Свидетелем был Владимир Злобин, остававшийся с нею до ее последнего часа.

Она умерла сухой парижской осенью 9 сентября 1945 года и была похоронена на русском кладбище, где покоилось тело ее мужа, с которым она прожила такую долгую жизнь и без которого все в ее жизни стало терять свой смысл...

«Господи! Пошли твоих лучших ангелов...» (молитва Тэффи)

На сотрудничество с коллаборационистским режимом Виши она не пошла, мужественно преодолевала знакомый ей по России холод и голод и расползавшийся по швам налаженный быт. Переживала, что печататься было негде: при немцах русские газе-

[39] Берберова. Н. Там же. С. 473—474.

[40] Возрождение. 1968. № 198. С. 7—47. Публикация Тамары Пахмусс.

[41] Злобин В. Там же. С. 132.

ты и журналы закрылись, книги не выходили. Годы и здоровье были уже не те, и когда стало совсем невмоготу, уехала не за океан, в Соединенные Штаты, куда бежали многие русские, а к океану, в Биарриц, куда перебрались немногие из оставшихся соотечественников. И замолчала. Может быть, поэтому в 1943 году по русской Америке и разнесся слух: Тэффи умерла. В него поверил даже всегда во всем сомневавшийся Михаил Цетлин, поэт Амари, который напечатал некролог в нью-йоркском «Новом журнале»: «О Тэффи будет жить легенда как об одной из остроумнейших женщин нашего времени»[42]. Узнав, что ее похоронили заживо, она в одном из писем к дочери отшутилась, что с любопытством бы прочитала о себе некролог — может быть, он такой, что и умирать не стоит. А в другом с тем же присущим ей не только литературным, но и житейским юмором обронила, что недавно вернулась с кладбища, где была не в качестве покойницы, а навещала мужа.

Когда летом 1944-го Франция освободилась от оккупации, было радостно, но радость омрачали годы. Старость обрушилась на нее неожиданно, как грабитель с ножом, который нападает на свою жертву, зазевавшуюся в темном переулке. Вместе со старостью пришли болезни. Сдавало сердце, она стала плохо видеть, нервы были напряжены. Жизнь болталась за спиной, как заплечный мешок, в котором было перемешано все: рождения и смерти близких людей, литературные дружбы и человеческие размолвки, встречи и расставания, и в последнее время состояла из одних неприятностей. Неприятности, связанные с трудным послевоенным бытом, нехваткой денег и лекарств, сыпались на нее одна за другой и образовывали цепь. Она пыталась эту цепь разорвать, но ничего не получалось: она вступала в смертный возраст — жизнь могла оборваться вчера, сегодня, завтра — и была похожа на высохшее, осеннее, обезлиственшее дерево, которое раскачивает ветер, с него не только облетела листва, но уже были подрублены корни.

Не было сил работать, слова отказывались складываться во фразы, в голове вертелись мысли об уходе, о том, что там, за порогом. А на пороге стояла смерть и с немым укором вопрошала: «Когда?» Бесстрастная старуха с косой уже вышибла из ее поколения тех, кого она любила, с кем дружила и входила в литературу. В 1943 году ушел редактор «Современных записок» Илья Фондаминский, в 1947-м — поэт-сатирик Лоло Мунштейн, в 1950-м — прозаик Борис Пантелеймонов. Еще работали Иван Бунин, Алексей Ремизов, Сергей Горный, но и им уже оставались считаные годы.

Старость — это одиночество, болезни, тоска. Когда зимой в жилах стынет кровь, а летом холодеют руки и ноги. Когда еще чего-то хочешь, но уже ничего не можешь. Но она не жаловалась, принимала мир таким, как он есть. Понимала, что в жизни есть много выходов, из жизни — один. И продолжала жить, как жила, с большим важным котом и тяжким удушьем, в доме № 59 на рю Буассьер, в небольшой квартирке, сплошь заставленной книгами, на крошечную пенсию, которую по договоренности с ее другом Андреем Седых выплачивал миллионер и филантроп С. С. Атран[43]. Небольшие деньги помогали выжить, не идти на паперть с протянутой рукой. Да она бы скорее умерла со стыда, чем позволила себе такое унижение. Когда Седых из Америки добавлял к пенсиону собственные деньги, призывала его этого не делать, просила любить даром.

Над диваном висел ее портрет, который напоминал о безвозвратно ушедшей молодости. Изредка приходили гости. Тогда кот с ленцой снимался с насиженного места и с недоверием обнюхивал пришедших.

---

[42] Новый журнал. Нью-Йорк. 1943. № 6. С. 384—386.

[43] Новый журнал. Нью-Йорк. 2000. № 3.

Однажды приехала миллионерша из Сан-Франциско. Нашла, что она живет неплохо. Советовалась, купить ли маленькую авиэтку — но в ней качает, или большой самолет — но им трудно управлять. Она посоветовала большой — какие-нибудь десять миллионов разницы не составляют.

Во второй половине 1951 года болезни одолели настолько, что уже не могла заработать пером. Атран умер, вместе с ним умерла и пенсия. Незадолго до своего ухода успела опубликовать в Нью-Йорке свою последнюю книгу «Земная радуга»[44]. В рассказе «Проблеск» писала: «Наши дни нехорошие, больные, злобные, а чтобы говорить о них, нужно быть или проповедником, или человеком, которого столкнули с шестого этажа, и он, в последнем ужасе, перепутав все слова, орет на лету благим матом: „Да здравствует жизнь!“» В книге исповедовалась перед собою и читателями. Прощалась светло и мудро с теми, кто еще оставался жить на этой грешной земле. И обращалась к Богу с молитвой: «Когда я буду умирать... Господи, пошли лучших Твоих Ангелов взять мою душу».

Ангелы пришли за ее душой 6 октября 1952 года. В Париже стояла вся в красно-желтых тонах, теплая, солнечная осень. 8 октября ее отпели в Александро-Невском соборе и похоронили на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

В 1923 году она написала:

Он ночью приплывет на черных парусах,
Серебряный корабль с пурпуровой каймою!
Но люди не поймут, что он приплыл за мною,
И скажут: «Вот луна играет на волнах...»

Как черный серафим три парные крыла,
Он вскинет паруса над звездной тишиною!
Но люди не поймут, что он уплыл со мною,
И скажут: «Вот она сегодня умерла...»

Через 29 лет это стихотворение перед отверстой могилой прочитал ее друг, бывший меньшевик Григорий Алексинский.

«Нет в жизни ничего святее и ужаснее прощанья...» (последний приют)

В Париже Ходасевич резко выступил не только против призыва Кусковой к терпимости и сотрудничеству с советской властью, но и напрочь отверг саму идею возвращения на родину, которая живо обсуждалась в эмигрантских кругах. «Россию, — писал он, — мы любим и без наставлений Кусковой, а большевиков любить нельзя». И продолжал: «Помочь русскому народу, работая с большевиками, нельзя, ибо они сами „работают“ ему во вред. Всякое сотрудничество с Советской властью — по существу направлено ПРОТИВ русского народа. Всякая поддержка большевиков есть поддержка мучителей этого народа»[45]. Еще в 1923-м он понял, что ждать от людей, желающих сде-

[44] Тэффи Н. Земная радуга. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1952.

[45] Идейный противник советской власти, один из организаторов и руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим. Екатерина Дмитриевна Кускова (1869—1958), высланная за границу в 1922 году, убеждала эмигрантов в самоочищении большевистского режима и призывала к поиску достойных путей возвращения на родину. Ходасевич резко выступал против такой позиции, в частно-

лать политическую и социальную революцию без революции духа, нечего. Он ждал — по глупости, теперь поумнел и в 1926-м пытался предостеречь других от еще более глупых глупостей — возвращение в лучшем случае грозило лагерем. Кроме того, уехать для него сейчас означало стать подлецом. Вопрос «возвращаться или нет» из области политики и самосохранения переходил в область морали. Он подлецом никогда не был и становиться им не собирался.

И остался в Париже.

Он выбирал между молотом и наковальней и выбрал — судьбу эмигранта. На родине о нем уже давно писали гадости, называли «вчерашним прихлебателем покойного Дома Искусств, бывшим лектором для литературных кружков, ныне певцом реакции и самодержавия», в типично советском подзаборном духе обзывали «черносотенцем и негодяем», ругали «мистиком и индивидуалистом». Но и на чужбине он чувствовал себя не лучше — в эмигрантской среде был скорее парией, отверженным, изгоем, нежели своим. Всегда исповедовал пушкинское: «Ты — царь. Живи один». Мало с кем дружил, но почти ни с кем и не ссорился. Его русский Париж был невелик: Зайцев, Осоргин, Ремизов, еще двойка-тройка знакомых по Москве и Петрограду. Бунин, Куприн, Мережковские были «вне него и вне себя от него».

Его общественная и литературная позиция вызывала резкую критику и «справа», и «слева», он фактически лишился работы, а значит, и средств к существованию, потому что не устраивал никаких платных вечеров, не получал никаких пособий от иностранных правительств и не пользовался помощью фондов, помогавших русским беженцам. В 1926 году он разошелся с керенскими «Днями»[46], в том же году ему перекрыли кислород «Последние новости» Милюкова[47]. Для обоих изданий он писал не только литературные обзоры, но и политические статьи. Его привечали, хотя и побаивались в «Современных записках», но журнал не мог дать более-менее регулярный заработок. В обстоятельствах исключительно тяжелых и постоянно стесненных однажды не выдержал, пришел к Вишняку[48], худой и бледный, и объявил, что решил кончать с такой жизнью. Кончать с такой жизнью означало кончать с собой. Свести счеты с жизнью он порывался давно, это сидело в нем глубоко с ранних лет, прорывалось, когда не было мочи терпеть и переносить земное существование, в стихах, таких, как «Из дневника», в 1921-м: «Мне каждый звук терзает слух, / И каждый луч глазам несносен». (Позже на экземпляре сборника, вышедшего в 1927 году в Париже, сделает помету: «Я был в ужасном состоянии. Хотел бежать из России, покончить с собой».)

Но ни тогда в Петрограде, ни сейчас в Париже на этот шаг не пошел. В России удержала мысль, что еще не все кончено, во Франции — ответственность перед Ниной. Он продолжал «кричать и биться» в этом мире, обдирая о его острые углы больное тело и истерзанную душу. Но постоянно был на грани. Особенно в Париже. Ощущал себя зерном, брошенным в другую почву. Зерно проросло, но росток не прижился. Нина боялась надолго оставлять его одного: мог выброситься из окна, открыть газ, сделать

сти, в письме от 7 апреля 1926 года к историку, бывшему эсеру М. М. Карповичу. См.: Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Некрополь. Воспоминания. Письма. М.: Согласие, 1997. С. 498.

[46] Дни — газета, которую издавал бывший глава Временного правительства А. Ф. Керенский. В 1921—1925 годах выходила в Берлине. С 1925-го по 1933 год в Париже. В «Днях» публиковались статьи о политике, экономике и литературе.

[47] Последние новости — газета, которую редактировал бывший член Государственной думы, лидер кадетской партии П. Н. Милюков. Выходила в Париже в 1920—1940 годах.

[48] Вишняк Марк Вениаминович (1883—1976) — эсер, в эмиграции один из редакторов русского «толстого» журнала «Современные записки», выходившего в Париже с 1920-го по 1940 год. С 1937 года участвовал в редактировании журнала «Русские записки», руководимого П. Милюковым.

что угодно. Жизнь все меньше радовала его. Спасала работа. Не газетная поденщина в «Возрождении»[49], где он обрел пристанище после ухода из «Дней», после разрыва с «Новостями», а стихи, биография Державина[50], воспоминания о тех, кто ушел, с кем когда-то, в другой жизни, был знаком, близок, дружен. Стихи были чисты и прозрачны, как ключевая вода, дышали мудростью и всеведением и оттого немного горчили. Биография Державина читалась как классический роман-судьба, «Некрополь»[51] воспринимался как прощание с веком, эпохой, самим собой...

Нина ушла от него в апреле 1932-го. Ее уход он воспринял как крушение всей своей жизни. Цепляться больше было не за что. В июне он заболел и поставил крест на работе о Пушкине и на стихах. Нине, с которой сохранил родственные отношения, написал: «Теперь и на этом, как и на стихах, я поставил крест. Теперь нет у меня *ничего*»[52].

Он разочаровался в эмигрантской литературе, считал, что она могла состояться, но не состоялась — были отдельные произведения Бунина, Ремизова, Набокова, литературы не было. Когда-то он думал, что эмиграция хочет бороться с большевиками — но она не хотела. Когда-то он думал, что эмиграция хочет делать литературу — она не хотела или не могла. Степун был прав: память о России все более подменялась воспоминаниями о ней. И тогда он сказал себе: хватит — и решил жить и писать только для себя, полагая, что «одно хорошее стихотворение НУЖНЕЕ Господу и угоднее, чем 365 (или 366) заседаний „Зеленой лампы“»[53]. Но после ухода Нины стихи были редкими гостями в его доме. Он остался один, и ему ничего не оставалось, как погибнуть. В 1933 году в «Возрождении», в статье «Литература в изгнании» обобщил: «Судьба русского писателя — гибнуть. Гибель подстерегает их и на той чужбине, где мечтали они укрыться от гибели».

Наполовину поляк, наполовину еврей, русский поэт Владислав Ходасевич, не приходя в сознание, умер в парижском городском госпитале Бруссе в шесть часов утра, в среду, 14 июня 1939 года.

С ним прощались трижды: на панихиде, при отпевании и на кладбище. В 1934-м он написал стихи:

В последний раз зову Тебя: явись
На пиршество ночного вдохновенья.

В последний раз: восхить меня в ту высь,
Откуда открывается паденье.

В последний раз! Нет в жизни ничего
Святее и ужаснее прощанья.

Оно есть агнец сердца моего,
Влекомый на закланье.

---

[49] «Возрождение» — старейшая ежедневная газета на русском языке, выходившая в Париже с 1925 года. В «Возрождении» Ходасевич постоянно вел литературно-критический подвал «Книги и люди», затем вместе с Берберовой раздел «Литературная летопись».

[50] Ходасевичъ В. Державинъ. Париж: Современные записки, 1931.

[51] Ходасевичъ В. Некрополь. Воспоминания. Bruxelles: Les éd. Petropolis, 1939.

[52] Письма В. Ходасевича к Н. Берберовой. Публикация Д. Бетеа. Минувшее. Исторический альманах № 5. Atheneum. Paris. С. 285.

[53] Письмо Ходасевича В. Вишняку от 2 апреля 1926 г. См.: Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Некрополь. Воспоминания. Письма. М.: Согласие, 1997. С. 498.

В нем прошлое возлюблено опять
С уже нечеловеческою силой.

Так пред расстрелом сын объемлет мать
Над общей их могилой.

Стихи оказались пророческими. Были и святость, и ужас. Было высоко, торжественно и тихо...

Его хоронили по католическому обряду. В крошечной часовне при больнице, в присутствии самых близких людей отслужили панихиду. Он, холодный и желтый, с заострившимися чертами лица, утопал в цветах. Горели свечи, пахло воском, священник несуетливо и неспешно делал свое привычное дело.

Затем его положили в гроб. Гроб был беден, скромен и неуютен, как и вся его жизнь. Но он наконец-то освободился от телесной оболочки, обрел желанный покой, черты лица расправились, лицо приобрело умиротворенное выражение.

На следующее утро обвитый венками ящик поставили на фургон, он медленно тронулся и покатил в русскую католическую церковь. Его отпели, вынесли из церкви, опять поставили на фургон.

По Бианкурскому кладбищу ладья Харона медленно плыла до могилы на плечах Юрия Мандельштама, Смоленского[54], Вейдле[55] и еще двух-трех самых близких и дорогих его сердцу людей. Могила была неглубокой и узкой. Гроб осторожно опустили в сухую землю, все тот же священник, что служил панихиду, прочел молитву и первым бросил твердый комок вниз. В тишине он глухо ударился о деревянную крышку...

«Лиса в меховом магазине» (под колесами «автобуса»)

Вернувшись в Советскую Россию, из которой он бежал в 1922 году, Шкловский постепенно не только привык к советской власти, но и принял ее методы — *страх и угнетение.*

Может быть, полагал, что в России иначе нельзя?

В 1926-м он написал и издал «Третью фабрику», самую личную, самую откровенную свою книгу. Писал в ней, что видит на сегодняшний день только два пути.

Один — *«уйти, окопаться, зарабатывать деньги нелитературой и дома писать для себя».* Другой — *«пойти описывать жизнь и добровольно искать нового быта и правильного мировоззрения».* Для себя выбрал третий: *«работать в газетах, в журналах... изменяться, скрещиваться с материалом, снова изменяться, скрещиваться с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет литература»*[56].

Дальше шли строки, которые вызвали недоумение у всех, кто его знал:

«Из жизни Пушкина только пуля Дантеса, наверно, не была нужна поэту.

Но страх и угнетение нужны».

И все-таки мучила совесть, и у него хватило смелости признаться: *«Я живу плохо. Живу тускло, как в презервативе... Ночью вижу виноватые сны...»*

---

[54] Смоленский Владимир Владимирович (1901—1961) — поэт первой волны русской эмиграции. Был близок к Ходасевичу, считал его своим учителем.

[55] Вейдле Владимир Васильевич (1895—1973) — историк, культуролог, литературовед.

[56] Здесь и ниже цит. по: Виктор Шкловский. Третья фабрика. Артель писателей «Круг», 1926. С. 81, 84, 85, 93.

Это был не очередной эпатаж неуспокоившегося формалиста, литературная жизнь в СССР тех (да и других) времен действительно напоминала жизнь в этом самом предмете.

Он сделал несколько неверных шагов. Хорошо написал об «Александре Невском», которого вычеркивали из лучших картин Эйзенштейна, и его сценаристе (рука не поднимается написать писателе) Павле Павленко. На Павленко пробы некуда было ставить, одно время он был председателем правления Союза советских писателей, и от него пострадало много достойных людей, в том числе и Мандельштам. В кулуарах Шкловский называл его «Правленко».

Но время требовало компромиссов, и он, имея за плечами ту биографию, что имел, сознательно шел на компромиссы.

В «Третьей книге» сравнил писателя со льном, которого *«дергают из земли, взяв за голову». «Лен, если бы он имел голос, кричал при обработке».*

У него, как у льна, изменился голос.

Но до наступления политических холодов он успеет еще издать книгу «Гамбургский счет»[57].

Годы были еще такие, что еще можно было в предисловии написать:

«Гамбургский счет — чрезвычайно важное понятие.

Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера.

Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.

Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах. Долго, некрасиво и тяжело.

Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться.

Гамбургский счет необходим в литературе.

По гамбургскому счету — Серафимовича и Вересаева нет.

Они не доезжают до города.

В Гамбурге — Булгаков у ковра.

Бабель — легковес.

Горький — сомнителен (часто не в форме).

Хлебников был чемпион».

А когда через несколько лет возьмутся за формалистов, в статье «Памятник научной ошибке, опубликованной в „Литературной газете“»[58], бывший формалист отречется от своих формалистских взглядов, но сделает это по-шкловски: рапповским держимордам, связанным с ОГПУ, простым и понятным языком объяснит, что его тезисы «искусство как прием», «остранение» не являются выпадами против советской власти, а всего лишь спорами ученых меж собой.

И от него отстали — не только простили, но даже взяли в группу идейно безошибочных писателей, которых пригласили проехаться по Беломорканалу, построенному силами заключенных. «Золотые перья» советской литературы должны были подтвердить проводимую партией и правительством политику, что «старого» человека можно перековать и даже выковать в «нового человека» в гиблом месте, сплошь покрытом тюрьмами и лагерями.

Когда на вопрос о самочувствии сопровождающего вежливого чекиста (в любом видел потенциального *клиента*) Шкловский не удержался и неосторожно пошутил: «Как живая лиса в меховом магазине»[59], чекист шутку оценил, улыбнулся и дальше

---

[57] Шкловский В. Гамбургский счет. Издательство писателей в Ленинграде, 1928.

[58] Шкловский В. Памятник научной ошибке // Литературная газета, 27 января 1930.

[59] Так ли ответил Шкловский чекисту или нет, неизвестно — что ответил именно так, он рассказывал своим друзьям.

ходу ей не дал. И в то же время в эпохальном шестисотстраничном коллективном труде советских писателей[60], родившемся после *вдохновляющей* поездки, участвовал в самом большом количестве глав — девять. И рассказывая о написании этой книги, утверждал, что путь, которым идем, единственно правилен, и говорил, что это великий опыт превращения человека.

Слово все больше и больше расходилось с делом.

Правда, он еще пытался сохранить себя как личность и ушел в историческую прозу: стал писать историко-литературную монографию «Чулков и Левшин» (1933), историко-биографические книги «Капитан Федотов» и «Марко Поло» (обе — 1936), в 1939-м выпустил в свет сборник статей «Дневник» и в 1940-м мемуарную книгу «О Маяковском».

Через четыре года, в 1949-м, когда шла борьба с космополитами[61], Константин Симонов, который никогда в антисемитизме замечен не был, выступил с утверждением, что «Гамбургский счет» — буржуазная, враждебная советскому искусству книга.

Насчет буржуазная — не знаю, но что «враждебная» — это один из руководителей советской литературы уловил верно.

Сознательно или по «буржуазному Фрейду» повторялся *Kunststück* 1930 года. Но за книгу, написанную *двадцать лет назад,* сажать было не просто бессмысленно, а по-дурацки глупо, и Симонов, затеявший эту кампанию, *дураком* выглядеть не хотел и быстро все осознал — Шкловского потрепали на разных собраниях и оставили в покое.

В 1958 году он и Илья Сельвинский отдыхали в Ялте.

Узнав, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, Сельвинский отправил новому лауреату поздравительную телеграмму. Но после статьи «Провокационная вылазка международной реакции», появившейся 25 октября в «Литературной газете», вместе со Шкловским отправился в местную «Курортную газету», чтобы присоединить свои голоса к всенародному осуждению. Провинциальная ялтинская газета с радостью приветила москвичей — напечатала отчет[62] и фотографию (вместе с видным советским поэтом и знаменитым прозаиком и литературоведом пришли мелкие литературные функционеры Б. Дьяков и Б. Евгеньев, в это же время пребывавшие в Ялте). Каждый говорил о своем — нас интересует Шкловский, в расстрельные времена не боявшийся помогать Мандельштаму. Он сказал, что Пастернак выслушивал критику своего «Доктора Живаго», что она похожа на правду, и тут же отверг сказанное: «Книга его не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе, в том, куда идет развитие советской жизни, в том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился».

Шкловский прекрасно понимал, кто такой Пастернак в советской, да и в мировой литературе.

На него, прошедшего огонь, воду и медные трубы, никто не давил, чтобы он присоединился к тем, которым в 20-х вряд ли подал руку.

---

[60] Среди участников этой «показательной» экскурсии, кроме Шкловского, были А. Толстой, Леонов, Катаев, Ильф и Петров, Инбер, Шагинян и еще несколько человек.

[61] Читай: с евреями (эдакий советский эвфмеизм, к которому часто прибегали в те и последующие после смерти Сталина годы), как писали тогдашние газеты, «окопавшимися в литературе и искусстве». Очевидно, Шкловский угодил под кампанию потому, что его отец был еврей родом из Умани, а бабушка — автором книги мемуаров на идиш.

[62] Курортная газета. 31 октября 1958.

Ему, беспартийному, ничто не могло угрожать. Однако сорок лет страха и угнетения настолько въелись в кровь и плоть, что он решил быть правее «папы»[63]. Но, говорил он, жизнь — как Россия, здесь нет дороги, только направление, и каждый ищет дорогу сам.

Лидия Чуковская, как могла, сухо и внеэмоционально, не оценивая, изложила то, что произошло в редакции «Курортной газеты»[64].

Вениамин Каверин обвинил своего старого учителя и товарища не просто в страхе, а в *«рабском страхе»* и поставил диагноз: *«распад личности»*[65].

Когда-то Виктор Шкловский написал:

«Нет, говорят, в Отечестве пророка...

Видел карточку (кажется) К. Федина.

Он сидит за столом между статуэтками Толстого и Гоголя.

Сидит — привыкает»[66].

Он хотел быть пророком. Хотя бы в той области, которой занимался. Но карточки, подобной фединской, у него не было...

В сумрачный зимний денек 5 декабря 1984 года бывший эмигрант, прощенный советской властью писатель и литературовед, ученый и критик, киновед и киносценарист, угомонившийся скандалист, формалист и некогда возмутитель спокойствия, тихий и недвижимый, лежал на голой сцене ЦДЛ.

Холодный широкий помертвевший лоб отсвечивал посреди затененного зала.

Сквозь маску смерти просвечивала «улыбка Будды»[67].

Так, с этой улыбкой он и прожил всю жизнь.

...На следующее утро в Москве пошел снег, замороженное солнце быстро скрылось за серыми, накрывшими столицу облаками, горожане, как всегда, суетились по своим делам.

Но все это теперь его не касалось.

Его теперь ничего не касалось...

По «Гамбургскому счету» — в литературе: он *был чемпион.*

Про «жизнь» — судить не берусь[68].

Но разрыв был налицо.

Виктор Шкловский, «скандалист с Васильевского острова», как называл его Каверин, всю свою сознательную жизнь прожил под «советским автобусом» — не так, как хотел, а так, как прожил.

И с молодых лет усвоил, что *«когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости»*[69].

---

[63] Люблю Шкловского-писателя и не принимаю поведение Шкловского-человека, понимаю, почему он себя вел так или иначе в той или иной ситуации — в 30-х как и чем мог помогал Мандельштаму, в 50-х продудел в одну дудку с гонителями Пастернака.

[64] Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М.: Согласие, 1997. Т. 2. С. 742.

[65] Каверин В. Эпилог. М.: Московский рабочий, 1989. С. 370.

[66] Шкловский В. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990. С. 336.

[67] Об «улыбке Будды», которой будто бы всегда улыбался Шкловский, написал критик Бенедикт Сарнов в предисловии к книге «Сентиментальное путешествие» (М.: Новости, 1990. С. 15). Может быть, именно в этом — не в улыбке Будды, а буддийском отношении к жизни — и кроется разгадка феномена явления Виктор Шкловский?

[68] Люблю Шкловского. Уточню: писателя. Не принимаю поведение Шкловского-человека. Хотя понимаю, почему он себя вел так или иначе в той или иной ситуации — в 1930-х как и чем мог помогал Мандельштаму, в 1950-х поддержал гонителей Пастернака.

[69] Цит. по: Березин Виктор. Виктор Шкловский. Молодая гвардия, 2014. С. 152. — (ЖЗЛ).

Шкловский мог бы выбрать *эмиграцию и свободу,* как его друг Роман Якобсон.

Но он выбрал *родину и несвободу.*

И поэтому приходилось идти на компромиссы с собственной совестью — и время от времени уступать *«автобусу»*.

P. S. Чужие берега

После 35 лет пребывания в эмиграции Владимир Набоков найдет точные и емкие слова для определения эмиграции — другие берега. Книга — художественная автобиография — под таким названием выйдет в 1954 году в Нью-Йорке в Издательстве имени Чехова. В 1988 году в Советском Союзе ее опубликует журнал «Дружба народов» (№ 5—6). Отдельным изданием выйдет в издательстве «Книжная палата» в 1989 году.

Но «другими» берега оказались не для всех — о тех, о которых пишу, как и для многих других писателей-эмигрантов, так и не овладевших в отличие от Набокова другим языком и не сумевших писать ни на каком ином языке как на своем родном (это вовсе не в укор автору великого романа «Приглашение на казнь» — разные писатели, разное писательское вещество), берега оказались не столь *другими,* сколь *чужими*.

Мережковские, Тэффи и Ходасевич, не вступавшие ни в России, ни на Западе ни в какие партии, так на *этих* берегах и остались, очевидно не желая идти на компромиссы и — в лучшем случае — уступать «автобусу», в худшем — погибнуть под его колесами.

Бывший участник «эсеровского заговора» против большевистской власти Виктор Шкловский — вернулся. И прожил жизнь так, как прожил.

Книжный остров

Анатолий Вершинский. Апостолы Победы. СПб.: Алетейя, 2024. — 104 с.: ил.

Анатолий Вершинский (1953 г. р.) — поэт, переводчик, историк, автор шести поэтических сборников, книг «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский» и «Всеволод из рода Мономаха. Византийские уроки Владимирской Руси». Для его поэтического творчества характерно жанрово-стилевое многообразие: стремительные экскурсы в историю, бытовые сценки и философские притчи, любовная лирика и стихотворная публицистика — от лирической миниатюры до эпического повествования. В сборнике «Апостолы Победы» представлена в первую очередь лирика гражданская. Книга построена как хроника событий на землях Украины, а вернее, исторической Южной Руси — Донбасса и Новороссии — начиная с 2014 года до дня нынешнего. Эта современная хроника у историка Вершинского является частью единого временно-пространственного бытия. В 2014 году органично его обращение к равноапостольной княгине Ольге, апостолу Андрею и свв. Кириллу и Мефодию (памятник которым находится на Михайловской площади в Киеве) с просьбой молить Бога о нас, что «сцепились у края пропасти — / не выпасть из мертвой сцепки: / даже перекреститься не сможем в последний час». В этом же году он призывает «вежливых командоров» — дунайского героя Дерибаса, архитектора Одессы Ф. Деволана, Г. Потемкина и П. Зубова — встать на защиту памятника Екатерине II в Одессе. И предупреждает «хлопцев», вошедших во властные коридоры: «...уж не будите лихо, одумайтесь, пока

не упущен шанс». А. Вершинский погружается в глубокую древность, давая стихотворный перевод клятвы гражданина Херсонеса, запечатленной на древнегреческой мемориальной стеле, переосмысливает ее в приложении к сегодняшним реалиям: «В русских водах не омыть сапог / войску, верному чужому стягу. / Выучили русы назубок / двухтысячелетнюю присягу». Он обосновывает историческое право русских на свои исторические земли: «Здесь начат — с корсунской купели — / крещальный путь родной земли.../ Мы лишь свое себе вернули. / И вновь терять не дураки» («Крымское право»). Он проводит параллели между тем, что, согласно преданию, сохраненному иноками Киево-Печерской и Почаевской лавры, случилось близ села Демидово под Киевом в 1926 году — явлением Спасителя двум мальчикам — и днем сегодняшним: между церковным нестроением столетней давности и нынешним расколом Украины. В своих стихах поэт обращается к Одессе, преданной позабывшими срам и славу дедов упырями, и к многоярусному городу Севастополю, в котором никогда не умирала память об уснувших смертным сном воинах.

Его стихи 2023 года горько актуальны:

«...лети, лети лепесток,
Через запад, на восток...»
...На восток летят лепестки:
в города Донбасса летят.
Усыпают и сад, и луг:
В руки взял — остался без рук.
Наступил — и нету ступни.
Углядев — назад отступи.

«Зло»

******

От Киплинга идет поверье это,
что хищники в засушливое лето
не трогают, придя на водопой,
того, кто век питается травой.
...А вот сюжет иной: у водовозки
столпились люди — женщины, подростки;
безоблачен над ними небосклон,
лишь вьется будто черный ворон, дрон.
....злодей, который хищника лютей:
он женщин убивает и детей.

«Водяное перемирие»

А. Вершинский, сын и внук ветеранов Великой Отечественной войны, рассматривает борьбу с нынешними неонацистами, с их покровителями и пособниками как продолжение героических сражений прошлого за свободу, целостность и независимость Родины.

С этим стягом брали города
ратоборцы Вещего Олега.
Этот стяг запомнила Орда с
Первого отбитого набега.

Это знамя русский и грузин
Водрузили в мае над рейхстагом...
и весной на битву за Донбасс
Русский мир восстал под стягом этим.

«Алый стяг»

Как историк он призывает населяющие Россию народы оборотиться к преданиям пращуров и родовой памяти, к общим духовным истокам.

Европа лезет вон из кожи,
стремясь разъять наш общий стан,
но барсы гербовые схожи
у осетин и псковитян.
И у татар и у хакасов,
на геральдических щитах
мы видим барсов — тех окрасов,
какие помнят в их местах.
У нас — при всех чертах несходных,
стирать которые нельзя, -
у всех народов, братьев сводных,
одна судьба, одна стезя.

«Путь барса»

Стихотворения Вершинского пронизаны православной символикой. Закономерно, что на лицевой обложке российские воины, сражающиеся сегодня в Донбассе и Новороссии, изображены на фоне образа Спасителя, воспроизведенного с иконы «Спас Вседержитель с мечом, усекающим грехи» — современного списка с древней фрески XIV века из сербского монастыря в Косове. Стихотворению «Ратники», открывающему сборник, предпослан эпиграф из Евангелия от Матфея: «...не мир пришел Я принести, но меч...». И ратники, идущие на битву с долин и круч родной державы, из тундры, степи и тайги, по мысли автора, не кто иной, как апостолы Победы. «Они по званию — солдаты. / По духу — витязи они». Столкновение противоборствующих сторон Вершинский возводит на метафизическую высоту.

И наш противник — сатана
В прямом, буквальном смысле...
Но как спастись от сатаны?
Соборною молитвой.
Молитесь, братья и сыны,
Молитесь перед битвой.

«Враг»

Стихи, составившие этот сборник, несомненно публицистичны, и в то же время они очень личные, пропущенные через сердце поэта. Быть может, и потому, что он, уроженец Красноярья, вырос в сибирском селе Семеновка, где жили и русские, и татары, и ссыльные латыши, и более всего — украинцы, и одна из улиц родного села называлась Киевская. Тем больнее, ожогом на сердце, стала судьба другой Семеновки, донецкой, сгоревшей в ракетном урагане. Очень личное — это и нежность к юным бой-

цам, пополняющим Бессмертный полк, и жалость к одураченным громадянам, и вера, что в любых испытаниях силу народ обретал и будет обретать в отчей истории, в отчих традициях, в молитве, в родном языке.

Если бы не было ратных побед,
кем бы себя ощущали сегодня
Пастырь духовный и светский поэт?
Как бы звучала сегодня молитва Господня?
...Равный с поэта и воина спрос:
В общем строю, что по-прежнему тесен, —
Русич Бояна, державинский росс,
Русский солдат из фатьяновских песен.
В слитной шеренге упасть не дадут,
С шага не сбиться помогут в колонне.
Отчая речь — и таран, и редут;
Знамя — в атаке, броня — в обороне.
Приняли б, верно, другой оборот
Битвы: на Воже, в Москве и под Плевной,
если бы силу не черпал народ
В грозной молитве и песне душевной.

«Сподвижники»

Юрий Дрюков. Записки о Времени, названом «Оттепель». «Мастер и Маргарита». Б. м. Издательские решения, 2023. — 44 с.

Документальная повесть о том, как роман, который просто не мог быть напечатан в конце 60-х годов прошлого века, самым невероятным образом пришел к читателям. «Чудо! Это просто чудо!!! Это все шутки Воланда!»Так ли? Юрий Дрюков приводит цитаты из дневников М. и Е. Булгаковых, из воспоминаний, из ядовитых, похожих на доносы критических статей, обличительные справки из советских энциклопедий. Октябрь 1926 года. МХТ ставит «Дни Турбиных», а театр Вахтангова — «Зойкину квартиру». Готовятся к постановке «Бег» и «Багровый остров». Кажется, грандиозный успех... А в Большой Советской Энциклопедии (1927) пишут: «В „Белой гвардии“ и „Днях Турбиных“, изображая белогвардейщину на Украине Булгаков пытается свалить „вину белогвардейства“ на генералитет и др. руководителей движения, изображая рядовых белогвардейцев доблестными и политически честными... В большинстве последних произведений Булгаков использует теневые стороны советской действительности в целях ее дискредитирования и осмеяния». «Дни Турбиных», «Бег» и «Багровый остров» вызвали яростный вой злопыхателей, которые будто соревновались друг перед другом, печатая разгромные статьи типа: «Ударим по булгаковщине»; «Положить конец „Дням Турбиных“»; «Постановка пьесы „Бег“ — это попытка протащить белогвардейскую апологию в советский театр, на советскую сцену, показать написанную посредственным богомазом икону белогвардейских великомучеников советскому зрителю». И все же, несмотря на все попытки запретить якобы по требованию «советской общественности» пьесу «Дни Турбиных», она продолжала идти с неизменным успехом. «Вишенкой на торте» стали некоторые эпизоды, связанные с проведением в Москве «Недели украинской литературы» (1929). В «Правде» публикуется статья «К приезду украинских писателей», в которой особенно подчеркивается, что «кое-кто еще не освободился от великодержавного шовинизма и свысока смотрит на культу-

ру Украины, Белоруссии, Грузии и пр. <...> Наш крупнейший театр (МХАТ I) продолжает ставить пьесу, извращающую украинское революционное движение и оскорбляющую украинцев». Приехавшие в Москву гости настаивают на встрече со Сталиным, и украинским товарищам удалось добиться, чтобы «Дни Турбиных» сняли с репертуара. Булгаков оказался без работы. Его не берут никуда... За сухими фактами в книге Ю. Дрюкова звучат живые голоса прошедшей эпохи. Резкая, безжалостная критика творчества Булгакова в советской прессе 1930-х годов. Полные отчаяния письма Булгакова Правительству СССР с просьбой определить его судьбу — либо дать право эмигрировать, либо предоставить возможность работать во МХАТе. Аналогичное письмо Сталину и совет вождя, данный в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе Сталина: «— Вы где хотите работать? В Художественном театре? — Да, я хотел бы... — А Вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся...» И с 1930-го по 1936 год Булгаков работал во МХАТе режиссером-ассистентом. Благодаря Сталину в десятидневный срок был восстановлен спектакль «Дни Турбиных». На премьере пьесы А. Афиногенова «Страх» Сталин спросит: «А почему у вас не идут „Дни Турбиных“?» — «Да запретили... И даже декорации уничтожили...» — «Вздор, — возразит он, — хорошая пьеса, ее нужно ставить, ставьте». В многоголосном хоре из прошлого солирует последняя жена писателя Елена Сергеевна Булгакова. В 1932 году она оставит своего мужа, крупного военного деятеля Е. Шиловского и внешне такую беспечную, счастливую, обеспеченную жизнь с ним и переедет с младшим шестилетним сыном Сергеем к Булгакову, «на бедность, на риск, на неизвестность». Ее дневниковые записи составляют значительную часть повествования. Она будет рядом с ним все последние восемь лет его жизни, и это ей, преодолевая пелену боли и бреда, в преддверии скорой смерти он будет диктовать исправленные страницы своего романа. «Он умирал, впадал в беспамятство, снова приходил в себя и в минуту просветления сказал, что все, что он написал, было сделано ради нее: — Я жалею только о том, что мои книги никто не прочтет. — И она ответила: — Я обещаю тебе, что твои произведения будут напечатаны... Она поклялась в этом, хотя Булгаков уже более 10 лет не мог напечатать ни строчки, а почти все его пьесы оказались под запретом». Он умер 10 марта 1940 года. Уже 21 марта 1940 года правление Союза писателей СССР утвердит комиссию по литературному наследию Булгакова. На первом заседании обсудят издание сборника пьес, но начавшаяся война не даст осуществиться этим планам. Единственно, что комиссии удалось, — сохранить за семьей Михаила Афанасьевича его квартиру... «Мастера и Маргариту» Булгаков писал 12 лет. Он не успел закончить авторскую корректуру шестой редакции романа, поэтому его окончательный вариант сделала уже Елена Сергеевна. Она свела в единое целое рукопись с замечаниями и заметками Булгакова и дополнения к ней, надиктованные уже больным писателем. К середине декабря она напечатает на машинке несколько экземпляров романа, один из которых передаст другу Булгакова П. Попову. Вскоре получит от него письмо: «Я все под впечатлением романа... За всем следишь, как за подлинной реальностью, хотя основные элементы — фантастичны... Вторая часть для меня — откровение... Ведь Маргарита Николаевна — это Вы, и самого себя Миша ввел... Но вот, если хотите, — грустная сторона. Конечно, о печатании не может быть и речи. Идеология романа — жуткая, и ее не скроешь... В этом отношении чем меньше будут знать о романе, тем лучше. Гениальное мастерство всегда останется гениальным мастерством, но сейчас роман неприемлем. Должно будет пройти лет 50–100...» Елена Булгакова выполнила обещание, данное умирающему мужу. В конце 1966 года в журнале «Москва» (1966, № 11, 12; 1967, № 1) роман хоть и с купюрами, но был опубликован. Ей помогали К. Симонов, В. Катаев, А. Твардовский... Обо всех перипетиях, связанных с долгой дорогой романа к читателю, о непре-

одолимых трудностях, которые преодолела Елена Булгакова, рассказывает, приводя малоизвестные факты, подробности, детали Ю. Дрюков. Он уверен, что если в России существует «пушкинский мир», «гоголевский мир», «чеховский мир», то благодаря Елене Сергеевне стало очевидным появление особого «булгаковского мира». В 1968 году режиссеры А. Алов и В. Наумов начинают съемки фильма «Бег», литературным консультантом была Е. Булгакова. Ей удалось просмотреть сделанный материал, но премьеру она уже не увидела. «Она несла желтые цветы... Меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах! Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам...» Мастер и его Маргарита.

Надежда Перова. Елена Осиповна Лихачева и ее время. Из истории женского образования в Санкт-Петербурге. СПб.: Петрополис, 2023. — 182 с.

Елена Осиповна Лихачева (1836—1904) происходила из шляхетского рода баронов Косинских. Как и положено в аристократической семье, сестер Косинских отдали в Смольный институт. Елена, зачисленная в Смольный в 1842 году, окончила его с серебряной медалью в 1851 году. Знаний, полученных в институте, ей было недостаточно, и она всю свою жизнь занималась самообразованием. В 1859 году вышла замуж. Брак оказался удачным: муж, В. И. Лихачев (1837—1906), юрист и общественный деятель, поддерживал желание жены работать. И случай представился: в 1860-х годах Лихачевы сблизились с супругами Сувориными (в 1876-м Суворин станет владельцем газеты «Новое время») и даже стали жить в одном доме (8-я линия Васильевского острова, 25). В этом же доме поместили типографию, где Е. Лихачева и А. Суворина печатали свои переводные издания. Обе дамы знали несколько языков. Начали с выпуска двух книг для детей: Ж. Масе «Слуги желудка» и Ж. Верна «Путешествие к центру земли». Вторая насторожила вятского губернатора из-за приложения «Происхождение и развитие земного шара», противоречащего учению Божьему. Изданный подругами сборник «Для чтения» был запрещен для распространения во всех учебных заведениях из-за тенденциозного подбора и как следствие противопоставления высших и низших сословий, богатых и бедных классов, пропаганды демократических идей. Книги двух дам и далее подвергались критике властей как «пропагандирующие революционные идеи и приемы». В 1873 году А. Суворина погибла, союз писательниц распался. Но бурная деятельность Е. Лихачевой продолжилась. Известность ей принесли работы по женскому вопросу. Интерес ее к этой теме закономерен: годы юности Е. Косинской выпали на 50-е годы, предреформенное время, когда «женский вопрос» по своей остроте не уступал «крестьянскому вопросу». Ее статьи по женскому вопросу регулярно печатались в «Отечественных записках». Дом на углу Литейного проспекта и Бассейной улицы, где на одной площадке находились редакции «Современника» и «Отечественных записок», для Е. Лихачевой, тесно связанной с литературно-журналистским миром, был местом встреч с коллегами и друзьями. А так как в 1859—1891 годах борьба за женскую эмансипацию воспринималась как важная часть общего освободительного движения, то у Е. Лихачевой было немало единомышленников, друзей, уделявших большое внимание «женскому вопросу». Среди них Н. Шелгунов, М. Михайлов, Н. Добролюбов, Н. Чернышевский... В апреле 1884 года журнал «Отечественные записки» был закрыт за то, что «не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ». Е. Лихачева не только теоретизировала, но и личным примером на практике доказывала возможность участия

женщин в жизни общества. Так, в 1875—1877 годах она ездила в Сербию, работала в госпиталях, организовывала помощь тяжело пострадавшему населению, а в своих корреспонденциях ярко и правдиво рисовала ужасы войны. Она никогда не теряла связь с женским движением: 11 лет была библиотекарем на Высших женских Бестужевских курсах, в 1887 году возглавила комитет «Общества по доставлению средств при Высших женских курсах». На Бестужевских женских курсах Е. Лихачева проработала 24 года, сотрудничая с передовыми женщинами Санкт-Петербурга: Н. Стасовой, А. Философовой, В. Тарновской, О. Нечаевой. Надежда Перова, автор серии книг и очерков по истории женского движения и образования в Санкт-Петербурге, подробно излагает историю Смольного института благородных девиц. Пишет об образовательной политике Екатерины II и ее сподвижниках, занимавшихся Смольным, об организации учебного процесса в институте, о быте его воспитанниц. Н. Перова большое внимание уделяет возникновению и развитию «женского вопроса» в России. Отсчет о возникновении в русском обществе вопроса об образовании и социальной роли женщины в семье и обществе следует начать, считает она, с 1086 года, когда в киевском Андреевском монастыре сестра Владимира Мономаха, княжна Анна, открыла женское училище, которым и руководила 26 лет. Это было первое женское училище не только в древнерусском государстве, но и во всей Европе. Развитие темы женской эмансипации и образования получило в XIX веке, именно на этом периоде сосредотачивается Н. Перова и в значительной степени на истории создания и функционировании женских курсов, известных как впоследствии Бестужевские курсы, названные так в честь К. Бестужева-Рюмина, первого директора курсов. Н. Перова воссоздает культурно-исторический контекст эпохи, в которую жила и работала героиня ее книги. Она использует документы, исторические очерки и воспоминания современников Е. Лихачевой, выдержки из ее статей. Пятнадцать лет своей жизни Елена Осиповна отдала изучению истории женского образования. Результатом стала монография «Материалы для истории женского образования в России» в четырех томах (СПб., 1890—1895), а она сама — одной из первых женщин-историков. Ее труд охватывает период с 1086-го по 1880 год и выходит далеко за рамки истории образования, включает в себя исследование начала женского движения в России, биографии сторонников эмансипации женщин. Е. Лихачева охватила в своем исследовании и достижения европейских ученых в теории воспитания и образования женщины, и труды русских мыслителей, создавших Домострой, государственных деятелей, издававших законодательные акты, историков Древней Руси, а также своих современников: ученых, историков, публицистов, писателей середины XIX века. Монография Лихачевой была удостоена почетного отзыва Императорской академии наук и не потеряла своего значения до сих пор. Вот выдержки из ее работы: «Целью воспитания и обучения должно быть образование характера в человеке, направление его к добродетели, к нравственности; нравственность при этом выше учености. <...> Задача обучения состоит не в сообщении ребенку известного количества знаний, а возбуждении в нем самостоятельности... Дисциплина при воспитании должна не подавлять и унижать личность ребенка, а, напротив, возбуждать и возвышать ее; дисциплинарными средствами должны быть похвала, особенно в присутствии других, и порицание наедине». Елена Осиповна Лихачева была похоронена на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Надгробие не сохранилось.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит издательства
за предоставленные книги

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ХАРБИН — «РУССКИЙ КИТЕЖ»

Часть 15

ХАРБИН. СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Возрождение общины

Проблески изменений слабо обозначились с середины 1980-х годов. Пережив гонения «культурной революции», А. Е. Шандарь с группой прихожан добился открытия в Харбине Свято-Покровской церкви. В 1984 году православным верующим был возвращен храм Покрова Божией Матери. К 1986 году Свято-Покровский храм был восстановлен и отремонтирован внутри.

Свою лепту в возрождение Покровской церкви внес харбинец Владимир Зинченко[1]. Во время «культурной революции» и позднее, когда разрушались православные храмы, он спас несколько больших икон и лампад, которые бережно хранил до открытия Покровского храма.

В период «оттепели» Покровская церковь была отреставрирована и открыта для богослужения. 14 октября 1984 года первую литургию в Покровском храме после гонений «культурной революции» совершил *протоиерей Григорий Чжу,* единственный священник Китайской православной церкви, получивший государственную регистрацию.

Иерей Григорий Чжу родился в 1924 году, учился в Русской духовной миссии в Пекине и прекрасно овладел русским языком. Приехал в Харбин из Пекина; в сан иерея был рукоположен последним начальником миссии владыкой Виктором (Святиным). В годы «культурной революции» (1967—1977) о. Григорий Чжу подвергся преследованиям со стороны «красных охранников»: его возили по всему городу с плакатом на груди. Рисунок на плакате был издевательским: якобы отец Чжу целует ноги Хрущева. Затем его вместе с женой посадили в подвал, били, заставляли отречься от веры. Долго держали, допрашивали, опять били. Жену потом выпустили, но от всего этого ужаса она

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

[1] Родился в 1935 году в Харбине. Жил с матерью в Нахаловке напротив Свято-Петропавловской церкви. Занимался молочным хозяйством. Скончался 7 мая 2002 года от сердечного приступа. Похоронен на кладбище Хуаншань.

частично лишилась рассудка. Священник был арестован, пробыл в заключении три месяца, а потом он несколько лет работал вместе с другими «служителями культа» (католиками и протестантами) на тяжелом и вредном производстве — на гвоздильном заводе. Тогда и появилась у него сильная сутулость[2]. Затем о. Григория препроводили в каменоломню, где он непоправимо подорвал здоровье и вышел на волю инвалидом[3].

Несмотря на все пережитое, иерей Григорий Чжу остался верен православию и при первой же возможности стал служить в единственном сохранившемся в Харбине Свято-Покровском храме, объединив православную паству.

В. П. Петров (США) (1984): «На Старом кладбище теперь действующая православная церковь, но кладбища нет. На его месте — несколько многоквартирных домов. На другой стороне улицы когда-то был большой польский костел. Его я не нашел. Очевидно снесли. Не нашел я и лютеранской кирхи»[4].

Покровское кладбище было снесено, на его месте построены высотные дома, которые позднее также были снесены, и теперь там разбит парк. Были взорваны Крест-памятник возле Покровской церкви и братская могила, но Свято-Покровский храм уцелел, сохранился до сего времени и еще действует как православная церковь.

В 1990 году в Харбине проживало 22 русских, зарегистрированных в приходе церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Именно туда они приходили слушать проповеди протоиерея отца Григория Чжу. И хотя кроме русских приходской совет храма составляли и православные китайцы, по своему духу это все-таки была подлинная русская церковь, из тех, что в немалом количестве были возведены во многих странах русского рассеяния. Еще в начале 1990-х годов в храме можно было встретить тех русских стариков, что доживали в Харбине отмеренный им век. Попав в город еще детьми, они пережили китайское лихоимство и бюрократию, последовавшую затем японскую оккупацию, местные войны, «культурную революцию». И на всех этапах этой долгой и пестрой азиатской жизни их православная церковь в Харбине была и оставалась почти всем: и местом свиданий с Богом, и памятью об ушедших согражданах, а еще — последней надеждой на лучшее[5].

Будучи еще руководителем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (далее — ОВЦС МП), в Харбин в 1993 году приезжал будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл *(приложение 13)*. После этой встречи в Харбине к отцу Григорию приезжал епископ Хабаровский и Амурский Иннокентий. А в 1994 году иерей Григорий Чжу ездил в Москву в сопровождении хабаровского владыки Иннокентия, где участвовал в Патриаршем богослужении и был удостоен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием права ношения наперсного креста с украшениями. Во время этого визита отец Григорий встречался с владыкой Кириллом уже в его резиденции[6].

При храме сложился небольшой приход из осколков былой русской общины и детей от смешанных русско-китайских браков. Григорию Чжу преданно помогал псалом-

---

[2] Еремин С. Ю. История Покровского храма в городе Харбине // Любимый Харбин — город дружбы России и Китая. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию русской истории г. Харбина, прошлому и настоящему русской диаспоры в Китае. Харбин 16—18 июня 2018 г. Харбин; Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2019. С. 135.

[3] Коростелев В. А., Караулов А. К. Православие в Маньчжурии. 1898—1956 / Под ред. О. В. Косик. ПСТГУ, 2019. С. 405.

[4] Петров В. П. Город на Сунгари. Вашингтон: Издание Русско-Американского исторического общества, 1984. С. 67.

[5] Гончаренко О. Г. Русский Харбин. М.: Вече, 2009. С. 227—228.

[6] Еремин С. Ю. Указ. соч. С. 137.

щик М. М. Мятов[7]. Уже будучи тяжело больным, на инвалидной коляске, о. Григорий стойко переносил свой недуг и по мере возможности исполнял свой долг священника.

Т. В. Пешкова (Флейшер) (1992): «В действующей Покровской церкви на богослужении побывать не удалось, так как мы были в Харбине в будние дни. Заглянули на Цицикарскую улицу, где был Конвент. Теперь в нем ресторан»[8].

После утверждения его настоятелем отец Григорий активно взялся обустраивать храм. Съездил в Пекин и привез оттуда 16 больших ящиков с православными иконами, утварью и некоторой богослужебной литературой. Но очень многих нужных для проведения богослужений вещей на первом этапе не хватало. Например, форм для выпечки просфор, церковных книг. С просьбами о помощи прихожане обращались к выходцам из Харбина, жившим в те годы в разных странах мира. В храме начался ремонт: восстанавливали иконостас, кресты на куполах, заново покрасили наружные стены, тем самым скрыв первоначальный удивительный облик храма.

Загадочна история появления в Покровском храме антиминса, без которого не могут проходить богослужения. Он подписан для храма Табынской иконы Божией Матери в Пекине епископом Пекинским Виктором (Святиным) — начальником последней 20-й РДМК. Не сохранилось сведений о таком храме в столице Китая. Возможно, антиминс использовали в домовом храме, ведь в Пекине всегда жило много албазинцев. Можно предположить, что в период гонений на Церковь он попал к китайским властям и позже был передан в Харбин отцу Григорию. Иконы, привезенные отцом Григорием из Пекина, принадлежат кисти самых известных харбинских иконописцев — братьев Задорожных. Вероятно, они находились в одном из храмов Харбина, но не сгорели в кострах «культурной революции», а были сохранены и вывезены в Пекин. Сейчас сложно сказать, в каком храме до «культурной революции» находилась церковная утварь Покровского храма. Но бесспорно одно: сегодняшний храм фактически является музеем харбинской церковной старины. Каждый из имеющихся в нем предметов хранит свою уникальную историю. Эти раритеты имеют большую культурную и историческую ценность. Иконы храма требуют тщательного изучения и реставрации[9].

Н. П. Крадин (1999): «При очередном посещении Харбина в 1999 году мне удалось побывать внутри храма и присутствовать во время службы 27 мая, когда Православная Церковь отмечала праздник Троицы. На службу собралось не более 30 человек, в основном старожилов Харбина. Среди них оказались и гости из России. По своему внутреннему убранству церковь очень скромна. Росписей практически нет никаких, кроме лент орнаментов, подчеркивающих арки сводчатых конструкций и нижний пояс цилиндра под главным куполом. Иконостас также не блещет не только позолотой, но и качеством икон, среди которых преобладают вставленные в рамки репродукции. Прихожан в церкви осталось совсем мало, средств на ее содержание катастрофически

[7] Мятов Михаил Михайлович родился в 1912 году в Самаре в семье купца. В 1919 году с родителями через Сибирь эмигрировал в Китай. Жил в Харбине. Здесь окончил гимназию и политехнический институт. Псаломщик Свято-Николаевского собора. Псаломщик Покровской церкви Харбина в 1980—1990 годах, где служил с иереем Григорием Джу. Один из последних церковных деятелей оставшейся в Харбине православной общины. Скончался 27 июля 2000 года. Похоронен на кладбище Хуашань.

[8] Пешкова (Флейшер) Т. В. Харбинские сказки // Русская Атлантида. 2006. № 18. С. 52.

[9] Еремин С. Ю. История Покровского храма в городе Харбине // Любимый Харбин — город дружбы России и Китая. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию русской истории г. Харбина, прошлому и настоящему русской диаспоры в Китае. Харбин 16—18 июня 2018 г. Харбин; Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2019. С. 136.

не хватает. И, тем не менее, православные харбинцы умудряются содержать храм в чистоте и порядке»[10].

На колокольне Покровского храма после всех исторических потрясений сохранился только один колокол весом 49 пудов (около 800 килограмм). Согласно надписи на нем, он отлит в Москве, на крупном и известном в России заводе Павла Николаевича Финляндского, который был самым массовым производителем колоколов в России до событий 1917 года. В советские времена завод закрыли. Строительство Покровского храма велось во втором полугодии 1930 года, когда все заводы в Советской России по производству колоколов уже не работали. Каким образом, какими путями попал в Харбин колокол, отлитый в столице, вопрос открытый[11].

В 2000 году Свято-Покровская община понесла тяжелые утраты. 27 июня 2000 года скончался псаломщик Михаил Михайлович Мятов. А 21 сентября того же года после продолжительной болезни в возрасте 78 лет скончался отец Григорий Чжу. Он был похоронен на новом русском кладбище Хуан-Шан, но китайские власти не разрешили отпевать его приглашенному священнику из России, и заочное отпевание совершили сами прихожане. Так священник-китаец закончил свой тяжелый жизненный путь, не изменив православной вере[12] *(приложение 13)*.

С визитами в Харбин к иерею Григорию Чжу неоднократно приезжал тогдашний Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Иларион (Капрал), с 1966-го по 2008 год — архиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский. Посещал он Покровский храм и после кончины настоятеля в 2000 году. У старших харбинцев сохранилось множество групповых фотографий с ним: в храме, за трапезой дома у прихожан, у Покровского и Софийского храмов. Можно предположить, что он не только передавал отцу Григорию собранные в Австралии и Америке для поддержания харбинского прихода и нуждающихся прихожан деньги, но и молился вместе с приходом, в сослужении с отцом Григорием Чжу[13].

В 2000 году храм еще был в хорошем состоянии, сохранилось много старинных икон, и все это благодаря стараниям о. Григория Чжу. Его же стараниями на Новом кладбище в Санкешу построена новая кладбищенская церковь Рождества Иоанна Предтечи — она не была разрушена. В эту церковь были перенесены престол и святыни из Борисоглебского храма в Ченхе[14].

В приходе Свято-Покровского храма состояли 40—50 человек, в основном полукровки. Общее количество верующих-православных в Харбине было примерно 200 человек (тоже полукровки). Они постоянно собирались в этом храме, читались молитвы.

После кончины о. Григория никаких служб не совершалось вовсе. Прихожане приходили в открытую по воскресеньям с 8.30 до 11.00 церковь, ставили свечи, молились по молитвослову, отмечали, как могли, православные праздники[15]. Прихожане писали письма китайским властям и за границу с просьбой прислать им священника. Но никаких изменений не происходило до 2005 года. В те годы церковь выглядела плачевно. На стенах облупившаяся краска в виде «рулончиков папируса». Священника нет, лишь читал некоторые молитвы на китайском языке чтец Виктор Гао. Русскому, не знающему китайского языка, было понятно лишь только 12 раз повторенное «Господи,

---

[10] Крадин Н. П. Харбин — русская Атлантида. Хабаровск, 2001. С. 136.

[11] Еремин С. Ю. Указ. соч. С. 136.

[12] Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

[13] Еремин С. Ю. Указ. соч. С. 136.

[14] Поздняев Дионисий, священник. Православие в Китае (1900—1997). М.: Изд. Свято-Владимирского Братства, 1998. С. 156.

[15] https://ru.wikipedia.org/wiki/ Храм_Покрова_Пресвятой_Богородицы_(Харбин). Дата посещения 02.04.23.

помилуй!». Была возможность поставить свечи, которые продавали в церковной лавке по 2 юаня, приложиться к образам, помолиться. Ввиду отсутствия священника в храме не было должной дисциплины, он скорее напоминал место встречи друзей: наскоро поставив свечи, помолившись, китайцы рассаживались на лавочках, отходили в притвор и активно делились друг с другом последними местными новостями. Вместо песнопений и молитвы звучал гул голосов... Православному человеку на чужбине трудно приходилось без литургической жизни, без участия в таинствах, без духовного окормления[16].

Надежда Разжигаева (2000): «Вечером пошли погулять к Покровской церкви. Вначале увидели конвент на Цицикарской. Валентина Павловна Хан[17] говорит, что здание заняли католики. Покровская вся подсвечивается. Как там красиво! Подошла к церкви, дверь открыта, тихо захожу... После смерти отца Григория службу люди уже вынуждены вести сами. Горят свечи, поставила две. На вопрос, сколько стоят, услышала — „два рубля“ (фантастический ответ). Валентина Павловна Хан пела во главе хора, освободившись, поговорила со мной, удивилась, что не говорю по-китайски: „Подумать только, дедушка был такой хороший драгоман...“»[18]

В. М. Гинце (2001): «Первый раз я попал в Покровский храм на Вознесение, 24 мая 2001 года. На службе было 22 человека. Валя Хан читала молитвы. По ее просьбе (вместо пожертвования) я пригласил всех молящихся в ресторан. Это была своего рода „общая трапеза“. Банкет прошел очень удачно. Пели, танцевали под китайские пластинки, в основном звучали знакомые старые русские мелодии и советские песни — „Катюша“ и др.»[19].

Архимандрит Августин (Никитин) (2005): «Миновав площадь с памятником советским воинам, улица Xidazhi jie меняет свое название на Dongdazhi jie. Там, где ее пересекает Anshan jie, уникальное сочетание: бок о бок стоят три храма: католический, православный и протестантский. В католическом идет какой-то семинар, в протестантском — богослужение. А православная Покровская церковь, открытая в 1984 году после долгих лет гонений, — на замке. Каска на дверях облупилась. Последний православный священник-китаец — отец Григорий Джу — умер в 2000 году, служить некому. Храм не „снят с регистрации“, он открыт для верующих, прихожане собираются по праздникам и молятся как умеют, без священника. Летом 2004 года сюда был направлен священник из Екатеринбургской епархии[20], который, с разрешения мест-

---

[16] Еремин С. Ю. Указ. соч. С. 137.

[17] Хан Валентина Павловна родилась в г. Никольск-Уссурийске в 1922 году в семье православных корейцев. В 1929 году семья переехала в г. Чанчунь, а затем в Харбин. Окончила гимназию и университет. Получила хорошее музыкальное образование. В 1966 году арестована и почти 10 лет провела в одиночной камере и лагерях. После освобождения преподавала в Харбине языки и музыку, работала на железной дороге и в Харбинском политехническом институте. С открытием в Харбине Покровского храма (1986) пела и читала на клиросе. Учила прихожан церковному пению. Помогала в распределении средств, получаемых из Австралии и США на нужды престарелых. Возглавляла остатки православной общины в Харбине после кончины в 2000 году священника Григория Джу и псаломщика Михаила Мятова. Скончалась 8 ноября 2005 года. По существующим в Китае законам тело было кремировано. Останки похоронены на православном кладбище в Хуаншане.

[18] Харбин глазами наших детей. Из писем Нади Разжигаевой родителям // Русская Атлантида. 2001. № 6. С. 59—60 (драгоман (араб. — переводчик) — официальная должность переводчика и посредника между ближневосточными и азиатскими державами и европейскими дипломатическими и торговыми представительствами).

[19] Гинце В. М. Зарисовки о поездке в Харбин // Русская Атлантида. 2003. № 9. С. 63.

[20] Игумен Моисей (Пилатс), настоятель Алапаевского мужского монастыря в честь новомучеников Российских. Исповедь от местных верующих игумен Моисей принимал как на русском, так и на китайском языке; он самостоятельно изучал китайский язык в своей келье (Дацышен В. Г. Христианство в Китае: история и современность. М., 2007. С. 220).

ных властей в течение двух недель совершал в храме богослужения. А ведь когда-то в Харбине были не только православные храмы, но и монастыри.

Нынче в Харбине потомков русской эмиграции практически не осталось. Все, кто не сумел уехать, покоятся на погосте. Здесь же и памятник героям Порт-Артура, и могила офицера армии Колчака, полного георгиевского кавалера Сергея Федорова. По соседству лежит последнее русское духовенство. Среди прочих — протоиерей Валентин Барышников, которого считали чудотворцем»[21].

Н. Н. Лалетина (Николаева) (2006): «Праздник Покрова Божией Матери. День теплый и ясный. В Покровском храме на Большом проспекте престольный праздник, церковь в светлом убранстве, женщины-прихожанки нарядили его. Туристов из России, которые обычно посещают храм, нет, только стоит молодая девушка из Сербии. В каждое воскресенье и в праздник она приходит помолиться. Она — студентка. Обменялись с ней приветствиями, поздравив друг друга с праздником, вынужденно прибегнув к китайскому языку!»[22]

Т. П. Верижская (2008): «9 сентября посетили Покровскую церковь. Здесь я увидела другую территорию, чем она была в 1993 году. Ограда уничтожена, площадка вокруг церкви уложена плитами, по которым в разные стороны ходят прохожие, рядом автобусная остановка. Костел и протестантская кирха приведены в полный порядок. В костеле совершаются богослужения. Наша церковь по-прежнему не имеет священника, хотя говорили, что в Россию был отправлен православный китаец для обучения в семинарии, чтобы потом возглавить харбинский приход. В свечном ящике я купила много свечей и поставила их у главных икон. Н. Заика на собственные деньги заказал киоты.

Под стеклом образа Серафима Саровского хранится святыня — кусочек одежды преподобного. Церковь содержится в порядке, но наверху цоколь сильно облупился. На иконах шелковые пелены, красиво задрапированные. Везде стоят букеты живых и искусственных цветов. На стенах по-прежнему нет росписей, а главные иконы иконостаса выполнены харбинским художником-иконописцем Задорожным. Поскольку богослужения нет, посетители чувствуют себя весьма свободно, как в клубе, где есть возможность встретиться и поговорить. Потом пришел китаец лет 40 и начал читать молитвы на китайском языке, изредка чтение прерывалось возгласом „Господи, помилуй“. Минут через 30 все закончилось. В церкви встретили омичей, которых принимали очень торжественно власти города за организацию в Омске выставки, посвященной Харбину, на которой присутствовал мэр нашего города»[23].

...На протяжении 10 лет православные верующие Харбина, в частности российские соотечественники, объединенные в «Русский клуб Харбина», прилагали усилия к получению разрешения на проведение богослужений. И только после визита в Харбин в ноябре 2009 года председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) у харбинцев затеплилась надежда на то, что православная жизнь вскоре наладится.

Наконец разрешение было дано, и 4 апреля 2010 года в храме были отслужены пасхальные утреня и литургия. Богослужение совершил прибывший в Китай сотрудник ОВЦС иеромонах Стефан (Игумнов)[24]. После 10-летнего перерыва вновь в Харбине была отслужена Божественная литургия, в храме запахло ладаном, зазвучали мо-

---

[21] Августин (Никитин), архимандрит. Харбин. Страницы русской истории // Эхо планеты. Февраль 2006.

[22] Лалетина (Николаева) Н. Н. Картинки с китайской натуры. Харбин // Русская Атлантида. 2006. № 18. С. 61.

[23] Верижская Т. П. Путешествие из Новосибирска в Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 70.

[24] Пасхальная литургия после многолетнего перерыва совершена в Харбине // https://ru.wikipedia.org/wiki/ Храм_Покрова_Пресвятой_Богородицы_(Харбин). Дата посещения 2 апреля 2023.

литвенные песнопения, и на приветствие священника «Христос Воскресе!» под сводами Покровского храма раздавалось ликующее и торжествующее: «Воистину Воскресе!» Следует отметить, что вся церковная утварь, необходимая для совершения литургии, десять лет бережно хранилась в алтаре и была в полном порядке — наличие было заранее проверено по списку перед приездом священника во избежание неожиданностей. Только покровцы на Святую Чашу немного обветшали, и пришлось купить новый набор посуды для нарезания просфор и запивки. Пасхальное богослужение наполнило сердца всех православных харбинцев радостью и надеждой, но, к сожалению, визиты священников не стали регулярными[25].

11 апреля 2010 года в Покровском храме с разрешения государственных властей КНР совершил Божественную литургию старейший священник Китайской автономной православной церкви Михаил Ван Цюаньшэн, проживающий на покое в Шанхае. За богослужением молились около 50 православных граждан Китая, а также российские соотечественники, временно или постоянно проживающие в Харбине[26].

В 2011 году в Харбин на престольный праздник Покровского храма (14 октября) снова приезжал и служил литургию иерей Михаил Ван Цюаньшэн. В поездке ему помогал иподиакон Папий Фу Силян. Для прихода это было очень важно, все переживали за батюшку: служить ему было тяжело в силу его преклонного возраста, но все прошло достойно и торжественно. В 2014 году отец Михаил Ван отошел ко Господу[27].

Следующим богослужением стала первая за полвека архиерейская литургия, совершенная 24 июня 2012 года митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым), которому сослужил настоятель православной общины города Шанхая протоиерей Алексий Киселевич. На службу собрались около шестидесяти православных соотечественников, постоянно и временно пребывающих в Харбине. В своей проповеди митрополит Иларион отметил: «Вы являетесь тем „малым стадом“, к которому Сам Господь обратил слова: „Не бойтесь, ибо сила Моя совершается в немощи“. Благодаря вашей твердой вере, вашему терпению православие поддерживается на китайской земле. Вашим усердием поддерживается в Харбине этот исторический Покровский храм. Уже долгие годы здесь нет священника, и вы приходите сюда по воскресным дням небольшими группами, чтобы вознести молитвы ко Господу. Мы работаем над тем, чтобы здесь был священник, чтобы вновь зазвучала этом храме Божественная служба и совершались церковные Таинства. Глубоко верю, что такой день наступит. До тех же пор, пока он не наступил, прошу вас: продолжайте, как и прежде, приходить в этот святой храм при любой возможности, поддерживайте своей молитвой его стены, а в трудную минуту вашей жизни он поддержит вас. Молитесь всем святым, в земле Российской просиявшим, и всем святым Китайской земли, чтобы они помогли нам совместными усилиями возродить Православную Церковь в Китае. Я обещаю вам, что со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы православная вера в Китае росла и укреплялась»[28].

К. С. Гордеев (2012): «Очень красивы были Софийская, Благовещенская, Иверская и Покровская церкви. Сейчас, насколько я знаю, действует только последняя — *Покровская*, что на Старом кладбище. Кстати, как раз напротив этой церкви, дверь в дверь, на Большом проспекте мы жили»[29].

---

[25] Еремин С. Ю. Указ. соч. С. 139

[26] Божественная литургия вновь совершена в Покровском храме города Харбина. Православие.ru (13 апреля 2010). Дата посещения 2 апреля 2023.

[27] Еремин С. Ю. Указ. соч. С. 139.

[28] Впервые за полвека архиерейская литургия совершена в Покровском храме Харбина. Официальный сайт ОВЦС (25 июня 2012). Дата обращения: 4 апреля 2023.

[29] Гордеев К. С. Он выбрал Россию // Русская Атлантида. 2012. № 42. С. 28.

В 2013 году для всего Харбина произошло уникальное событие. На Радоницу, в рамках своего первого официального визита в Китай, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Покровском храме Патриаршее богослужение. О предстоящем визите Святейшего Патриарха прихожан оповестили всего за две недели, было очень много различных подготовительных работ. Китайская сторона буквально за десять дней привела в порядок внутренние помещения храма: покрасили стены, двери и окна, а приехавшие священники Владивостокской епархии закупили все необходимое для патриаршей службы.

Составлялись списки всех участвующих в литургии харбинцев (35 китайцев и 35 русских), позже всем выдали специальные пропуска. Узнав о таком важном событии, в Харбин приехали верующие не только из разных городов Китая, но и из России: из Благовещенска и Хабаровска. Из Владивостока прибыл автобус с группой паломников численностью более 30 человек (в их числе настоятельница и монахини Рождество-Богородицкого Южно-Уссурийского женского монастыря, атаман и казаки Уссурийского казачьего войска). На торжество собралось много православных китайцев и русскоязычных соотечественников. Не все из них получили возможность войти в храм. По прибытии к Покровскому храму патриарх Кирилл направился к находящимся на улице верующим, пообщался с ними, преподал им Первосвятительское благословение[30].

Знаменательно, что служба проходила фактически в кладбищенском храме — на Старом кладбище, о чем многие современные харбинцы не знали. А Радоница — день поминовения усопших. В своей проповеди Святейший Патриарх помянул многих и многих священников, служивших в Китае, начиная с членов первых Российских духовных миссий и до иерея Григория Чжу. В самом конце проповеди он сказал слова, которые очень запомнились всем присутствующим: «Знайте, что с Харбином теперь пребывает мое Патриаршее благословение!»[31] *(см. приложение 15)*.

В 2012 году в рамках соглашения, достигнутого Государственным управлением КНР по делам религий и Советом по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте Российской Федерации о подготовке Русской православной церковью китайских православных студентов, китайское правительство направило на учебу в Россию двух прихожан Покровского храма: Василия У Шаоцяна и Александра Юй Ши. 27 сентября 2014 года в академическом храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова Санкт-Петербургской духовной академии ее тогдашним ректором архиепископом Петергофским Амвросием (Ермаковым) Александр Юй Ши был пострижен во чтецы, возведен в иподиакона и рукоположен в сан диакона. 14 октября того же года он впервые возглавил праздничную службу в Покровском храме в Харбине *(приложение 16)*.

Ранее в СПбДА был разработан специальный молебен, переведен на китайский язык и заранее отправлен в Харбин для подготовки церковного хора. 4 октября 2015 года дьякон Александр Юй Ши был рукоположен во иерея архиепископом Петергофским Амвросием (Ермаковым) в храме Санкт-Петербургской духовной академии. Он стал первым за 60 лет новым китайским православным пастырем, рукоположенным для материкового Китая[32].

---

[30] Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию в Покровском храме Харбина. Дата обращения: 14 мая 2013. / Елена Яковлева. Радоница в китайской провинции. Патриарх Кирилл отслужил литургию в Харбине. Российская газета (14 мая 2013). Дата обращения: 14 мая 2013 / Патриарх Кирилл просит власти китайского Харбина разрешить православные службы на Пасху и Рождество. interfax-religion.ru. Интерфакс-Религия (14 мая 2013). Дата обращения: 30 января 2022.

[31] Еремин С. Ю. Указ. соч. С. 139—140.

[32] Там же. С. 140—141

С 2015 года протоиерей Александр Юй Ши является настоятелем Покровской церкви. Здесь дважды возродилось православие в Китае: в 1984 году после тяжелых лет «культурной революции» стараниями иерея Григория Чжу и его паствы и в 2015 году при служении протоиерея Александра Юй Ши.

С 2014 года по договоренности с китайскими властями на большие праздники церковного календаря в Харбин приезжает из Приморской митрополии благочинный первого округа Владивостока протоиерей Димитрий Федорин. Отец Димитрий сослужил отцу Александру на праздничных литургиях, он привозил в дар храму подсвечники, хоругви и другую необходимую утварь. 13 октября 2014 года на православном участке городского кладбища Хуаншань священник Димитрий Федорин совершил панихиду на могиле настоятеля Покровского храма священника Григория Чжу. Также молитвы были вознесены на могилах русских и китайских православных христиан, погребенных здесь[33].

В декабре 2017 года батюшка привез из России и передал в Покровский храм точную копию известной харбинской святыни — иконы «Всех скорбящих Радость», которая чудесным образом обновилась в 20-е годы прошлого века в харбинском Доме милосердия и была увезена с большими сложностями через Гонконг в США в 60-е годы.

Оригинал иконы пребывает в Синодальном храме в Нью-Йорке, в резиденции предстоятеля РПЦЗ. Копия иконы была написана во Владивостоке в Свято-Серафимовском мужском монастыре на острове Русском иконописцем Александром Березневым, средства на ее написание харбинцы собирали по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, как в Китае, так и в России. Для русской части прихода Покровского храма визиты отца Димитрия очень важны и полезны. К сожалению, с января 2018 года власти Харбина не давали разрешения на совместное служение русского и китайского священников, поэтому приезжает отец Димитрий теперь только в качестве гостя или иногда совершает богослужения только для русских верующих[34].

Протоиерей Димитрий Федорин отмечал: «В целом община — крепкая. Каждое воскресенье они собираются в храме. Если нет возможности совершить божественную литургию в храме, то они это могут сделать на дому. Для пастырского окормления тех, кто проживает в граде сем, приезжает священник»[35]. Однако, по словам о. Димитрия, «за минувшие пятнадцать лет отсутствия священника община многое потеряла в плане православных традиций»[36].

С января 2015 года по апрель 2018 года Покровский храм был закрыт на капитальный ремонт в связи с аварийным состоянием: в левой стене и под хорами были обнаружены опасные трещины. Причины их появления можно предположить две: 1) сверхбыстрое выполнение работ по строительству храма подрядчиком П. Н. Ильиным почти 90 лет назад, когда всего за полгода были выполнены все общестроительные работы от фундамента до крестов на куполах; 2) строительство и эксплуатация прямо под зданием церкви линии городского метрополитена. Еще в 2013 году на хоры не было разрешено подняться Патриаршему хору из 20 певчих. В ходе проведения ремонта никаких работ по подкреплению фундаментов или стен не выполнялось. Подниматься на хоры более чем двум людям запрещено и сейчас, так же, как и до ремонта.

---

[33] Грибин Сергей. Любимый Харбин. Владивосток, 2015. С. 120.

[34] Еремин С. Ю. Указ. соч. С. 141—142

[35] Иванов Владимир. Беседа в Харбине с отцом Дмитрием. www.unification.com.au. Русская еженедельная газета «Единение» (27 октября 2014). Дата обращения: 30 января 2022.

[36] Крышан Иван. «Видишь православного китайца — душа радуется!», prichod.ru (16 марта 2016). Дата обращения: 30 января 2022.

В период ремонта церкви китайские верующие устроили импровизированную часовенку в небольшом помещении конторы храма, вмещающем от силы 25–30 человек, в которой собиралась община. В те воскресные дни, когда в Харбине не было священника, с утра совершалась обедница — богослужение мирским чином. С девяти часов обедница читалась на китайском, а затем, с 10 часов, — на русском языке. То есть каждый воскресный день православная община старалась собираться вместе, чтобы заняться общим делом, провести спевки или устроить общий субботник — на территории прихода или на кладбище[37].

А праздничные богослужения стали совершаться в помещении католического храма, откуда с согласия властей совершался крестный ход к Покровской церкви. Католический храм находится напротив Покровского (его старое название: храм Святого Станислава, современное — храм Животворящего Сердца Христа). 7 января 2016 года на Рождество китайская и русская православные общины Харбина встретили Рождество Христово вместе — в прежние годы это происходило раздельно. На Пасху, Рождество и другие великие двунадесятые праздники число молящихся превышало сто человек[38].

14 апреля 2018 года, в субботу Светлой седмицы, храм вновь открылся для богослужения и сразу принял около 100 верующих[39]. Службы сейчас проходят каждое воскресенье и по большим церковным праздникам. Особенность Покровского храма в том, что община состоит из прихожан-китайцев и прихожан-россиян. В 2015—2018 годах было сформировано два хора — из русских и китайцев. Соответственно, песнопения звучат как на русском, так и на китайском языке. Евангелие и Апостол читаются также на двух языках. Большая часть русскоязычного хора во главе с регентом Антоном Остапенко состоит из выходцев из Северной столицы России — Санкт-Петербурга, работающих по контракту в Харбинской консерватории.

За каждым богослужением в обновленном Покровском храме возносятся молитвы о благополучии и процветании двух стран-соседей — Китая и России — и дальнейшем укреплении дружбы и взаимопонимания между нашими народами[40]. Можно надеяться, что российский туризм в Харбин (в том числе паломнический) будет динамично развиваться и храм по праву сохранит статус важнейшего памятника российского исторического присутствия на северо-востоке Китая.

Приложение 13. Журнал заседания Священного Синода РПЦ от 17 февраля 1997 г. // Китайский благовестник. 1999. № 1. С. 6—7

<...> Православие в Китае начало возрождаться с середины 80-х годов. В 1986 году возобновились богослужения в Покровском храме в Харбине. В 90-х годах активизируются наши контакты с Православной Церковью в Китае. В 1993 году состоялся визит в Китай делегации Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, председателем Отдела внешних церковных сношений. С ответным визитом посетила Москву китайская делегация во главе с иереем Григорием Чжу — единственным на сегодня православным священником в Китае. Укреплялись духовные связи между Хабаровской и Харбинской епархиями.

---

[37] Там же.

[38] Русский и китайский священники вместе совершили литургию в Харбине | Епархиальный совет. Дата обращения: 30 января 2022 / Еремин С. Ю. Указ. соч. С. 141—142.

[39] Сегеда Андрей. В Харбине вновь открыт православный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Православие.фм (20 апреля 2018). Дата обращения: 30 января 2022.

[40] Еремин С. Ю. Указ. соч. С. 143

31 января 1994 года вступило в силу «Положение о регулировании религиозной деятельности иностранных граждан на территории КНР», позволяющее иностранным священнослужителям совершать богослужения по приглашению китайских религиозных организаций и при согласии Управления по делам религии при Госсовете КНР.

Со времени дарования Автономии Китайской Православной Церкви имя Предстоятеля Матери-Церкви — Патриарха Московского и всея Руси неукоснительно возносится за богослужениями во всех приходах Китайской Автономной Православной Церкви. Настоятель прихода в Харбине священник Григорий Чжу святое миро и новый антиминс получил из Московской Патриархии в 1996 году.

Постановили:

В связи с процессом возрождения религиозной жизни в китайском обществе в более полной мере осуществлять попечение о пастве Китайской Автономной Православной Церкви.

С благодарением Богу воздать честь и славу мученикам и исповедникам Святого Православия в Китае, которые, пройдя через горнило испытаний, сохранили веру Христову и молитвенную каноническую связь с Матерью — Русской Православной Церковью.

Констатировать, что, поскольку в настоящее время Китайская Автономная Православная Церковь не имеет своего Предстоятеля, впредь до его избрания Поместным Собором этой Церкви, в соответствии с православными канонами, каноническое управление епархиями Китайской Автономной Православной Церкви осуществляется Предстоятелем Матери-Церкви — Патриархом Московским и всея Руси.

Решение практических вопросов по урегулированию православной жизни в Китае в рамках, соответствующих китайскому законодательству, поручить председателю Отдела внешних церковных сношений.

Праздничными церковными мероприятиями отметить в текущем году 40-летие дарования Автономии Православной Церкви в Китае Матерью — Русской Православной Церковью.

Приложение 14. Официальный некролог // Китайский благовестник. 2000. № 2. С. 10—11

21 сентября 2000 г. в Харбине после продолжительной болезни скончался настоятель Свято-Покровского прихода Китайской Автономной Православной Церкви иерей Григорий Чжу.

Отец Григорий, родившийся в Пекине в 1924 г., был рукоположен в сан диакона в 1950 г., а затем в 1955 г. в сан иерея Начальником 20-й Российской Духовной Миссии в Китае архиепископом Пекинским и Китайским Виктором (Святиным). Совершал богослужения в Пекине, Даляне и Харбине до закрытия храмов властями. В годы «культурной революции» иерей Григорий Чжу, как и все православные священнослужители в КНР, подвергся репрессиям и ссылке. С 1986 г. ему было позволено возобновить богослужения в Свято-Покровском храме Харбина. Заботясь о духовной поддержке Китайской Автономной Православной Церкви, о. Григорий неоднократно бывал в России по приглашению Святейшего Патриарха Алексия, а также в Японии по приглашению Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви Высокопреосвященнейшего Митрополита Феодосия. Трудами о. Григория на русском кладбище в Харбине в 1995 г. была возведена часовня во имя святого Иоанна Предтечи.

Свято-Покровский приход Харбина оставался единственным приходом на территории Китайской Народной Республики, где регулярно совершались богослужения. 21 сентября 2000 г. прихожане Свято-Покровского храма обратились в Отдел культов Народного Правительства Харбина с просьбой пригласить для погребения иерея

Григория, находившегося в те дни в служебной командировке в Пекине сотрудника Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата священника Дионисия Поздняева. Представители Отдела культов не разрешили совершить погребение о. Григория священнику Дионисию. 23 сентября о. Григорий был погребен мирским чином на Русском кладбище Харбина прихожанами Свято-Покровского храма. 27 сентября 2000 г. представитель Отдела культов Харбина посетил Свято-Покровский приход, где обсудил с прихожанами вопрос о дальнейшей судьбе единственного действующего в КНР храма. Как российские, так и китайские прихожане Свято-Покровского храма выразили надежду на то, что власти КНР найдут решение вопроса об их пастырском окормлении.

При этом важным представляется принятие такого решения, которое соответствовало бы духу и букве китайского законодательства, декларирующего в области религиозной политики соблюдение принципов свободы совести, невмешательства светской власти в дела Церкви, соблюдения религиозных свобод китайских и иностранных граждан на территории КНР, а также обеспечивающего независимость китайских религиозных организаций и их защиту от иностранного вмешательства.

Одним из путей решения этого вопроса остается разрешение священникам Русской Православной Церкви совершать богослужения по приглашению прихожан Свято-Покровского прихода в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики (144 и 145 Указы Госсовета КНР от 31 января 1994 г.). Отметим при этом, что Русская Православная Церковь, предоставившая в 1957 г. статус Автономии Китайской Православной Церкви и передавшая ей все свое имущество, находившееся на территории КНР, выступает за соблюдение статуса автономии Православной Церкви в Китае и не намерена вмешиваться в религиозные дела КНР.

Приложение 15. Грибин Сергей. Харбин получил Патриаршее благословление

Грибин Сергей (Еремин Сергей Юрьевич). Родился 12 декабря 1960 года в г. Свердловске. До переезда в Китай жил во Владивостоке. По специальности — инженер-электромеханик (выпускник ДВПИ, 1982). В Харбине с декабря 2004 года. Наблюдатель Координационного совета соотечественников в Китае. Член правления и один из основателей Русского клуба в Харбине. Руководитель исторической секции клуба. Инициатор восстановления ряда памятников, связанных с российским присутствием в Китае. В частности, благодаря его организационным усилиям восстановлены около 20 надгробий на русском кладбище Хуаншань под Харбином, обелиск капитану А. А. Корнильеву и обелиск Героям Русско-японской войны. Заметки и рассказы С. Ю. Еремина о Харбине публиковались в газетах «Владивосток» (Владивосток) и «Амурская правда (Благовещенск), в журнале «Партнеры» (Харбин, КНР), а также газетах «Китай» (Харбин, КНР), «Единение» (Сидней, Австралия), «Русская жизнь» (Сан-Франциско, США). *Ряд публикаций вышел под псевдонимом Сергей Грибин.* В 2015 году опубликовал книгу «Любимый Харбин».

1 мая 2013 года в Покровском храме города Харбина Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию! Никогда ранее за всю историю двух стран-соседей Предстоятель Русской Православной Церкви не посещал Китай. Именно поэтому весть о том, что в Харбин приедет Патриарх, очень взволновала всех православных харбинцев (как китайцев, так и русских), и объединила их в трудах по подготовке к встрече дорогого гостя.

Покровский храм совместными стараниями был приведен в образцовый порядок. Китайскими строителями, буквально за 5 дней, были заново оштукатурены и покрашены стены внутри храма — от купольной чаши до самого пола. Приведены в поря-

док центральные и боковые входные двери, восстановлен старый и очень красивый орнамент на стенах. Российская сторона привезла в дар Покровскому храму новое красное облачение в алтарь и на аналои, застелила половое покрытие. Русские специалисты, приехавшие специально из Хабаровска, искусно украсили храм цветами.

И вот Святейший Патриарх входит в обновленную церковь, построенную на самом первом Старом харбинском кладбище, и совершает поминовение усопших в праздник Радоницы! Во время службы перечисляются имена всех священников, потрудившихся на ниве Христовой в Китае. Для Харбина это родные имена: схиигумен Игнатий, отец Стефан У, о. Валентин Барышников, о. Даниил Хэ. Последний настоятель Покровского храма — иерей Григорий Чжу.

А в храме стоят рядом и вслушиваются в пение хора русские и китайские православные харбинцы! Вот смахивают слезу радости — дождались! — самые наши любимые «бабушки» из китайской православной общины — тетя Люба и тетя Галя. Платки нервно поправляют два руководителя общины Катя и Нина. Перед исповедью сосредотачиваются русские студенты и преподаватели. Подкатывают коляски ближе к месту причастия мамочки, кто привез своих детишек на лечение в Поднебесную. И вот звучит долгожданный возглас: «Со страхом Божиим и верою приступите!» Тринадцать лет ждали этого момента православные китайцы — причастие! С особым волнением подходим мы к Святой Чаше сегодня, ведь причащает нас сам Патриарх.

Чашу выносят на улицу — все желающие не поместились в храме. Более 60 человек, под лучами яркого радостного майского солнца, принимают таинство Евхаристии. Служба закончена, и Патриарх тоже выходит к стоящим по периметру храма русским и китайцам. Он медленно идет вдоль невысокой временной ограды. Благословляет всех пришедших, к нему тянется множество рук, и он с радостью пожимает их. Для каждого находится ласковое приветливое слово. Каждый участник встречи еще не раз вспомнит с благодарностью этот день. Всем присутствующим на добрую память раздаются Пасхальные иконки и памятные фото Святейшего Патриарха, сделанные специально к его визиту в Китай.

Уже много дней и недель прошло, а на душе так радостно и спокойно! Сам Патриарх молился за Харбин, за всех русских, в земле этой нашедших последний приют, за всех нас, сегодняшних россиян, живущих в Китае. Теперь что-то обязательно должно измениться в нашей жизни. Ведь со всеми нами и с Харбином теперь пребывает Патриаршее благословение!

<...> Всем нам, присутствовавшим на Патриаршем богослужении в Покровском храме, запомнились слова Его Святейшества о том, что он не успокоится, пока не наладит нормальную духовную жизнь для здешних православных. «Помните, что теперь с Харбином, с Вами пребывает мое Патриаршее благословение!» — эта прощальная фраза давала нам надежду, а обещание Патриарха молиться о Харбине, о всех нас, согревало душу![41]

Приложение 16. Грибин Сергей. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 2014 года в Харбине

В столице китайской провинции Хэйлунцзян — Харбине торжественно отметили престольный праздник единственного действующего в настоящее время на Северо-Востоке Китая храма Китайской Автономной Православной Церкви — церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Престольный праздник Покровского храма в этом году совпал с 30-летием возобновления богослужений в этом храме — 14 октября 1984 года первую литургию в Покровском храме после гонений «культурной революции» совершил иерей Григорий

[41] Грибин Сергей. Любимый Харбин. Владивосток, 2015. С. 116—119.

Чжу Шипу, единственный во всем Китае священник Китайской Православной Церкви, получивший в то очень сложное время государственную регистрацию.

12 октября 2014 года по согласованию с государственными властями Божественную литургию в Покровском храме совершил благочинный первого округа города Владивостока, клирик Покровского кафедрального собора Владивостокской митрополии священник Димитрий Федорин. Хотя о богослужении стало известно только 8 октября, и праздник пришелся на рабочий день, более 50 православных соотечественников и членов православной общины участвовали в молитве. Более 30 участников богослужения приступило к принятию Святых Христовых Таин, из них 12 китайцев. Священник Димитрий Федорин поздравил всех собравшихся с праздником, выразил благодарность властям Харбина и провинции Хэйлунцзян за предоставленную возможность для православных верующих Харбина встретить престольный праздник в молитве.

И вот 14 октября 2014 года открывается новый период в православной жизни Харбина. Ровно через 30 лет после начала служения в Покровском храме отца Григория Чжу, праздничную службу возглавил будущий преемник протоиерея Николая Труфанова и иерея Григория Чжу Шипу — диакон Китайской Автономной Православной Церкви Александр Юй Ши!

Два года назад, по согласованию между Русской Православной Церковью и Государственным управлением Китая по делам религий и по просьбе китайской православной общины Харбина прихожанин Покровского храма, раб Божий Александр поехал в далекий Санкт-Петербург учиться на православного священника. И вот на праздник Крестовоздвижения, 27 сентября 2014 года, студент Александр был рукоположен ректором Санкт-Петербургской духовной Академии и семинарии архиепископом Петергофским Амвросием в домовом храме Академии в сан дьякона. В семинарии был разработан специальный молебен, переведен на китайский язык и заранее отправлен в Харбин для подготовки церковного хора к праздничным песнопениям «на Покров».

В 10 часов утра несколько ударов колокола возвестили о новом этапе в жизни Покровского храма — начале служб китайским православным клириком! В этот очень важный и, можно прямо сказать, долгожданный день в храме Божием снова запахло ладаном, снова выносилось из алтаря и читалось Евангелие, впервые возносилась молитва на церковно-славянском и китайском языках.

Присутствовавший в храме священник Димитрий Федорин поздравил всех с престольным праздником, с началом служения в храме китайского православного клирика и подарил на молитвенную память православной общине Харбина по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси от Владивостокской митрополии хоругви для проведения крестных ходов.

От лица многолетних прихожан Покровского храма в Харбине хочется сказать слова искренней благодарности Управлению по делам религии и национальностей Харбина и Отделу внешних церковных связей Московского Патриархата за то, что православная жизнь Харбина налаживается.

Мы понимаем, какую огромную и сложную работу пришлось проделать обеим сторонам, пока не было найдено взаимопонимание. Мы надеемся на то, что в будущем уровень доверия будет только расширяться. Что китайская и российская стороны найдут возможность мудро сочетать проведения богослужений, как китайским священником для всех прихожан, так и русским священником для не граждан Китая на большие православные праздники — Пасху, Рождество, Троицу и Покров.

Спасибо всем, и в первую очередь китайским руководителям города Харбина и Пекина, за то, что духовная жизнь Харбина приходит в норму! Низкий Вам поклон от всех харбинцев![42]

[42] Там же. С. 118—121.

Contents

Prose and Poetry

Evgeny Stepanov. Need to Go. *Poems* • 3
Evgeny Kaminsky. Deep. *Story* • 8
Vera Agarkova. Poems • 55
Roman Senchin. Funeral Dinner. *Fragment of the Book-Essay* • 58
Mikhail Gundarin. Poems • 73
Elena Chernikova. Partita Solo. *Short story* • 79
Mikhail Sinelnikov. Russian Berries. *Poems* • 85
Alexander Livergant. Daniel Defoe: Fact or Fiction. *Book fragment* • 89
Victor Peregudov. Blizzard. *Short story* • 101

Universe of Childhood

Tatiana Okomenyuk. Flowerbed with Cockerels. *Short story* • 108

Non-Capital Russia

Alexey Savchenko. Birds are Cramped in the Sky. *Story* • 114
Alexey Bolotnikov. Poems • 144

Archipelago of Nobility

Irina Mukhina. Birth of Stalinochka. *Short story* • 150

Sages and Poets

Vyacheslav Rybakov. It's Harmful to Be a God • 153

Journalistic Writings

Evgeny Berkovich. Academician Arnold's Hunting Stories about Einstein and Poincaré • 157
Lev Berdnikov. The Insolence of Second Lieutenant Rzhevsky. *To the 220th Anniversary of His Death* • 173

Criticism and Essays

Vera Kalmykova. Weak Points of Power • 190
Alexander Melikhov. A Tragedy Invisible to the World • 200
Georgy Pankratov. Shamora-Vava-Roll: about the Trip to Vladivostok for the „Printing Yard" Festival from ASPIR • 204

St. Petersburg Bookman

Territory of Memory. *Gennady Evgrafov.* Exodus. **Book Island.** *E. Zinovieva's Publication* • 210

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Harbin — „Russian Kitezh". *Part 15* • 241

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-72-50
E-mail: nevaredaction@mail.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: https://magazines.gorky.media/neva
Сайт «Невы»: http://nevajournal.ru, https://neva-journal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России», подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах прессы у станций метрополитена.

По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей, приобретением отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: http://nevajournal.ru/book.html, https://neva-journal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 20.06.2023. Подписано в печать 09.07.2024.
Выход в свет 01.08.2024. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 40

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86
Тел. (812) 207-58-43